НЁМАН

3/2019
МАРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.03.2019. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,02. Тираж 1107. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +



Алесь КОЖЕДУБ

*Мерцание золота**

Роман

5

Как-то меня вызвал к себе Вепсов.

— Пора приниматься за дело, — сказал он.

Я знал, о чем шла речь. Нужно было издавать книгу о Покровске. В последнее время в издательстве вместе с поэтом Валентином Птичкиным стал появляться покровский предприниматель Михаил Поронин, у которого были хорошие связи в городской администрации.

Поронин полностью соответствовал образу русского предпринимателя в его карикатурной версии дореволюционной поры: ражий, пузатый. На красной физиономии маленькие глазки, рассматривающие тебя с добродушным презрением. Но была в нем особенность, которая затушевывала все недостатки. Михаил Викторович самозабвенно любил искусство. Приняв пол-литра, он становился в позу оперного певца, уставшего отказывать назойливым поклонникам. Сплетя пальцы рук под объемистым брюхом и кокетливо отставив в сторону правую ногу, он затягивал: «Я встретил вас, и все былое…»

Голос у него был слабый, но для пьяной компании, тем более покровской, его вполне хватало. В нашей компании особых вопросов он тоже не вызывал. Вепсов морщился, но терпел.

— Миша пробьет книгу в администрации, — нашептывал ему на ухо Птичкин. — Сколько надо денег, столько и дадут. Ты, главное, не продешеви.

У Птичкина, насколько я знал, в Покровске был свой интерес. Дача в Перловке, любовница, которой тоже не помешает землица. У всех был интерес, кроме меня. Стало быть, мне и пахать.

— С чего начнем? — спросил я.

— Со сметы, — сказал директор. — Но это не твоя забота. Твое дело найти людей и расставить их по местам. Написать надо так, чтобы ни у кого не было никаких вопросов.

«Как в «Дусиной гари», — подумал я. — На редкость бездарная книга. А в Покровске водопровод, «Метровагонмаш» и чаепитие».

Картина «Чаепитие в Покровске» нравилась мне своей кондовостью. В ней была запечатлена российская глубинка как она есть, без выкрутасов и фантазий. Где-то там, в кустах, дожидался выхода на сцену и Поронин, я это чувствовал.

— Сделаем так, — продолжил Вепсов, — каждый автор отвечает за свой раздел. Тимофеев за промышленность, Вера за искусство. Это у них ведь лаковая миниатюра с подносами?

— У них, — кивнул я.

---

* Продолжение. Начало в № 2 за 2019 г.

— А ты работаешь с главой администрации. Самый важный раздел в книге.

— А водопровод? — спросил я.

— И про водопровод напиши. Откуда, кстати, это название — Покровск?

— От праздника Покрова, наверное, — сказал я.

— А откуда у Поронина такая жадность? — удивился Вепсов. — За копейку ведь удавится.

— Строительным бизнесом занимается, — вздохнул я. — Об этом тоже написать?

— В другой книге, — внимательно посмотрел на меня Вепсов. — Ты ведь пишешь книгу?

— Пишу, — признался я.

— Все пишут, — похлопал он меня по плечу. — Прямо с сегодняшнего дня и начинай.

Я стал ездить в Покровск как на работу. Два, а то и три раза в неделю сидел рядом с главой администрации Алексеем Владимировичем Стаховым и записывал каждое его слово. Тому это нравилось.

— Никто ведь не ценит наш труд, — говорил он. — Ночами не сплю, то на заводе ЧП, то начальник милиции с прокурором поцапались. А я за всех отдуваюсь. Вот, с турками договор подписал.

— Какой договор?

— О строительстве спортивного центра. На прошлой неделе в Стамбул летал, перенимал опыт.

— А что с пивом? — спросил я.

— Вот, уже все знают! — с наигранным удивлением посмотрел на меня Стахов. — Крупнейшее в стране пивное производство открываем.

— Почему в Покровске?

— Здесь вода хорошая, земля не такая дорогая, как в Москве. Завтра планирую к Семенову в поместье съездить. Присоединишься?

— Непременно.

Про поместье Святослава Семенова я слышал. Специалист по глазным болезням Семенов был едва ли не первый в стране предприниматель, кому Ельцин отдал в собственность целый институт. И тот, надо сказать, не подкачал. Микрохирургия глаза оказалась весьма прибыльным делом.

— Большое поместье? — спросил я.

— Да уж не маленькое, — вздохнул Стахов. — Дорогу провели, электричество и так далее.

— За чей счет? Предприниматели ведь должны платить сами.

— Это не у нас, — снова вздохнул Стахов. — Здесь другой капитализм.

— С человеческим лицом?

— У капитализма не лицо, а харя. А у нас Ельцин.

— Понятно, — сказал я.

От администрации мы отъехали ровно в девять утра. В этом тоже была проблема. Я жил в другом конце Москвы, и чтобы добраться до Покровска, нужно было вставать в шесть утра.

— Готовы? — оглянулся на меня с переднего сиденья Стахов.

— Всегда.

— Поехали.

По дороге выяснилось, что поместье Семенова называется Славино.

«Какое-то название не русское», — подумал я.

— На самом деле это Прозорово, — сказал водитель. — Хорошее место, кругом вода.

— Он так и выбирал, подъехать можно только через перешеек, — посмотрел в окно Стахов. — Как в средневековых замках.

«Что-то уж слишком часто вздыхает», — подумал я.

— А что в замках? — спросил водитель.

— Вокруг замка ров с водой, — объяснил Стахов. — Въезжать нужно через подвесной мост.

— Там тоже мост? — удивился водитель.

— Ему и перешейка хватает.

«Похоже, от поместья Семенова голова у него болит больше, чем от пива, — подумал я. — Не хочется ехать на поклон, а надо».

Мы свернули с шоссе и вырулили к поселку с ухоженными коттеджами.

Семенов нас встретил у здания, похожего на школу.

— А это и есть школа, — сказал Стахов, вылезая из машины. — Только намного лучше.

«Да здесь почти вся покровская администрация», — огляделся я.

— По коммуникациям договорились? — спросил Стахов Семенова.

— Все в порядке, — кивнул тот. — В школу зайдем?

— А как же.

Семенов был крупный, но двигался легко. В глаза прежде всего бросались стрижка «ежиком» и легкая хромота. Я знал, что в молодости ему ампутировали ступню. То ли под машину попал, то ли неудачно спрыгнул с трамвая. Причем случилось это во время войны.

— Компьютеров хватает? — спросил Стахов, заглянув в один из классов.

— Хватает, — сказал Семенов. — У каждого ученика свой монитор. Пусть учатся.

— Правильно, — кивнул глава, — нужно поднимать средний уровень. Здесь, правда, он далеко не средний.

— Стараемся, — усмехнулся Семенов. — Учителей не хватает.

— Зарплата маленькая?

— Зарплата в нашей школе не меньше, чем у вас. Не соответствуют нашему уровню. У меня работают только лучшие.

Стахов оглянулся на своих замов, жмущихся у двери. Похоже, к лучшим он их не относил.

«Бюджет распилить много ума не надо, — подумал я. — Ты вот прибыль обеспечь».

— Поехали на конюшню, — распорядился Семенов. — Сначала к маткам с жеребятами.

— А вы свободны, — посмотрел на свою челядь глава. — Нечего на кобыл глазеть.

— Пожалуй, мы тоже отправимся сразу к жеребцам, — сказал Семенов. — Жеребята легко инфекцию подхватывают.

— Это мы, что ли, инфекция?

Стахов остановился.

— Не мы с вами, но некоторые…

Глава и Семенов, не сговариваясь, уставились на меня. Я споткнулся о бордюр.

— Шучу, — усмехнулся Семенов.

Все дома в поселке были как с иголочки, но конюшня и на их фоне выглядела потрясающе.

— Кто строил? — спросил Стахов.

— Немцы, — сказал Семенов. — С детства люблю лошадей.

В конюшне было чисто и сухо.

— Самые лучшие кондиционеры стоят, — кивнул на потолок Семенов. — У меня в доме таких нет.

Пахло лошадями. Мне этот запах был знаком. В детстве я несколько раз ездил верхом на лошади, правда, не вскачь. Помню, меня поразило, как высоко я оказался, вскарабкавшись на лошадиную спину. «Если свалишься — костей не соберешь», — сообразил я тогда и изо всех сил уцепился за лошадиную гриву. Волосы на ней были толстые и жесткие, и все же пучок их остался в моем кулаке, когда меня сняли с лошади.

Я понял тогда, что наездником мне не быть, и с тех пор знакомился с упоением лошадиной скачки по книгам. А некоторые из моих сверстников скакали верхом, лишь чудом не попадая прямиком с лошадиной спины в больницу. Много позже одну из наездниц я увидел в госпитале Бурденко. У нее был сломан позвоночник, и надежда на выздоровление была призрачной. А другой наездник, муж хорошей моей знакомой, и вовсе помер, сверзившись с коня.

— Даже развестись не успели, — сказала она. — А у нас было что делить — сорок гектаров земли, яхты, автомобили. Я целую бригаду адвокатов наняла, как и он, впрочем. Но не судьба.

«Классные лошади», — думал я, шагая в хвосте процессии.

— Самые красивые лошади наши, российские, — рассказывал на ходу Семенов. — Вот, посмотрите на орловского рысака. Не высок и не мал, летит как пуля. У меня пока ипподрома нет, но обязательно построю.

— А это кто? — показал на здоровенного жеребца Стахов.

— Американец, — махнул рукой хозяин. — У них ноги самые длинные.

— А этот? — остановился я перед стойлом, из которого косилась огромным влажным глазом лошадь с изящно выгнутой шеей.

— Арабский аргамак, — тоже остановился Семенов. — Но арабы по сравнению с нашими мелковаты.

— Откуда он у вас?

— Какой-то шейх подарил Ельцину. А тому куда девать? Конюшни ведь только у меня.

Семенов что-то сказал конюху, и тот со всех ног бросился в дальний конец конюшни.

— Кататься будем? — спросил Святослав Иванович.

— Нет! — дружно выдохнули мы с главой.

— А на вертолете? — не отставал хозяин. — У меня и спортивный самолет имеется.

— В другой раз, — сказал Стахов. — После обеда в областной администрации дела.

— Тогда за стол! — потер руки Семенов. — Вы ведь в гостевом доме еще не были?

— Не был, — повеселевшим голосом сказал глава. — Но слышал.

Я понял, что на самом деле никаких дел после обеда у него нет. Впрочем, как и у меня. Так что вперед, в гости.

Гостевым домом оказался роскошный особняк с охотничьим залом на первом этаже. На втором этаже, как заведено в таких особняках, должны быть спальни. Куда еще может вести лестница, устланная коврами с толстым ворсом?

Но чтобы подняться на второй этаж, нужно было миновать стол, сервированный на десять персон. А как мимо него пройдешь?

— Инесса, все в порядке? — спросил Семенов единственную в этом доме женщину.

— Да, — улыбнулась она.

«Хозяйка», — понял я.

Она была столь же роскошна, как и особняк.

За столом я оказался рядом с человеком заурядной внешности, каких полно в покровской администрации.

— За коммуникации отвечаю, — представился он. — Николай Владимирович.

— Наливайте, Николай, — сказал я. — Русский человек за столом должен быть с распахнутой душой и горящим взором.

— Здесь есть кому наливать, — с опаской огляделся по сторонам Николай Владимирович.

И был прав. Появился человек соответствующего звания и наполнил рюмки. Выпили за здоровье хозяйки, хозяина, главы района. О нас с Николаем никто не вспомнил. Но это и хорошо. Всяк сверчок знай свой шесток.

Я закусил семужкой, похлебал суп, приступил к мясу, зажаренному на открытом огне.

Со стены на меня надменно взирала голова лося с огромными рогами. «Свалится — убьет, — размышлял я. — Но отчего ей падать, не на войне, чай, в новой России обедаем. Хотя рога на голову могут свалиться и без войны».

— Пацаном я у него яхту драил, — уловил ход моих мыслей Николай Владимирович. — Женщин там не было.

— Совсем? — удивился я.

— Совсем. Во всяком случае, когда мы ее драили.

Я подумал, что в этот момент их там и не должно быть.

— Яхта у него уже при Советах была? — спросил я.

— А как же, недалеко отсюда, на Пироговском водохранилище.

— Хорошая?

— Крейсерская.

Студентом мне тоже доводилось драить крейсерскую яхту, но я эту тему не стал развивать. При любом общественно-экономическом строе одни драят, другие командуют. Святославу Ивановичу на роду было написано быть капитаном.

— В церковь заедем? — предложил Семенов, когда обед закончился.

— Заедем, — согласился Стахов.

После обеда к нему вернулось хорошее расположение духа, он уже почти не вздыхал.

— Где эта церковь? — спросил я Николая.

— В Рождествено, родовом имении Суворова, — сказал тот. — Вы езжайте, а у меня здесь дела.

На самом деле для него не было места в хозяйской машине. Но и это характерно для любого строя.

К Суворову, братцы, на приступ!

По дороге Семенов рассказал, что Рождествено принадлежало отцу полководца, генерал-аншефу Василию Суворову, который купил имение у князя Барятинского. Здесь Александр Васильевич познакомился с княжной Варварой Прозоровской, жившей по соседству.

— Но брак был несчастливым, — сказал, поморщившись, Семенов. — Александр Васильевич похоронил в Рождествено отца и установил каменный саркофаг с надписью: «Здесь покоится прах генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова, умершего 15 июля 1775 г.». А в семнадцатом году этот саркофаг вскрыли и останки выкинули. Церковь тоже пришлось восстанавливать.

Машина остановилась у входа в церковь, возле которой нас поджидал священник.

«Сытное место», — подумал я, разглядывая золотой крест, возлежавший на объемистом чреве батюшки.

Мы вошли в храм.

— Недавно закончили реставрацию алтаря, — с гордостью сказал Семенов. — Второго такого нет.

Алтарь сиял золотом. Для деревенской церкви он был излишне роскошен.

«Но ведь это принцип, — одернул я себя. — Здесь все должно быть лучшим, от конюшни до церкви, не говоря уж о людях».

Я зажег свечу, всунутую мне в руки, перекрестился и прочитал Христовую молитву. Это была единственная молитва, которую я твердо знал.

— Пойдемте, кое-что покажу, — поманил меня Святослав Иванович.

Мы вышли из храма и остановились у металлической ограды.

— Это место я купил для себя, — сказал Семенов. — Здесь меня похоронят.

Я посмотрел на него — и с трудом закрыл рот. Все-таки мне далеко было до людей, владевших конюшнями, яхтами, самолетами и вертолетами.

Через полгода мы выпустили большую книгу о Покровском районе, в которой рассказывалось и о поселке Славино.

А еще через какое-то время пришла весть, что Святослав Иванович Семенов погиб при аварии вертолета. Он был похоронен на том самом месте, которое мне показывал.

Но перед этим глава покровской администрации попал в больницу и скоропостижно скончался. О причине его смерти никто ничего не знал.

6

Не успел я войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок.

— К директору, — услышал я голос секретаря.

Утренний вызов к начальству обычно ничего хорошего не сулил.

Я спустился на второй этаж.

Вепсов сидел за столом и что-то писал. Под лампой, раскинувшись во всю длину, спал кот Тим. Его хвост мешал Вепсову, но тот кота не трогал. Тим был любимцем. Из обычного черно-белого дворового кота он незаметно превратился в фаворита, из подвала перебравшегося во двор, оттуда на первый этаж здания, а там по широкой лестнице в директорский кабинет. Причем в кабинете Тимка чувствовал себя истинным хозяином, спал где хотел, мог и пописать в углу. Больше всего ему нравилось лежать под настольной лампой.

— Как ты думаешь, — поднял голову директор, — нам оставаться «Современным литератором» или вернуться к «Советскому»?

Это был непростой вопрос. В девяносто втором году, когда директором издательства был прозаик Анатолий Жуков, «Советский литератор» вслед за Советским Союзом поменял название и стал «Современным литератором». Подобная политкорректность в то время была вполне объяснима. Однако спустя год-другой стали возникать вопросы. Что издавать «Современному литератору» — детективы или нормальную литературу? Идти на поклон к власти или оставаться в нищете и обиде? Но наибольшую путаницу вносили авторы. Одни требовали отказа от всего советского, другие столь же рьяно настаивали

на возврате к идеалам недавнего прошлого. Самыми непримиримыми, кстати, оказались иностранные авторы. Я устал объяснять им по телефону особенности демократии в современной России.

— Вы отказались от слова «советский» потому, что танки расстреляли Верховный Совет? — спрашивал меня переводчик из Германии.

— Нет, мы изменили его до расстрела, — отвечал я.

— А кого вы больше издаете, Ельцина или Гайдара?

— Бондарева.

— Того самого, у которого не туда сел самолет?

— У него он вообще никуда не сел, — терпеливо объяснял я. — Русские писатели радеют за народ, а не за его правителей.

— Но зачем вам тогда слово «современный»?

— Потому что этого захотел Ельцин.

В трубке раздались короткие гудки. Именем Ельцина можно было объяснить любую дичь, происходящую сейчас в стране.

Я посмотрел на кота. Он потянулся и перекатился на лист бумаги, на котором писал Вепсов.

— Тимка! — строго сказал Вепсов.

Кот не шевельнулся.

— Ну, так что? — перевел взгляд с кота на меня директор. — Какие будут соображения?

— Надо возвращать, — вздохнул я. — Из-за иностранцев.

— Вот и я так думаю, — вытащил из-под кота лист Вепсов. — Я тут набросал список Совета издателей, взгляни.

Я взял в руки лист. Михалков, Жуков, Кузнецов, Трофимов, Кожедуб… Как говорится в виленском анекдоте, «компания не велька, але бардзо пожондна».

Но смена названия — не такое простое дело. Во всяком случае, в Госкомиздате не всем это понравилось. Точнее, не понравилось никому.

— Вы тут прислали заявки на издание пяти книг по федеральной программе, — сказала мне Ирина Петровна, принимающая документы в Госкомиздате. — «Современному литератору» мы что-нибудь выделили бы.

— А «Советскому литератору»?

— Не уверена.

— Давай издадим «Гардемаринов», — предложил мне Коваль. — Перетокина хорошая тетка, цену заламывать не станет.

Нина Матвеевна, действительно, оказалась хорошей теткой.

— «Советскому литератору» я не могу отказать, — сказала она, когда я ей позвонил.

— Мы еще пока «Современный литератор».

— Но вас ведь знают как советских?

— Подали документы на возвращение названия.

— Какой-нибудь гонорар заплатите?

— А как же.

— Издавайте.

«Гардемарины» вышли и стремительно разошлись. Помогло, конечно, то, что в эти же дни по телевидению показывали фильм «Гардемарины, вперед!».

В летнее время мы стали устраивать книжные развалы перед воротами, выходящими на Поварскую. Несколько раз я видел роющегося в книгах актера Кайдановского. Оказывается, он жил в доме напротив.

— Что купил? — спросил я ребят из отдела реализации.

— «Гардемаринов», — засмеялся Саша Егоров. — Говорит, Харатьяна с Жигуновым знает. И еще этого, третьего…

— Шевелькова, — подсказал Володя Коржов.

— Гардемаринов у нас каждая собака знает, — согласился я. — Интересно, у Кайдановского здесь комната в коммуналке или отдельная квартира?

У меня в соседнем доме была комната в коммуналке, о которой не хотелось даже вспоминать. Любка, соседка справа, устроила у себя натуральный притон, и я теперь заходил в свою комнату с опаской. Но это случалось не чаще одного раза в месяц, все-таки жил я у жены на Ленинском проспекте.

— Квартира, — сказал Коржов.

— Комната, — возразил Егоров.

Оба были выпускники Бауманского, и оба ничего не знали наверняка.

— Как раскупаются книги? — сменил я тему разговора.

— Нормально, — пожал плечами Егоров.

— Хреново, — сказал Коржов.

Однажды мне позвонила Перетокина.

— Алесь, — сказала она, — мы ведь с вами земляки.

— Да ну?! — удивился я.

— Мой дед откуда-то из Белоруссии. И раз мы земляки, вы мне должны помочь.

— Охотно, — согласился я.

Нина Матвеевна очень редко слышала собеседника, но мне нравилось с ней говорить. Подкупали прямота и напористость.

— Меня пригласили на празднование трехсотлетия российского флота, и я сказала, что приду только со своим издателем. Вы ведь не откажетесь меня сопровождать?

— Никогда! — сказал я. — Я люблю бывать на юбилеях, пусть и не очень значительных.

— Но ведь там столько людей!

Я уловил в ее тоне нотку осуждения, смешанного с ужасом.

— А я никого к вам не подпущу, — пообещал я. — Вы ведь для этого меня берете с собой?

— Спасибо, дорогой! Я знала, что на вас можно положиться.

Голос Нины Матвеевны заметно повеселел.

— Белорусы — верные слуги, — сказал я.

Этих слов Перетокина не расслышала. Как я уже говорил, она слышала лишь то, что хотела.

— Значит, послезавтра у Красных ворот, — отчеканила она. — Там у них штаб.

— Гардемарины с Дружининой будут?

— Там будут все.

Я догадался, что при этих словах Нина Матвеевна поморщилась.

— Отобьемся, — сказал я. — В крайнем случае, сбежим.

Этого она тоже не расслышала. Когда тебе за шестьдесят, бегать уже не хочется.

У штаба Военно-морского флота я был в точно назначенное время. Нина Матвеевна тоже пришла вовремя.

— Из страха опоздать я сегодня почти не спала! — пожаловалась она. — А из Троицка еще доехать надо.

— Вы с Бочкаревым почти земляки, — утешил я ее. — У него дача в Ватутинках.

— Он тоже здесь будет?

— Нет, его не звали.

Я не стал уточнять, почему. Перетокина на этом и не настаивала.

— Ну, как я выгляжу?

— Потрясающе.

Выглядела она действительно хорошо. Адмиралы, цугом проходящие мимо нас, как по команде сбивались с парадного шага. Один из них не только взял под козырек, но и поцеловал даме руку.

— Кто это? — испуганно спросила Нина Матвеевна.

— Кажется, адмирал Касатонов.

— Я в адмиралах ничего не понимаю, — взялась она пальцами рук за виски.

— Чем меньше звезд на погонах, тем выше звание, — объяснил я.

Нина Матвеевна непонимающе посмотрела на меня. Похоже, она была близка к истерике.

— Пойдемте куда-нибудь! — вдруг схватила она меня за руку. — Я не хочу с ней видеться.

— С Дружининой? — догадался я.

— Конечно. Уж лучше с адмиралами…

Она потащила меня в гущу военных. В глазах рябило от черных мундиров и золотых шевронов и звезд.

«Сколько же у нас адмиралов! — мелькнуло в голове. — Не одну войну можно выиграть».

Я увидел Харатьяна, который фотографировался с адмиралами.

— А с гардемаринами вы общаетесь? — спросил я.

— С каждым по отдельности, — сказала Нина Матвеевна. — Друг с другом они тоже не хотят видеться.

— Кино сложная штука, — согласился я. — Может быть, сложнее, чем литература.

— Писателей, к счастью, мало знают, — взяла меня под руку Перетокина. — У нас в Троицке их почти нет. Для общения мне хватает и вас.

Набежала толпа фотографов, и Нина Матвеевна тоже стала сниматься с адмиралами.

«Вот он, миг писательской славы, — подумал я. — «Гардемарины» Перетокиной для нынешних флотоводцев важнее «Войны и мира» Толстого».

Распахнулись двери зала, в котором были накрыты столы, и все устремились к ним. Я едва успевал за Ниной Матвеевной. Впрочем, в моих услугах она уже не нуждалась. Адмиралы обхаживали ее с пылом гардемаринов.

«А флотские небедно живут, — размышлял я, обозревая ломящиеся от снеди столы. — Но они и не должны бедно жить. Кто у России союзники? Флот и армия. В России бедно живет только народ».

Не знаю, был ли в этом чей-то умысел или все произошло случайно, но в какой-то момент Перетокина с Дружининой оказались рядом. Улыбаясь, они впились глазами друг в друга. Мне стало зябко. Я понял, что мужчины в сравнении с женщинами сущие дети.

— Гардемаринов сюда! — раздался чей-то зычный голос.

Гардемарины, конфузясь, окружили своих повелительниц. Ослушаться никто из них не посмел. Глядя на авторов фильма и исполнителей главных ролей, я не мог постичь глубины их неприязни друг к другу. Неужели именно в этом состоит непостижимость русской души?

— Вы гость? — услышал я вкрадчивый голос.

— Гость, — сказал я.

Человек, спрашивавший меня, на фоне импозантных адмиралов выглядел невзрачно.

«Всего лишь капитан первого ранга», — посмотрел я на его погоны.

— С ними? — показал пальцем на киношников человек.

— С одной из них.

Я не стал уточнять, с которой.

— Хотите посмотреть на настоящее застолье?

Что-то в голосе этого человека заставило посмотреть на него внимательней. Невысок, полноват, чернявый. Вполне заурядный субъект. А голос повелителя.

— Хочу, — сказал я.

— Пойдемте.

Мы направились к боковой лестнице, ведущей куда-то в подвал.

«Интересное кино, — думал я, вперясь глазами в спину поводыря. — По сравнению с ним даже я больше военный, не говоря уж о Харатьяне. Куда он меня ведет?»

В подвале мы остановились у одной из дверей.

— Сюда, — сказал каперанг и открыл дверь.

Я шагнул через порог и замер. Картина, открывшаяся моим глазам, ошеломляла. За большим овальным столом, развалившись, сидели каперанги. Среди них не было ни одного адмирала, и все они неуловимо походили друг на друга. Некоторые сбросили мундиры и сидели в белых рубашках. У двух-трех из них на коленях устроились смазливые барышни в коротких юбках. В каждой из барышень тоже проскальзывало что-то общее.

«Клоны, — подумал я и оглянулся на своего провожатого. — Или масоны, что, в принципе, одно и то же».

— Замы по тылу всех флотов, — улыбнулся тот. — Мы не любим пышных застолий и громких слов.

— Н-да… — крякнул я.

В этом застолье поражали даже не глубокие чаши с черной икрой, а то, что к ней никто не притрагивался. На челе каждого из сидящих за столом лежала печать усталости. Да, все они честно сделали свое дело и теперь отдыхали.

— За русский флот!

Мой провожатый наполнил рюмки из какой-то особенной бутылки. Мы выпили.

— Кто таков? — повернулся к нам один из каперангов.

— Писатель.

— Пусть выпьет, — разрешил каперанг. — Но не пишет.

Кто-то хохотнул.

«Если и напишу, никто не напечатает, — подумал я. — В новой России живем».

— Да, живем небогато, — согласился мой спутник, — но нам много и не надо. Еще рюмочку?

Я понял, что из подвала пора выметаться.

— Спасибо за доставленное удовольствие, — сказал я.

— Всегда рады писателям.

Провожатый улыбался, но глаза его были холодны.

«В древности правили жрецы, — думал я, поднимаясь в парадный зал, — потом масоны, а теперь, видимо, тыловые крысы. Конец, впрочем, всегда одинаков».

На столах, за которыми витийствовали адмиралы, черной икры, между прочим, не было.

— Героям икра не нужна, — сказал я Перетокиной, которая чокалась со всеми адмиралами подряд, — им и орденов хватает.

— Пойдемте домой, — поставила она на стол рюмку. — Столько я никогда не пила.

— Неужели больше двух рюмок? — удивился я.

— Не больше, но мне и одной нельзя. Где вы все это время были?

— У масонов в подвале, Нина Матвеевна. Это рядом.

К микрофону подошел Харатьян с гитарой, и это был самый удобный момент, чтобы незаметно скрыться.

7

Умер Эрнст Иванович Сафонов.

Несчастье случилось хмурым зимним утром. Как обычно, служебная машина приехала за главным редактором и остановилась у коттеджа. Эрнст Иванович вышел из квартиры, закрыл за собой дверь и стал спускаться по лестнице. Насколько хороши во Внуково лестничные пролеты в кирпичных коттеджах, настолько же они ужасны в деревянном.

«Здесь такую лестницу сделали для того, — думал я, карабкаясь по вечерам к Эрнсту Ивановичу, — чтобы писатели меньше пили. Лучше не допить рюмку, чем сверзиться и сломать шею».

Именно на этой лестнице Эрнст Иванович и упал. Я не знаю, инсульт случился до падения или после него, но шофер обнаружил главного редактора уже лежащим на лестнице. Сафонов умер в клинике, не приходя в сознание.

Прощались с Эрнстом Ивановичем в крематории Хованского кладбища. Все, кто присутствовал на церемонии, были угнетены. Уходили лучшие люди, и отчего это происходит, никто не понимал.

— Убили, — услышал я чей-то голос.

Конечно, это не было убийством в традиционном понимании этого слова. Да, без Ларисы Тиграновны Сафонову было тяжело, но ведь он работал, нянчился по выходным с внуками, ухаживал за домашними питомцами, которых в его доме всегда было полно.

Кстати, за несколько дней до несчастья из дома ушел Том. Он и до этого пропадал на неделю, «шел по бабам», по выражению Эрика, но в этот раз исчез раз и навсегда. За котами, насколько я знал, подобное водилось.

Обрушился мир, любовно выстроенный, выпестованный Эрнстом Ивановичем Сафоновым. Для меня эта потеря была сравнима со смертью самого близкого человека. А как для писателя он сделал для меня больше, чем кто бы то ни было. И даже не тем, что регулярно печатал в «Литературной России», а своим отношением к писательскому делу, к товарищам по цеху, к русскому слову.

— Сейчас для России самые худшие времена, — говорил он мне, — но убить ее все равно не удастся. Вот увидите.

И я ему верил.

Как мне представляется, он был образцом честности, порядочности, доброты, — то есть таким, каким и должен быть русский человек. Может быть, излишне щепетилен, но кто из нас без недостатков?

На похоронах мне ни с кем не хотелось говорить. О чем? Что лучшие из

нас долго не живут? Об этом и так все знают. Радуются враги? Они и должны радоваться. Если у тебя нет врагов, стало быть, неправильно живешь.

Я положил в гроб цветы, проследил взглядом, как он уползает в чрево печи, и ушел.

Эрика уже не вернешь. А вот память о нем хотелось бы сохранить.

В Доме творчества «Внуково», чудом удержавшемся на плаву, начиналась новая жизнь. Многие из писателей старшего поколения ушли в мир иной. Файзилов, Михайлов и Костров переехали в Переделкино, пошли, так сказать, на повышение статуса.

Из старших товарищей чаще других я вспоминал Георгиева с его собаками, «Елисеича» Шундика, не расстававшегося с отваром зверобоя в термосе, «бабу Катю» Шевелеву, отменно собиравшую грибы. Изредка мы с ней встречались в лесу на просеке.

— Нашли? — спрашивала она меня.

— Пока нет, — отвечал я.

— А это что?

Она приподнимала палкой дубовый лист, под которым сидел боровик.

— Пишете? — продолжала допрос с пристрастием баба Катя.

— Стараюсь, — чесал я затылок.

— Пока можете держать в пальцах ручку, пишите.

Она медленно удалялась по просеке, изо всех сил стараясь держать спину прямо.

Один за другим покинули нас непримиримые соперники Константинов и Цыбин. Каждый из них командовал подразделением молодых поэтов, приблизительно равным по составу, поэтому победить в сражении не мог ни тот, ни другой. Я с уважением относился к обоим мэтрам и от души радовался, что у них боевая ничья.

Любимцем Константинова был Коля Дмитриев.

— Пьет много, — сказал я как-то Старшине.

— А не пил бы, может, и не писал, — заступился за воспитанника Константинов. — Худшие из поэтов как раз те, которые никогда не пили.

Спорить с этим было трудно. Из большого числа поэтов, которых я встречал в редакциях, издательствах, на пленумах и собраниях, пьющие были далеко не худшими.

На место убывших писателей во Внуково заселялись их младшие товарищи: Юрий Кузнецов, Валентин Устинов, Владимир Карпов, Евгений Нефедов, Светлана Селиванова.

— Здорово, мужичок-с-ноготок! — окликнул меня как-то Кузнецов.

— Привет, памятник.

— Ну, и как тут у вас? — обозрел окрестности Поликарпыч.

— Буфет закрыли, — вздохнул я. — А так все нормально.

— Строишься?

— Помаленьку.

— Я пока погожу.

Кузнецов, как и подобает памятнику, величественно направился в сторону станции.

Я действительно затеял строительство. Точнее, меня в него втянул сосед снизу Юрий Васильев, который вселился вместо Стекловского.

— У тебя деньги есть? — при первой же встрече спросил меня Юрий.

— Нет, — сказал я.

— Тогда начинаем стройку.

— Какую стройку? — оторопел я.

— А вон фундамент, — кивнул Васильев. — Раз есть фундамент, будет и пристройка.

Бобенко против этой стройки не возражал.

— Если делать нечего — стройтесь, — сказал он, подписывая заявление. — Все, что вы построите, по договору будет принадлежать Литфонду.

— Места мало, — попытался я оправдаться. — Там ведь комнатки маленькие.

— А зачем вам большие? — хмыкнул Бобенко. — Откуда, кстати, деньги? Издаешься много?

— Нет денег, — крякнул я.

— Тогда только строиться, — побарабанил пальцами по столу Бобенко. — Когда у государства нет денег, оно тоже начинает все подряд ломать.

Спокойная жизнь у меня закончилась. Я разгружал машины с кирпичом и листовым железом, вывозил на тачке мусор, ездил по строительным рынкам за вагонкой.

— Ничего, — подбадривал меня Васильев. — Я подгоню казаков из станицы, они нам отопление проведут.

Юрий Петрович в прошлом был начальником геолого-разведочной партии в Якутии, и для него стройка была родной стихией. Точнее, бардак, царящий на стройке.

— Как-то мы тянули дорогу на прииск, — вспоминал он. — Все идет по плану: валим лес, ровняем, насыпаем. И вдруг речка. Как через нее переправиться?

— Построить мост, — пожал я плечами.

— Так у меня одних бульдозеров штук десять! — захохотал Юрий Петрович. — Засыпали речку и пошли дальше.

Мне подобные методы строительства не нравились.

— Вот потому у нас и разруха, — сказал я.

— Зато без денег, — похлопал он меня по плечу. — Знаешь, какие самые лучшие женщины?

— Француженки, — предположил я.

— Якутки! До сих пор снятся.

— А что там такого особенного? Разрез не вдоль, а поперек?

— Разрез у всех одинаковый, — сладко зажмурился Юрий Петрович. — Не ты ее гладишь, а она тебя. Облизывает, и в буквальном смысле слова. Все для тебя сделает.

Я якуток видел только по телевизору, поэтому промолчал.

— А знаешь, какие у меня были самые лучшие минуты в жизни?

— В чуме с якуткой, — усмехнулся я.

— С оленем.

Юрий Петрович подтянул штаны. Они у него всегда сползали, даже те, что с ремнем.

— Пошел я однажды со своим замом на охоту.

Рассказывая, Юрий Петрович всегда что-то делал. Сейчас он выгружал из «газели» книги, и я, чтобы ничего не пропустить, вынужден был сновать за ним, как нитка за иголкой.

— Взяли с собой пять литров спирта…

— Зачем так много? — перебил я его.

— А вдруг заблудимся? Взяли, значит, спирт, спальники и пошли. И возле речки завалили оленя.

— Дикого? — снова перебил я его.

— Там этих оленей! — махнул рукой Юрий Петрович. — И вот мы развели костер, легли рядом с оленем. И пока не выпили весь спирт и не съели оленя, не встали.

— Это сколько ж вы лежали? — поразился я.

— Дня три. А может, пять. Там ведь дни не считаешь.

— Почему?

— Вечная мерзлота, — посмотрел сквозь меня Васильев. — Какой-нибудь чукча проезжает, мы и его угостим.

— Якуток не было?

— Там они не нужны. Спирт, олень и закат. Или восход. Вечная жизнь в вечной мерзлоте!

«Настоящий сказочник, — посмотрел я в спину Юрию Петровичу. — Ни разу не сбился».

— А якутки там проезжали, — остановился Васильев. — Одна совсем старая. Села рядом, выпила, закурила. «Знаешь, — спрашивает, — почему нас медведь не трогает?» — «Почему?» — «Он подошел, я села и малицу на голову задрала. Медведь нюх-нюх. Ф-фу! — говорит, и ушел».

Юрий Петрович расхохотался. Я тоже засмеялся.

— Они ведь не моются никогда, — сквозь смех объяснил Васильев. — Даже медведя заколдобило.

Параллельно с пристройкой рос и Егорка. Однажды он приехал во Внуково, набрал кучку камней и стал пулять во всех, кто проходил мимо.

— У тебя совесть есть? — пристыдил я его.

— У детей совести не бывает! — заявил Егор.

— А если ремнем по попе?

— Я пожалуюсь в трибунал по правам человека, — нахмурил бровки ребенок, — и тебя посадят в тюрьму!

Со сдвинутыми бровками он был очень похож на свою маму.

— За что? — удивился я.

— За то, что ты меня ударил.

Я понял, что парень пойдет далеко. Впрочем, в этом никто и не сомневался. В детском саду на утренниках и прочих праздниках Егор исполнял роли ученых котов и других начальников. Причем учить эти роли ему было не надо, он запоминал все с листа.

Часть четвертая. Писатели и издатели

1

Штат издательства «Современный литератор» сокращался, как шагреневая кожа, и тем не менее, хорошие книги в нем выходили.

Однажды на производственном совещании я увидел незнакомого человека. Большие залысины и умные глаза выдавали в нем ученого.

— Знакомьтесь, — представил его Вепсов, — главный специалист по рукописям в стране.

Это был заведующий отделом рукописей Ленинской библиотеки Виктор Иванович Лосев.

— Будем издавать дневник и письма Булгакова, — сказал директор. — Что скажете?

— После дневников Корнея Чуковского это может стать брэндом нашего издательства, — сказал я.

Словечко только-только появилось в печати, и мне захотелось им щегольнуть.

— Вот и будешь редактором, — хмыкнул Вепсов.

Новояз он не любил. Я это знал, но ради красного словца, как говорится, в любой кузов полезешь.

— Сработаемся, — улыбнулся Лосев, вручая мне объемистую рукопись. — Здесь все вылизано.

В рукописи действительно почти не было опечаток, не говоря уж об ошибках, но проблема была отнюдь не в том.

— Наследники, — вздохнул Виктор Иванович, готовя меня и себя к грядущим неприятностям.

— Сколько их? — спросил я.

— Один Кисловский, но этого достаточно.

— Рвач?

— Не в этом дело. У Булгакова были две родные сестры, но в наследниках числится чужой человек.

— Как это?

— Внук последней жены Булгакова. У нее детей с Михаилом Афанасьевичем не было, но наследство оформлено на Кисловских. Все по закону.

— И что будем делать?

— Договариваться.

Теперь и я задумался. Несмотря на то, что я был сыном бухгалтера, финансы никогда не были моей сильной стороной. Тем более в вопросах авторского права.

Договариваться с наследником Вепсов, конечно, отправил меня. Вернее, это был дуэт в лице Лосева и главного редактора.

— На бедность нажимай, — напутствовал меня директор. — Откуда, мол, у нас деньги? Коммерцией сейчас только бандиты занимаются.

Кисловский принял нас в своем офисе. Сторонних людей при разговоре не было: Кисловский, Лосев и я.

— Нет денег? — иронично вскинул брови наследник. — Тогда не надо издавать.

«А отчего ему не играть бровями? — подумал я. — Молод, уверен в себе. Хозяин!»

— Это, возможно, последняя моя книга, — пришел мне на помощь Лосев, — и я хочу, чтобы она вышла в «Современном литераторе». Даст Бог, к моменту выхода он снова станет советским.

— Что ж, — снова поиграл бровями Кисловский, но уже без прежнего молодечества, — вам я пойду навстречу. Моя сумма…

Цифра была больше той, на которую рассчитывал Вепсов, но меньше, чем она могла быть.

— Согласны, — неожиданно для себя сказал я. — Я, конечно, не уполномочен делать подобные заявления, но, думаю, директор возражать не станет.

Я посмотрел на Лосева. Тот опустил глаза.

Что ж, никто ни на что не уполномочен. А дневники издать надо.

— Сколько?! — скривился Вепсов, услышав запрашиваемую сумму. — Да мы по миру пойдем, если будем платить каждому…

— Он не каждый, — негромко сказал Лосев.

— Хуже, чем каждый! — не переставал кипятиться директор. — А ты что молчал?

Я пожал плечами.

— Мы не молчали, — встал, загораживая меня, Лосев. — В сложившихся обстоятельствах это единственно приемлемый вариант.

Псевдонаучные слова сделали свое дело. Директор сдался.

Во время работы над дневниками и письмами Михаила Булгакова я понял, отчего Маргарита с такой яростью лупила по окнам писательского дома в Лаврушке. Имена Исая Лежнева и Захара Каганского должны были быть обнародованы.

Но особое умиление вызывали вот такие заявления Булгакова: «Председателю Совета Народных Комиссаров литератора Михаила Афанасьевича Булгакова заявление. 7 мая с. г.

представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер № 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответствующим занесением в протокол следующие мои, имеющие для меня громадную интимную ценность рукописи: повесть «Собачье сердце» в 2 экземплярах и «Мой дневник» (3 тетради). Убедительно прошу о возвращении мне их. Михаил Булгаков. Адрес: Малый Левшинский 4, кв. 1. 24 июня 1926 года».

Имеющие громадную интимную ценность… Сейчас так написать никто не мог.

Повесть «Собачье сердце» вскоре писателю была возвращена, а дневник остался в архивах ГПУ. И вот мы его издаем.

Кстати, женой Булгакова тогда была Белозерская, отнюдь не Елена Сергеевна, с потомками которой мы сейчас имели дело.

— Давайте включим в книгу автобиографическую прозу Булгакова, в том числе его устные рассказы, — предложил Лосев, когда рукопись уже была практически готова к печати.

Я не стал распространяться, что автобиографическая проза — наиболее чтимый мной жанр. Может быть, она меня и спасла, когда я после университета работал учителем в сельской школе. Я набирал в библиотеке книг, сколько мог унести, и читал долгими зимними вечерами. Автобиографическая проза отчего-то согревала лучше, чем любая другая.

Ну, а устные рассказы — это черные жемчужины в ряду обычных. Булгаков рассказывал их только самым близким людям.

«Пишу, пишу пьесы, говорил он Сталину, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят…

Сталин. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.

Звонит по телефону.

Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, когда сказали ему.

Миша тяжко вздыхает.

Ну, подожди, подожди, не вздыхай.

Звонит опять.

Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.

Звонит.

Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Михаила

Булгакова пьеса… Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса… Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?)

Булгаков. Господи! Да хыть бы годика через три!

Сталин. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить… месяца через три… Что? Через три недели? Ну что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?)

Булгаков. Тхх… да мне бы… ну хыть бы рубликов пятьсот!

Сталин. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо уплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну что ж, платите, платите! (Мише.) Ну вот видишь, а ты говорил…»

Булгаков эту историю рассказывал, во-первых, с сильным грузинским акцентом, когда имитировал Сталина, а во-вторых, в ней ничего нельзя было ни убавить, ни прибавить.

Я представлял, как хохотали слушатели. Но и на бумаге эти рассказы хороши, я в этом не сомневался.

Дневник и письма Булгакова вышли. По этому случаю в комнатке за сценой был накрыт стол.

— Ну, поздравляю! — поднял рюмку Вепсов. — Хлебнули мы с этой книгой, но она того стоит. За вас, Виктор Иванович!

«Чего ты такого хлебнул? — посмотрел я на свою рюмку. — На бумагу и полиграфию деньги дал Госкомиздат. С нас только гонорар наследнику. Лосеву крохи достались. О себе я вообще молчу. Хлебать у нас один директор умеет».

Лосев отсалютовал мне рюмкой и сделал вид, что пьет. Я глотнул не чинясь.

— А что это у вас рюмка полная? — сдвинул брови Вепсов.

Он не любил, когда его тостами пренебрегали.

— Завтра к докторам на обследование, — вздохнул Лосев.

Только сейчас я увидел, что у него потухший взгляд.

— Тогда ты пей, — наполнил мою рюмку директор. — Не каждый день Булгакова издаем.

Я знал, что в издательстве полным ходом шла работа над романом Вепсова «Рок». Как и «Дусина гарь», этот роман до сих пор нигде не издавался.

«Для того и становятся директорами, чтобы издавать полное собрание собственных сочинений», — подумал я.

Впрочем, у меня тоже готовилась к печати книжица рассказов. Она была чем-то вроде молока, которое выдавалось на производстве за вредность.

Как-то Лосев зашел ко мне без звонка.

— Вот, — положил он на стол толстую папку, — неизданный Куприн. Я собрал рассказы и очерки Куприна за период, когда он издавал газету в армии Юденича.

— Боюсь, Куприн у законодателей нынешней литературной моды не в чести, — хмыкнул я. — Они его не любят точно так же, как и большевистские комиссары.

— В любом случае, пусть будет у вас, — придвинул папку ко мне Лосев. — Я завтра ложусь в больницу.

Я открыл рот, чтобы спросить о болезни, и слова застряли в горле. Я снова увидел пустые глаза Виктора Ивановича.

«Плохо дело», — подумал я.

Лосев резко повернулся и вышел из кабинета.

Я подготовил заявку в Госкомиздат, но, как и следовало ожидать, она не была удовлетворена.

«Не пришло еще время Куприна, — подумал я. — Во-первых, сейчас у власти те же комиссары, что и в семнадцатом, а во-вторых, иной писатель стал властителем дум. Сорокины да Пелевины правят бал, еще дамочки-детективистки. Подлое время…»

Впрочем, время было не подлее предыдущего. И неизвестно, каким будет последующее.

Я убрал рукопись Куприна в дальний угол книжного шкафа.

2

После долгих мытарств вышла книга о Покровске, и Поронин пригласил писателей отметить это событие у себя дома.

— Новую квартиру получил, — сказал он мне по телефону. — Совместим новоселье с презентацией.

— Хорошее дело, — сказал я. — Кого позовете?

— Прежде всего, директора и вас, — стал перечислять Поронин, — Бочкарева, Просвирина, Птичкина, Викторова… Цвет русской литературы!

«Бочкарева жена вряд ли отпустит, — подумал я, — а остальные вполне могут приехать. Поронин хлебосольный хозяин».

Я вспомнил, как Поронин принимал меня в банке. Его назначили управляющим крупнейшего в Покровске коммерческого банка, и Михаил Викторович решил показать, как живут нынешние банкиры.

Здание из современных темно-синих пластиковых панелей возвышалось в самом центре города. Охранник у шлагбаума покосился на обшарпанную издательскую «Волгу», но все же пропустил нас на стоянку. Мы встали между «мерседесом» и «ауди».

«Как изменчив мир! — огляделся я по сторонам. — Еще вчера Поронин тоже на «Волге» ездил».

Я поднялся на лифте на предпоследний этаж. В просторной приемной никого, кроме секретарши, разговаривающей по телефону, не было.

— Чай? Кофе? — положила она трубку.

— Водку! — рявкнул Поронин, появившийся неизвестно откуда. — Проходите в кабинет.

Книжные шкафы в стене бесшумно разъехались, и я увидел второе помещение. Стол в нем был заставлен бутылками и закусками.

— Вот это я понимаю! — сказал я.

Михаил Викторович засиял, как начищенный медный чайник. Истинный артист, он любил внешние эффекты.

Мы сели за стол. Как ни странно, финская водка, налитая в изящные рюмки, пилась хуже, чем из граненых стопок в столовой какого-то ПТУ. К трем часам у учащихся в нем уже заканчивался обед, и мы устраивались в уголке за фикусами. Обычно там подавали борщ и котлеты, а лучше закуски в России нет. И не будет.

В банке мы закусывали канапе и роллами, а также суши.

«Нет, долго здесь Михаил Викторович не протянет, — подумал я. — Формат не тот».

И оказался прав. Через полтора месяца мы снова обедали в столовой.

Но, тем не менее, свою задачу в банке Михаил Викторович выполнил. Просто так квартиры в элитных домах у нас не дают. А дом был элитный. Об этом говорили пандусы для подъезда, охраняемая подземная парковка, кирпичные стены здания. Это вам не панели, пусть и темно-синие.

На скоростном лифте мы поднялись на девятый этаж.

— Вот здесь у меня гостиная, — суетился Поронин, — это кабинет, там спальня. Сантехника итальянская. В зимний сад не хотите? Потом покажу.

Стол был накрыт в кухне, что тоже говорило о многом. В маленькой кухне цвет русской литературы не посадишь.

— Сколько, говорите, у вас метров? — спросил Просвирин.

Он сел в кресло и далеко вытянул длинные ноги.

— Сто пять! — гордо сказал Поронин.

— Маловата квартирка, — хмыкнул Петр Кузьмич.

Я удивленно посмотрел на него. Остряки среди крупных людей попадались мне редко. А Просвирин был крупный во всех смыслах: рост два метра, вес далеко за сто. При такой комплекции не до шуточек.

— А у вас сколько метров? — упавшим голосом спросил Поронин.

— Сто пятьдесят.

Из Поронина словно выпустили воздух. Стерлись веснушки с лица. Поблекла рыжина волос. Уменьшилось чрево. Он беспомощно посмотрел на меня.

— На двоих и ста пяти метров хватит, — сказал я.

Но Просвирин был безжалостен.

— Нас тоже двое, — сказал он.

Я проглотил смешок. Птичкин расхохотался. Вепсов сделал вид, что не знает русского языка.

— Может, уже пора за стол? — поднялся с кресла Просвирин.

В эту минуту он был похож на монумент.

«Везет же некоторым, — с завистью подумал я. — Мало того, что рост два метра, так еще и любимец миллионов. Герой труда, опять же».

— А в войну служил в полиции, — сказал мне на ухо Вепсов.

— Как?! — опешил я.

— Обыкновенно, — пожал тот плечами. — Дали в руки винтовку, он и пошел в войну играть. Шестнадцать лет было пареньку.

— А когда наши пришли?

— Уехал на Дальний Восток. В деревне его не выдали, но слушок прошел.

— С русскими писателями не соскучишься, — покачал я головой.

— Это с лучшими, — поднял указательный палец Вепсов, он у него был короче, чем у других. — У бездарей все не так.

С этим трудно было не согласиться.

— Проходите, — вышла из кухни жена Поронина. — Руки можно помыть в ванной.

В ванную по очереди прошествовали Просвирин, Викторов, Птичкин. Замыкали процессию Вепсов и я.

«До цвета никак не дотягиваем, — посмотрел я на себя в зеркало. — Вепсов туда рвется, но кто ж его пустит? Даже Бочкарев становится косноязычным, когда говорит о его романах. А Вепсов Классику и гонорар, и машину,

когда надо выехать с дачи. Сволочной народ писатели. Но такими они были всегда. А Поронину наука. Знай, с кем имеешь дело».

— Надо выходить в люди, — сказал Вепсов, когда я сел рядом с ним. — Пора на книжную ярмарку ехать.

— Во Франкфурт? — спросил я, накладывая на тарелку оливье.

— У кого острить учишься? — потянулся за рыбкой Вепсов.

Он закусывал только осетриной и семужкой.

— У Просвирина, — сказал я. — Но мне до него далеко.

— Всем далеко, — согласился Вепсов. — В Ленинград на «Белые ночи» поедешь.

Я знал о книжной ярмарке, которая проходила в начале июня в северной столице.

— Сейчас он уже не Ленинград, — сказал я.

— Для кого как, — посмотрел на меня Вепсов. — Булгакова там покажем, воспоминания о Фадееве с Абрамовым. Пора.

Пора так пора. Голому собраться — только подпоясаться.

— Книгу о Покровске с собой брать? — отсалютовал я рюмкой Поронину.

— Не надо.

И после новоселья у Поронина я отправился в Санкт-Петербург.

Команда подобралась солидная: отдел реализации в полном составе и я. А отдел этот, как я уже говорил, у нас сплошь состоял из выпускников Бауманского училища.

— У нас либо нобелевские лауреаты, — сказал Дима Колтунов, начальник отдела, — либо пациенты психбольницы.

Коржов с Егоровым, его подчиненные, синхронно закивали. Шефа они поддерживали во всем.

— Кого больше? — спросил я.

— В смысле? — посмотрел на меня Колтунов.

— Лауреатов или идиотов?

— Примерно поровну, — озадаченно почесал затылок Дима.

Похоже, этот вопрос перед ним до сих пор не вставал.

— Но ведь вы пока ни те, ни другие, — сказал я.

— Советская власть закончилась, и Бауманское училище стало таким же, как МАИ, — презрительно прищурился Колтунов.

— Даже хуже, — вмешался в беседу старших по званию Коржов. — Бауманка теперь как финансовая академия.

— Да ну? — поразился я.

— МГУ тоже хороший вуз, — сказал Саша Егоров.

— Только мехмат, — строго посмотрел на него Колтунов.

— С философского многих забирают, — вмешался Коржов.

— У тех просто голова слабая, — махнул рукой Колтунов. — О них и говорить не стоит.

Я подумал, что, возможно, в математике Колтунов, Коржов и Егоров были гениями, однако в продаже книг они не понимали ничего.

— Кто такой Ефремов? — спросил меня Коржов после совещания, на котором обсуждался тираж шеститомника писателя.

— Фантаст, — сказал я.

— Как Жюль Верн? — удивился Володя.

— Скорее, как Беляев.

— Да ну? — еще больше удивился Коржов.

Похоже, что о Беляеве он тоже ничего не слышал.

— Человека-амфибию придумал, — сказал я. — А у Ефремова Таис Афинская, час быка и лезвие бритвы.

— Понял, — кивнул Коржов. — У меня сын фантастику любит.

«Зато книги хорошо разгружает, — подумал я. — Уже весь подвал забили пачками, скоро по этажам пойдут».

В Питере участников ярмарки разместили в мотеле на берегу Финского залива.

— Чтоб не разбежались, — сказал я Колтунову.

— Хорошее место, — не согласился со мной Дима. — Купаться только нельзя.

— Почему?

— Во-первых, холодно, во-вторых, вода грязная.

— И мелко, — добавил Коржов.

Мне понравилось, что ребята хорошо ориентируются на местности.

— На банкет пойдете? — спросил я.

— А как же! — хором сказали Коржов и Егоров.

— Банкет оплачен только на двоих, — строго посмотрел на подчиненных Колтунов. — Идут Колтунов и Кожедуб. А вы в магазин.

Вечером мы отправились в ресторан.

— Вон ваш столик, — показал официант. — На табличках написано, кто где сидит.

За нашим столиком уже сидели двое ребят.

«Издательство «Куб», — прочитал я на табличке.

— Сергей, — представился один из них.

— Гена, — сказал второй. — А вы и вправду писатели?

— Конечно, — кивнул я. — Современные.

— А раньше были советские, — хихикнул Колтунов.

«Остряк, — покосился я на него. — Ты ведь еще ничего не написал. И не напишешь».

— Я пошутил, — сказал Дима.

— За знакомство! — взял я в руки бутылку.

— Мы не пьем, — сказал Сергей и посмотрел на коллегу.

— Совсем, — кивнул тот.

— Как это? — удивился я.

— От одного вида блевать хочется, — наклонился ко мне Сергей. — Три месяца попили — и все. Полная аллергия.

— А до этого?

— До этого мы на рынке торговали. Погрузка, разгрузка… — Сергей задумался. — Короче, пока не стали издателями, все было нормально.

— У издателей не такая водка? — я никак не мог врубиться в суть проблемы.

— Навар не тот, — пришел на помощь товарищу Гена. — Здесь же тысяча процентов прибыль! Деньги девать некуда. А когда некуда, сам знаешь…

— Что вы издаете? — осторожно осведомился я.

— Книги! — изумленно посмотрел на меня Сергей. — Детективы, бабские романы…

— Дамские, — поправил его Гена.

— А сами вы их читали? — вмешался Колтунов.

— Никогда! — помотал головой Сергей. — Я вообще писателей первый раз вижу.

— И я, — сказал Гена. — Даже представить не мог, что такое бабло наварим.

— Значит, пьем только мы с тобой? — взглянул я на Колтунова.

— Я тоже не буду, — отодвинул в сторону рюмку Дима. — Хочу вечером по городу прогуляться. Все ж белые ночи.

Я взял со стола бутылку и отправился разыскивать Коржова с Егоровым. На этом банкете мне делать было нечего.

Однако события в этот день развивались по сценарию, написанному отнюдь не добрыми ангелами.

Колтунов, Коржов и Егоров отправились гулять по ночному Питеру. Я, походив вокруг мотеля, вернулся в свой номер и лег спать. А утром меня разбудил Коржов.

— Надо что-то делать, — сказал он, когда я открыл дверь.

— Сейчас пойдем завтракать, — пожал я плечами.

— Колтунова забрали в обезьянник, — голос у Володи дрогнул.

— Куда?! — опешил я.

— В милицию, — взял себя в руки Коржов. — Мы пошли в кафе, заказали чебуреки. Дима попробовал — несвежие. «Дайте жалобную книгу», — говорит.

Он замолчал.

— И что, дали книгу?

— Они милицию вызвали. Он ведь платить отказался. Его и увезли.

— А вас? — перебил я его.

— Мы заплатили, — опустил голову Володя. — За себя.

— Так, — почесал я затылок. — Может, вы пьяные были?

— Бутылку на троих выпили, — признался Коржов.

— Ну? — ждал я дальнейших объяснений. — Подумаешь, бутылка на троих.

— Дима сказал, что будет жаловаться в прокуратуру, а мы ведь приезжие. Капитан так и сказал: не были бы вы москвичами, отпустил бы. Пусть, говорит, до утра посидит, там посмотрим.

— А вы?

— Мы на улице ждали, пока не стал ходить транспорт. Ну что, едем в милицию?

— Который час? — посмотрел я на часы. — Половина девятого. Сейчас позавтракаем, а там и ваш начальник прибудет.

Меня в милицию еще не забирали, но отчего-то я был уверен, что Колтунова отпустят. И оказался прав. В половине десятого Дима был у себя в номере.

Он сидел в трусах и майке на кровати, раскачивался и монотонно бормотал:

— Нет, я этого так не оставлю! За тухлое мясо забирать в милицию вы не имеете права! В прокуратуру напишу, в Верховный суд и Совет Федерации!

— Лучше сразу в лигу сексуальных реформ, — сказал я. — Колтунов остается здесь, а мы на выставку. Белые ночи, между прочим, не все переносят адекватно. Если до утра не оклемается, вызовем «скорую».

— Какую «скорую»?

Коржов и Егоров синхронно отступили от меня на шаг.

— Психическую, — сказал я. — Вы же сами сказали: бауманские либо гении, либо психи. Сами выбирайте, куда ехать.

Ребята молча пошли за мной.

3

Я приехал в Минск на съезд Союза писателей Беларуси.

В принципе, для этой организации я уже был отрезанный ломоть. На учете писатели состояли по месту жительства, а с девяностого года официально я числился москвичом. Неофициально же вдали от родины я жил с восемьдесят второго года, то есть с момента женитьбы.

— Здорово, москаль! — услышал я.

Навстречу мне с протянутой рукой шел поэт Анатоль Стус. Не поздороваться с ним было нельзя.

Именно в тот момент, когда я уехал из Минска, в Беларуси громко заявили о себе «тутэйшыя», молодые литераторы-националисты. Они были намного радикальнее, чем мы с Гайвороном. Стус был их лидером, и начал он с того, что на заседание президиума Союза писателей явился с миской борща. Пока Максим Танк выступал, Стус хлебал борщ, громко стуча ложкой.

— Что же это такое?! — бросил на стол листки с заготовленной речью Танк. — Кто-нибудь наведет здесь порядок?

— Пойдем, выйдем, — наклонился над ним Гайворон.

— Что, уже и борща нельзя поесть белорусскому поэту? — оскорбился Стус.

Только теперь стало понятно, что он сильно навеселе.

Его подхватили под руки и вывели из помещения.

Прошли годы, но Стус по-прежнему эпатаж считал высшей из добродетелей.

— В Москве на доллары еще не перешли? — подмигнул мне Анатоль.

— Ждем, когда в Горошкове это сделают, — сказал я.

Мы со Стусом были земляки. Мой отец родился в деревне Велин, Стус — в Горошкове, обе в Речицком районе. В Горошкове, кстати сказать, археологи обнаружили одно из древнейших городищ на территории Белоруссии. А велином четыре тысячи лет назад называлось огромное балтское племя, заселявшее территорию от Балтики до Оки. Если посмотреть на карту, центром этой земли был Днепр, на котором мы со Стусом выросли. Вид речной поймы, заканчивающейся сизой стеной леса, до сих пор представляется мне олицетворением славянской прародины. Эту картину в любое время года можно увидеть и в Велине, и в Горошкове.

— Его мать работала уборщицей в детском саду, в котором моя сестра заведующая, — засмеялся Стус, показывая на меня пальцем.

Клевреты, всегда сопровождавшие Стуса, угодливо захихикали.

— А хоть бы и уборщицей, — пожал я плечами.

На самом деле мама в садике работала кастеляншей.

По обыкновению Стус был пьян, а доказывать что-либо пьяному человеку, тем более Стусу, бессмысленно.

Я увидел Алеся Гайворона. Он считался штатным вышибалой пьяного Стуса из присутственных мест. В принципе, достаточно было шевельнуть мизинцем, и на одного гения в Доме литераторов стало бы меньше. Однако шевелить мизинцем мне было лень.

Кстати, сестра Стуса была очень симпатичная женщина, мама с ней ладила.

— А Смоленск у вас мы все равно отберем! — крикнул мне в спину Стус.

— Проспись сначала, — хмыкнул я.

Гайворон стоял рядом с поэтом Виктором Кукляевым. С ним мы когда-то работали в одной редакции на телевидении.

— Опять надрался? — кивнул Гайворон в сторону Стуса.

— Гении часто надираются, — сказал я.

— Не все, — возразил Кукляев. — Свиньями становятся только те, кто сам себя записал в гении.

— А ты еще власть не собрался захватывать? — посмотрел я на Виктора.

— На хрена она мне сдалась, — зевнул Кукляев.

— Народ нельзя бросать на произвол судьбы, — назидательно сказал я. — Кто-то ведь должен приобщить его к европейским ценностям.

— И без нас дадут эти ценности, — снова зевнул Кукляев.

Я знал, что он зевает только тогда, когда волнуется.

— Дадут, потом догонят и еще раз дадут! — заржал Гайворон.

Ему всегда был близок армейский юмор, а сейчас, когда Алесь стал католиком, без него он уже не мог жить.

— Оплеух? — посмотрел по сторонам Кукляев.

Он употребил другое слово. Белорусские поэты кроме армейского юмора любили и крепкие выражения.

«Ничего в мире не меняется, — подумал я. — Десять лет прошло, а анекдоты те же. Колбаса только стала хуже».

— А ты чем в Москве занимаешься? — посмотрел сквозь меня Кукляев.

«Ревнует», — понял я.

В конце семидесятых Виктор в Москве гремел. Окончил Литературный институт, опубликовал в центральной печати поэму о БАМе и получил за нее премию Ленинского комсомола. Апофеозом его поэтической славы стало выступление на партийном съезде, на котором от имени творческой молодежи Виктор толкнул пламенную речь. С этого дня его повсеместно стали преследовать юные и не очень юные поэтессы. Виктор к этим посягательствам относился стоически. Во всяком случае, допускал он до себя далеко не всех.

И вот теперь я в Москве, а он в Минске.

— Ничем не занимаюсь, — сказал я.

— Говорят, дачу в Переделкино получил?

— Во Внуково.

— Там, где Стекловский? — удивился Кукляев.

— Его оттуда уже выселили.

— За что?

— За неуплату аренды.

— Узнаю Игоря, — повеселел Кукляев. — Там, где надо, не платит, а куда не надо, последние деньги вбухает.

— Ты про чернобыльский лес? — вмешался Гайворон.

Ходили слухи, что Стекловский всю свою Госпремию, между прочим, последнюю в истории СССР, отдал на восстановление леса, пострадавшего от чернобыльской аварии.

— Костюм еще не сносился? — подмигнул я Кукляеву.

— Какой костюм? — заинтересовался Гайворон.

У него был хороший слух.

— Какой надо, — сказал я.

Перед поездкой на тот самый съезд Виктор занял у меня двести рублей.

— Ехать не в чем, — пожаловался он. — Туда же в джинсах не пустят.

В одежде Кукляев тогда признавал только джинсы и кожаный пиджак. Как и я, впрочем.

— Но я ведь должок отдал? — посмотрел на меня Кукляев.

— Отдал, — кивнул я.

— Тогда и говорить не о чем.

Я вынужден был с ним согласиться.

— Ладно, пошли в бар, — сказал Гайворон. — Тут еще долго голоса будут считать.

Кукляев удалился с видом инопланетянина, невесть как очутившегося на Земле. Мы с Гайвороном отправились в бар.

— Традиции надо чтить! — торжественно произнес он.

Я послушно взял со стола рюмку.

— Где остановился? — спросил Алесь, отдышавшись.

— У Николая.

— Почему не у меня?

— Привычка.

С Николаем, моим однокашником, мы долго жили в одном доме, и мне действительно было привычнее останавливаться у него, чем у кого-либо другого. Коля тоже переехал в другую квартиру, однако и там всегда меня ждали накрытый стол и чистая постель.

Я распрощался с Гайвороном и поехал к Николаю. Там на столе уже дымилась бульба, поблескивала политая маслом селедка, отсвечивала запотевшим боком бутылка.

— Чем богаты, — повел в сторону стола рукой Коля.

— Как дочка? — спросил я, накладывая картошку.

Алена была наша с женой любимица. С малолетства в ней чувствовался стерженек, который не даст ей пропасть.

— Вышла замуж, — вздохнул Коля.

— За кого?

— За француза.

Тут и у меня замерла рука с ложкой.

— За какого-такого француза?

— Французского, — пожал плечами мой друг. — Зовут Эрве.

— Он белый, — подал голос из соседней комнаты Андрей, младший сын Николая.

«А жизнь не стоит на месте, — подумал я. — Даже Андрей вырос, не только Алена».

Андрюшу до сих пор я вспоминал пятилетним мальчуганом, которого мама с папой отправляли в детсад. По дороге туда папа с сыном зашли ко мне, и я по достоинству оценил его вид.

— Зачем тебе два пистолета? — спросил я Андрюшу.

На голове у него была шапка со звездой, за пояс заткнуты два пистолета, в руках пластмассовая сабля.

— Всех девок поубиваю! — ответил мальчик.

— Всех?! — поразился я.

— Всех! — махнул саблей Андрюша.

Так вот, и Андрюша вырос. Не далее как вчера я заглянул в бар возле ГУМа, в котором прошли наши с Гайвороном лучшие годы, и увидел Андрея в окружении разномастной компании девушек. Все они с обожанием смотрели на него.

«Когда-то и на меня так смотрели, — с грустью подумал я. — Хороший парень вырос».

Но до Алены было далеко даже Андрею.

— И где она нашла этого француза? — спросил я.

— В ящике, — хмыкнул Николай. — Они ж все теперь живут в интернете.

— И вы его видели?

— Как тебя.

— Да, перед свадьбой приезжал знакомиться, — вышла из кухни Надя, жена Николая. — Они в Бухаресте расписывались.

— Почему не в Париже? — удивился я.

— Эрве Париж не любит, — сказал Николай. — Черных, говорит, много. А сам, между прочим, родом из Версаля.

— Бурбон? — еще больше удивился я.

— Да нет, он из простых, — вздохнул Коля. — По французским меркам, конечно. Химию преподает.

— Какую еще химию? — совсем запутался я.

— Школьный предмет, — вмешалась Надя. — Он работает в школе при посольстве в развивающихся странах. Там стаж идет год за два и зарплата хорошая.

— Понятно, — сказал я. — А университет она хоть закончила?

— А ты разве не знаешь? — посмотрел на меня Коля.

— Нет, — помотал я головой. — Кажется, на матфаке училась.

— Какой матфак! — взял в руки бутылку Коля. — Со второго курса матфака перевелась на второй курс филфака с досдачей всех экзаменов и зачетов. Впервые в истории университета, между прочим. А на пятом курсе вышла замуж и не стала защищать диплом.

— Она же отличница, — вспомнил я. — С золотой медалью школу закончила. На цимбалах играет.

— А защищать диплом не захотела, — разлил по рюмкам водку Николай. — Говорит, в Вануату он ей не нужен.

— Где-где?!

— В Вануату, — сказала Надя. — Им предложили на выбор Гвинею и Вануату, и они выбрали острова.

— В каком океане?

— В Тихом. Прямо посередине.

— Две тысячи километров от Австралии, — кивнул Коля. — Или три. Давай лучше выпьем.

В этой ситуации не выпить было нельзя.

— Хорошо, Андрей еще не женился, — положил я в рот кусочек селедки.

— У него еще все впереди, — сказал Коля, прислушиваясь к грохоту в соседней комнате. — Вот барабанную установку купили.

Семья Николая сейчас жила в двухэтажном доме в частном секторе, и барабанная установка особо никому не мешала.

Цимбалистка Алена свой ход сделала. Каков будет ответ барабанщика Андрея?

Но спрашивать об этом родителей я не стал. В конце концов, я живу в Москве, а они в Минске. Это уже не просто разные города, — чужедальние страны.

4

— Заработать не хочешь? — спросил меня Завальнюк.

Он был моим соседом по внуковской даче.

— Хочу, — сказал я.

Честно говоря, с подобными предложениями внуковские насельники обращались друг к другу не часто. Тем более странно было услышать эти слова от Завальнюка, то ли директора, то ли главного редактора одного московского издательства.

— Нужно привести в порядок рукопись Коноплина, — объяснил суть дела Сергей Петрович. — Знаешь, кто такой Коноплин?

— Знаю, — кивнул я. — Был заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

— Ровно одни сутки, — уточнил Завальнюк. — На самом деле он грушник. А сейчас на пенсии, книгу пишет. Разделим рукопись на три части, одну возьму я, вторую Иванченко, третью ты. Недели за три справимся. Берешься?

— Конечно, — сказал я. — В издательстве с такими рукописями приходится иметь дело, что уже ничего не страшно.

— Это нормальная рукопись, — успокоил меня Завальнюк. — Грамотный человек, полжизни за границей.

И он оказался прав, рукопись Коноплина была на удивление чистой, во всяком случае, та ее часть, которая попала мне в руки. У меня, конечно, набрался с десяток вопросов к автору, и я ему позвонил.

— Приходите ко мне домой на Тверскую-Ямскую, — сказал Коноплин. — Завтра сможете?

— Смогу.

Коноплин меня принял по-домашнему, никаких тебе смокингов, бабочек и лакеев в ливреях. Но сама квартира была хороша: просторная, ухоженная, сплошь в коврах и шкафах, заставленных книгами.

— Всю жизнь собираю, — улыбнулся Коноплин, заметив мой интерес к книгам. — Знаете, в какой стране был самый увесистый книжный улов?

— В Индии, — предположил я.

— Нет, в Иране.

Между прочим, в той части рукописи, которая мне досталась, речь шла как раз об Индии и Иране. В них Коноплин был резидентом. В Советском Союзе говорить и тем более писать об этом было нельзя, в ельцинской России, в которой практически все было выставлено на продажу, можно.

— Эмигранты! — вспомнил я. — Вы о них пишете.

— Да, продавали книги на развалах, — кивнул Коноплин. — Я часами в них рылся. Представляете, люди вывозили с собой книги. Сейчас этого не сделал бы никто.

— Разве можно нынешних эмигрантов сравнивать с прежними, — согласился я. — Пигмеи.

— Да, сейчас Толстого с Достоевским выбрасывают на помойку. А там мы на развалах философские беседы вели. Русский человек в любых обстоятельствах остается русским. Это наш плюс и одновременно минус.

— Почему минус?

— Приспосабливаться не умеем.

— А надо уметь?

— Разведчику — обязательно. Пойдемте в кабинет.

В кабинете мы уселись за стол. По паузе, которую взял хозяин кабинета, я понял, что мне надо обратить внимание на стол.

— Красивая вещь, — постучал я костяшками пальцев по столешнице.

— Из сандалового дерева! — оживился Коноплин. — Вы не представляете, чего мне стоило привезти его из Индии. Он ведь не разбирается.

— Да ну?

Я заглянул под стол.

— Сделан по особой технологии, — не стал вдаваться в подробности Леонид Владимирович. — До сих пор пахнет.

Действительно, кабинет был наполнен запахом сандалового дерева. Впрочем, он был заставлен и увешан подсвечниками, африканскими масками, картинами, огромными раковинами. В одном из углов стояло прислоненное к стене копье. Здесь царила гремучая смесь запахов, о чем я и сказал хозяину.

— Принюхался, — усмехнулся тот. — Значит, вы считаете, что мне ничего переделывать не надо?

— Не надо, — сказал я. — Может быть, не хватает клубнички, но это не ваш стиль.

— Не мой, — согласился Коноплин.

«У него, наверное, и не было этой самой клубнички, — подумал я. — Резидентом надо было сидеть ниже травы, тише воды. Иное дело нелегалы. Те оттягивались по полной».

Как раз недавно по телевизору показывали бывшего нелегала, который по вкусу легко определял марку виски, стоявшего перед ним на подносе в стаканах. Это меня восхитило. Я, например, не мог определить по вкусу марку водки, а выпил ее немало.

— Виски мы тоже пивали, — сказал Коноплин. — Невелика наука.

«А вот в борделе не бывал», — подумал я.

— Может, и бывал, — строго посмотрел на меня Коноплин. — Но писать об этом не буду.

— Не надо! — поднял я руки вверх.

— Вы с Завальнюком вместе работаете? — спросил Коноплин.

— Боже упаси, — сказал я. — Во Внуково живем.

— Бывал я у него, — кивнул разведчик. — Картошку ели.

— Жареную? — осведомился я.

Белорусу можно было спрашивать о подобных тонкостях.

— Вареную, — подвигал бровями разведчик. — С селедкой хорошая закуска.

— Конечно, — согласился я. — Но выпиваю я там с Квасниковым, бывшим кремлевским охранником.

— А что он во Внуково делает? — удивился Коноплин.

— По совместительству поэт. Хороший мужик.

Коноплин с сомнением посмотрел на меня. Охранник и поэт у него не складывались в одно целое.

Но Квасников и вправду был хороший мужик. Он въехал в наш коттедж вместо Файзилова, который, как я уже говорил, получил дачу в Переделкино. Когда мы с Васильевым начали строительство, Квасников тоже присоединился к нам, хотя жилплощади у него хватало: пятикомнатная квартира в Москве, двухкомнатная во Внуково. Жена, правда, жила в Минске, но если вдуматься, это тоже дополнительная жилплощадь.

— И зачем мне все это? — чесал затылок Сергей Павлович, наблюдая, как каменщики кладут стены. — Зря мы в это дело вляпались, не наша ведь собственность, общественная.

— Хоть поживем как люди, — отвечал я. — Гостей будем принимать.

— Гостей я люблю, — кивал крупной головой Квасников. — Главное, чтоб готовили сами. Я к столовой привык.

«Настоящий служака, — подумал я. — Интересно, стихи он слагал на посту или во время отдыха?»

— По-всякому, — вздохнул Сергей Павлович. — В Кремле, правда, особо не думаешь, там исполнять надо.

— Все руководство в лицо знал?

— Конечно. Но там чужого человека издалека видно. Однажды взял с собой на фуршет двоюродного брата, из Сибири приехал. «Ни с кем не разговаривай, — говорю, — только ешь и пей». Петруха у меня понятливый, нашей породы. Стоим мы, значит, в углу, выпиваем, закусываем. И тут в зал входит Брежнев. Огляделся, а в зале человек сто, не меньше, взял рюмочку — и к нам. Подошел к Петрухе вплотную, наклонился к уху и говорит: «Ну, как там наши?» Тот стоит по стойке «смирно», а у самого рюмка мелко дрожит. «Это мой брат, — говорю я Брежневу, — из Сибири». Леонид Ильич кивнул, выпил и дальше пошел. А ты говоришь — начальство.

— Да я и не говорю ничего, — пожал я плечами. — Я в Кремле только на экскурсии был, возле Царь-пушки сфотографировался.

— А я там каждый кустик знаю, — снова вздохнул Квасников.

Очевидно, внуковская дача ему все-таки была не в радость.

Однажды он постучал ко мне в дверь часов в десять вечера.

— Ты один? — спросил он.

— Один.

— Заходи, по рюмке выпьем. Я товарищей пригласил.

— Поэтов?

С поэтами мне выпивать не хотелось.

— Охранников.

Квасников посмотрел на меня, как на ненормального. Похоже, выпивать с поэтами ему тоже не хотелось.

Я вошел в кухню — и сразу узнал охранника Брежнева Медведева. Его в Советском Союзе знали так же хорошо, как и шефа. В жизни он был еще значительнее, чем в телевизоре. Может быть, больше полысел. Но ведь уже лет десять прошло, как умер Брежнев.

— Сосед! — представил меня соратникам Квасников.

Второй гость, такой же крупный мужчина, как и Медведев, благосклонно кивнул.

Кухня у Квасникова была немаленькая, но сейчас в ней было тесно.

— Давай, — налил водку в стакан Квасников. — У нас тут не церемонятся.

Я посмотрел на полные стаканы и понял, что Советский Союз не зря считался мировой державой. Водку стаканами в нем пили не одни охранники. Между прочим, среди знакомых мне писателей таким был один Кузнецов.

— Чисто символически, — говорил он, вливая в себя стакан.

Я, хоть и прозаик, стакан выпить не мог. Квасников об этом знал, но налил мне столько же, сколько и остальным.

Гости, к счастью, были озабочены другими проблемами.

— Ну, и кто победил? — спросил второй гость, имени которого я не знал.

— Ничья, — сказал Медведев.

— Они поспорили с охранником Рейгана, кто сильнее, — объяснил мне Квасников. — Володя, где это было?

— В Америке, — сказал Медведев. — Они там совещаются, а нам скучно.

— У Володи на спор никто не мог оторвать от земли ногу, — наклонился ко мне Квасников. — Конек у него такой.

— Конек — это когда отбрасывают коньки, — сказал второй гость. — Хорошее было время… Ну, поехали!

Он залпом выпил свой стакан. То же самое проделали Медведев и Квасников. Я сделал два глотка и поставил стакан на стол.

— Фактура не та, — объяснил я.

Впрочем, о том, насколько на самом деле мелка моя фактура, я узнал, когда повез Медведева на станцию.

Второй гость остался ночевать у Квасникова, а Медведев сослался на обещание жене ночевать дома.

— Подвезешь? — посмотрел на меня Квасников.

— Конечно, — сказал я.

«Неужели кремлевские охранники на электричке ездят?» — подумал я.

— Так ведь на пенсии, — понурился Квасников. — Теперь на персональных машинах ездят одни воры.

Я подогнал свою «пятерку» к коттеджу. Медведев открыл дверь и сел. Машина крякнула и перекосилась. Я на своем водительском сиденье, можно сказать, взмыл над землей.

«Хорошо, до станции дорога нормальная, — подумал я. — На ухабах и пяти метров не проехали бы».

Коноплин и Медведев служили в одном ведомстве, но кустики, по которым они шарили, были все-таки разные. Медведев прохаживался большей частью вдоль кремлевских кустов, а Коноплин изучал кустарники Индии, Ирана и Пакистана. В своей книге он писал, что контейнеры с шифровками и прочей шпионской ерундой ему приходилось прятать именно под кустиками.

— Хорошая получилась книга, — сказал я, ведя пальцем по отполированной поверхности сандалового стола. — Не зря вы изучали книжные развалы в Иране.

— Я и до Ирана собирал книги, — польщенно улыбнулся Коноплин. — В Институте восточных языков было много книжников.

— Сейчас это МГИМО?

— Да, институт международных отношений. Его мой сын закончил.

— Говорят, случайные люди туда не попадают?

— Самый закрытый институт в стране, — кивнул Коноплин. — Если нынешняя власть и его сделает общедоступным…

Он замолчал.

— Да, ельцинские холуи почти все сдали американцам, — согласился я. — Уже и до нелегалов дошло дело.

— Нелегалов я положил на дно на тридцать лет, — твердо сказал Коноплин. — За это время ситуация в мире может измениться.

Я с сомнением посмотрел на книжные шкафы, сплошь заставленные раритетами. Тридцать лет — не такой большой срок, чтобы Америка рухнула в тартарары.

Но шпионы — это все же не мое хобби.

— Идемте пить чай, — резко поднялся со стула Коноплин.

И мы отправились в кухню пить чай.

5

Егору стукнуло пять лет, и мы решили съездить в Коктебель.

Я слышал, что Коктебель уже далеко не тот, в котором мы с Аленой блаженствовали в восьмидесятые годы. В столовой Дома творчества стали

хуже кормить. Набережную застроили шашлычными и пивными. Закрыли Карадаг.

— Но море ведь то? — спросил я жену.

— Поехали, — покорилась она.

В Коктебеле все действительно стало другим. Круглые сутки в кафешках грохотала музыка. Вода в душе появлялась часа на два, не больше. Еда в столовой была тяжелая и невкусная.

— Даже море грязное, — посмотрел я в окно номера.

— Пойдем к ослу! — потянул меня за руку Егор.

На набережной ему нравился осел, на которого можно было влезть и сфотографироваться. Егор обнимал его за морду и пытался заглянуть в глаза. Осел брезгливо отворачивался.

Но за неделю к шуму и грязи мы как-то приноровились.

«Вот-вот с неба упадет под ноги мешок с деньгами, — думал я, — и на следующий год мы поедем отдыхать в Испанию или Италию».

Лично меня с Коктебелем примиряли тетки, торгующие на набережной вином. Зарплату на винзаводе им выдавали натурой, и пропустить стаканчик хереса между обедом и ужином теперь не составляло труда.

Между прочим, о мешке с деньгами в это время мечтал не один я.

— Как там Белугин? — спросил меня у входа в столовую критик Володя Бочаренко. — По-прежнему издает журнал «Золото России»?

— Не знаю, — пожал я плечами. — Я в «Современном литераторе».

— Который был советским? — ухмыльнулся Бочаренко. — Ну, и кого вы там издаете?

— Дневники Чуковского, Короленко, Булгакова и прочих третьесортных писателей.

Я тоже хмыкнул.

— Н-да, — посмотрел на профиль Волошина на Карадаге Володя. — Говорят, у Белугина карманы золотыми медалями набиты.

— И платиновыми, — кивнул я. — Про серебряные я и не говорю, мы ими в пивных расплачиваемся.

Здесь я, конечно, приврал, никакими медалями мы в пивных не расплачивались. Там бы их и не взяли. Но загнать в скупке пару медалешек я Белугину помог.

— Ты на машине? — остановил он меня как-то у Дома литератора.

— Да.

— Давай на Таганку сгоняем.

— Зачем?

— Там скупка золота хорошая.

Белугин выжидающе посмотрел на меня.

Я знал, что Белугин с подельниками изготовляют юбилейные пушкинские медали из золота, платины и серебра. Кажется, они взяли крупный кредит и заключили договор с Гохраном. Теперь эти медали действительно побрякивали в кармане Белугина.

— А зачем туда надо ехать на машине? — на всякий случай спросил я.

— Для надежности, — сказал медальер. — Если что, подстрахуешь.

«Что *что*? — подумал я. — Стукнут по башке и отнимут медали?»

В желтых газетенках было полно сообщений, как у безработных москвича или москвички грабители отняли сумку с полсотней тысяч долларов. На эти сообщения можно было бы не обращать внимания, если бы похожая история не произошла в моем собственном подъезде.

Я вышел из лифта на первом этаже и увидел лежащего на полу человека. Рядом с ним испуганно тыкал в кнопки сотового телефона сосед с тринадцатого этажа.

— Голову бутылкой разбили! — крикнул он мне. — Я «скорую» вызвал, но надо еще милицию…

— А это кто? — спросил я.

Из головы лежащего на полу человека уже натекла изрядная лужица крови.

— С шестнадцатого этажа, — сказал сосед. — Недавно квартиру купил.

Я знал эту квартиру. Это была в полном смысле слова нехорошая квартира. Первоначально ее получил прокурор нашего района. Шестнадцатый этаж в нашем доме был последний, и именно этим воспользовались грабители. Они спустились с чердака на лоджию, проникли в квартиру, связали прокурорскую жену и вынесли из квартиры все ценное. Поговаривали, что там была не одна сотня тысяч зеленых. Возможно, это были не простые грабители. В прокурорскую квартиру не каждый полезет. Как бы там ни было, прокурор из этой квартиры съехал. Долго она стояла пустая, и вот в ней появился жилец. Выяснилось, что до нападения он в ней не прожил и месяца.

— Поменял в нашей сберкассе деньги, — рассказала мне вечером жена, — вошел в подъезд и получил по голове бутылкой. Бандиты его вели от кассы до дома.

— Поймали? — спросил я.

— Прям! — хмыкнула Алена. — В больницу увезли.

Через пару недель жилец выписался из больницы и тут же продал квартиру. Сейчас в ней жил какой-то пьянтос с симпатичной женой. Они частенько скандалили, но нам-то какое дело? Прокурорская квартира жила своей жизнью.

— Поехали, — сказал я Белугину. — Сейчас одному ходить не надо.

Из скупки Владимир Ильич вышел значительно повеселевший.

— Айда в ресторан! — сказал он, садясь в машину. — Приглашаю.

— На работу надо заскочить, — вздохнул я. — Как-нибудь в другой раз.

И вот сейчас медалями Белугина заинтересовался Бочаренко. С чего бы это?

— Я решил газету издавать, — снова посмотрел на профиль Волошина Володя. — Медалями пусть спекулянты занимаются.

— Они себя называют предпринимателями, — сказал я. — Белугин говорит, что это удел избранных.

— Да знаю я Белугина! — скривился Бочаренко. — Слабый критик.

— Чтобы делать медали, критика не нужна.

Я тоже уставился на профиль Волошина. В Коктебеле можно было смотреть только на него и на мыс Хамелеон. Но тот в противоположной стороне.

— Пойдем вечером в кафе, — предложил Бочаренко. — Отметим наше с Татьяной бракосочетание.

— А ты сочетался? — удивился я.

Я знал Людмилу, предыдущую жену Володи.

— Как раз перед поездкой сюда, — сказал Володя. — Медовый месяц отмечаем.

Я замечал, что у людей, отмечающих медовый месяц, несколько глуповатый вид. Володя не был исключением.

— Пойдем, — согласился я. — У нас с Аленой хоть и не медовый месяц, но уже есть Егор.

— Это он сегодня в столовой про осетрину кричал? — засмеялся Бочаренко.

— А то, — крякнул я.

Директор Дома творчества где-то раздобыл партию осетрины, и нас уже неделю кормили ею утром, днем и вечером. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» хотя и говорится, что осетрины второй свежести не бывает, наша была именно такова.

Сегодня утром Егор выскочил на середину столовой, поднял руки вверх и заорал:

— Самая плохая рыба — это осетрина!

Голос у нашего ребенка был что надо, его услышали практически все. Кто-то из писателей засмеялся, кто-то зааплодировал. Испуганная заведующая столовой подбежала к ребенку и погладила его по голове.

— И мороженое ваше прокисло! — с гневом отвел ее руку Егор.

Я не знал, куда деваться от стыда.

— Хороший мальчик, — сказал Бочаренко. — Станет критиком не чета Белугину.

— Нам придется взять его с собой, — предупредил я Володю.

— Берите, — разрешил тот. — Вина он ведь еще не пьет?

— Только компот, — кивнул я. — И с козами наперегонки бегает.

У Егора сейчас был период любви к животным. Он гонял голубей, пытался погладить каждую встречную собаку, а пасущуюся козу обнаружил по дороге к Карадагу.

— Козы бодаются? — направился он к ней с недвусмысленными намерениями.

Та с удовольствием приняла вызов и тоже наклонила голову.

— Беги! — закричал я.

— Она же на веревке, — посмотрел на меня, как на маленького, сын.

Кафе, в которое пригласили нас Володя с женой, было на территории турбазы.

— Здесь вино хорошее, — сказал Бочаренко. — Вчера литра два выпил — и ничего.

— Пусть будет вино, — согласился я.

Я не стал ему говорить, что сам балуюсь хересом, продающимся на набережной. В Коктебеле у каждого свои секреты, и негоже выбалтывать их первому встречному.

За соседним столиком я увидел поэта Андрея Утлого с молодой женой. Сам Андрей был из казаков, а жену взял казашку.

«И не боится, — подумал я, наблюдая, как он что-то нашептывает ей на ухо, между прочим, довольно большое. — Но чего не сделаешь в первый месяц совместной жизни».

Сам я степнячек остерегался. В их черных раскосых глазах мне мерещился красный отсверк огней стоп-сигнала. А Утлому, похоже, нравилось играть с огнем.

— Идите к нам! — помахал рукой Володя. — Я угощаю!

Молодая чета с радостью перебралась за наш стол.

Егор нашел себе подружку лет пяти, и они с визгом носились между столами. Взрослые на них не обращали внимания.

— Что бы мы без нее делали? — показал я на подружку.

— Сами бегали бы, — вздохнула она.

— Здрове пенькных пань пораз першви! — поднял я фужер.

Марина, жена Володи, покосилась на меня, однако отпила глоток. Как я знал, была она генеральской дочкой и щепетильно относилась к здравицам в свою честь. Казашка по-польски не понимала, но охотно выдула фужер до дна.

«Хлебнет с ней Андрей, — подумал я. — Освобожденная женщина Востока сколь прекрасна, столь же и страшна».

Казашка подмигнула мне и собственноручно наполнила свой фужер.

— Может, пойдем отсюда? — толкнула меня под столом жена.

— Ни в коем случае! — уперся я. — Ты только посмотри, как ребенок резвится.

Тот уже бегал во главе большой шайки детей, среди которых были и отроки.

— Далеко пойдет, — наклонился ко мне Бочаренко. — В каком пансионе воспитываешь?

— В уличном, — сказал я. — Во Внуково у них подобралась хорошая команда.

— Я тоже получил квартиру во Внуково, — поиграл бровями Володя.

— В чью квартиру въехал? — обрадовался я.

— Ваншенкин свою сдал.

Да, я знал, что Константин Яковлевич решил отказаться от внуковской дачи. После смерти жены она ему была не нужна.

— Надо было подождать, когда в Переделкино дадут дачу, — сказала Марина.

— Переделкинскую можно всю жизнь ждать, — перестал улыбаться Володя.

— И не дождаться, — поддержал его Утлый.

Мы выпили еще по фужеру и отправились домой. Ночь была лунная. На отсвечивающем серебром небе четко рисовались вершины Карадага.

— Как на Марсе, — шепнула мне жена.

Я на Марсе не был, однако согласился с ней. В Коктебеле действительно инопланетный пейзаж.

С моря налетел порыв ветра и сорвал с Марины шейный платок. Он плавно опустился на верхушки тростника, растущего под мостиком, по которому мы проходили.

— Сейчас достану, — сказал Володя.

Он потянулся к платку — и ухнул в заросли тростника.

— Володя, ты где?! — закричала Марина.

Из-под моста послышался стон.

Мы с Андреем, цепляясь за стебли тростника, спустились вниз. Ночь хоть и была лунной, однако разглядеть что-либо под ногами было трудно.

Володя лежал на забетонированном стоке воды и глухо стонал.

— Кажется, руку сломал, — проговорил он.

Мы помогли ему выбраться на дорогу.

— Надо вызывать «скорую», — сказала Алена.

Андрей побежал в администрацию Дома творчества. «Скорая» в Коктебель приезжала из Феодосии, а это не меньше двадцати километров.

Мы довели Володю до Дома творчества.

— Зачем ты полез за этим платком? — причитала по дороге Марина. — Сто лет он мне нужен!

— Наши батыры на полном скаку барашка подбирают, — сказала мне жена Андрея.

Кажется, она снова подмигнула мне.

— У вас степь, — сказал я, — а здесь горы. Барашков на их склонах я что-то не видел.

— На море барашки, — засмеялся Егор.

Все это время я его не видел и не слышал, что само по себе было странным.

Часа через полтора приехала «скорая» и увезла Володю в Феодосию. Оттуда он вернулся с рукой в гипсе и хромающим на обе ноги.

— Перелом, — лаконично объяснял он писателям.

— Бандитская пуля, — добавляли мы с Андреем.

Казашка при этом подмигивала направо и налево.

«Наверное, у нее нервный тик, — думал я. — Но сейчас у каждого второго тик».

На следующий день я сходил к мосту и осмотрел место, куда свалился Володя. То, что я увидел, ужаснуло меня. Из забетонированного стока беспорядочно торчали железные штыри, и Бочаренко лишь чудом не нанизался на один из них.

— Поставь свечку своему ангелу-хранителю, — сказал я Володе при встрече. — И захочешь, не упадешь так аккуратно.

— А пьяных Бог бережет, — засмеялся Бочаренко. — Андрей с казашкой опять подрались.

— Они дерутся? — удивился я.

— Почти каждый день. Добром это не кончится, помяни мое слово.

И он был прав. Через какое-то время я узнал, что после очередной драки казашка сдала Андрея в милицию, и писатели всем миром вызволяли его из тюрьмы. Удалось это им с большим трудом.

Однако случилось это уже после Коктебеля. Там у молодоженов был медовый месяц, и о милиции еще никто не заикался.

— Кроме Бочаренко, — сказала жена.

— Когда у тебя в гипсе рука, — парировал я, — в голову лезут плохие мысли.

— Вот и накаркал, — хмыкнула она. — Коктебель место хорошее, но опасное. Гумилев с Волошиным в нем на дуэли дрались.

Я промолчал. Лично мне драться на дуэли ни с кем не хотелось.

6

Литературную премию издательства «Современный литератор» придумал Вепсов. Председателем комиссии, конечно, он поставил Бочкарева, однако решающее слово во всех случаях оставалось за ним. Но это и понятно. Кто платит, тот и танцует.

— Тебя тоже ввели в комиссию, — сказал мне Вепсов.

— Секретарем? — спросил я.

Во все времена уделом молодых писателей, попавших в какую-нибудь комиссию, было написание протоколов.

— Секретарь Соколов, — поморщился Вепсов. — А ты член.

Ну что ж, член так член. Я ему был нужен в качестве лишнего голоса. И на том, как говорится, спасибо.

Я знал, что лауреатами этой премии становились Пикуль, Кешоков, Евгений Носов, сам Вепсов, конечно.

— Кому дадим премию в этот раз? — спросил я.

— Попову, — поколебавшись, сказал Вепсов. — И еще кое-кому.

С Поповым все было понятно. Раз в «Молодой гвардии» был напечатан роман Бочкарева, значит, очередным лауреатом должен стать главный редактор этого журнала. Странно, что сам Бочкарев еще не лауреат.

— Вот об этом я с тобой и хотел поговорить, — сказал Вепсов. — Юрий Владимирович изо всех сил сопротивляется, а я думаю — пора.

— Конечно, пора, — согласился я. — Неизвестно, что будет на следующий год. Могут и здание отобрать.

— Кто? — неприязненно покосился на меня директор.

— Власть, — вздохнул я. — Сейчас у нас главный рэкетир она, родимая.

— Наше здание принадлежит писателям, — пробурчал Вепсов. — Неужели у них рука поднимется?

— Придет время — поднимется, — посмотрел я на Тимку, безмятежно раскинувшегося под лампой. — Сейчас самая лучшая жизнь вот у них.

— У них она всегда была лучше нашей, — кивнул директор. — Это же не собаки.

Особой разницы между московскими котами и собаками я не видел, однако спорить не стал. Тимкина жизнь определенно была лучше моей. Но пусть хоть кому-нибудь живется хорошо во времена свободы предпринимательства. Наконец-то национальное достояние в виде нефти, золота и прочих алмазов поделено между избранными.

— А вот тебе ничего не досталось, — хмыкнул Вепсов.

— Так я же белорус, — сказал я. — У нас бульба.

Директору мой юмор нравился не всегда. Раздражала и строптивость, проявляющаяся в самый неподходящий момент. Но где их взять, покладистых?

Как я уже знал, люди были самой большой проблемой Вепсова. Со всеми своими бывшими сослуживцами он расставался в лютой вражде. Та же участь ждала и меня, но человек живет сегодняшним днем, отнюдь не завтрашним. А когда оно еще наступит, это завтра. У нас ведь сначала утро, затем бесконечный день, а там не менее долгий вечер с чаркой и куском мяса.

Я увидел, что Тимка спит на большом листе гербовой бумаги.

Вепсов поймал мой взгляд и накрыл угол бумаги, высовывающийся из-под кота, рукой.

— Неужто награда? — спросил я.

— Из Дома Романовых приходили, — вздохнув, признался Вепсов.

Я видел этого председателя Геральдической комиссии Дома Романовых. Более отъявленного проходимца до сих пор я не встречал. Он походил одновременно на Остапа Бендера, Кашпировского и депутата Государственной думы нынешнего созыва.

— И кто вы теперь? — попытался я вытащить лист из-под кота.

— Барон, — сказал Вепсов. — Не трогай Тима, три дня где-то пропадал, пусть спит.

— Мулатов вроде получил титул графа, — вспомнил я. — Точно такую бумагу показывал.

«Интересно, сколько стоит титул барона? — подумал я. — У Мулатова денежки водились, все-таки внук бухарского ростовщика. А откуда они у северного человека?»

— Оттуда, — сказал Вепсов. — Ты про Ювэ понял?

— Нет.

— На заседании комиссии скажешь несколько слов о романе и выдвинешь Классика на премию. Вопросы есть?

— Нет.

— Правильно. Свою книгу в печать сдал?

— Нет.

— Что это у тебя сегодня одни нет! — развеселился Вепсов. — Сдавай, нечего кота за хвост тянуть. А, Тимка?

Кот и ухом не повел. Проблемы людей его не интересовали. Вот кому надо бы присудить премию.

— Ты это брось, — сказал директор. — Придет время, и о тебе вспомним. Прежде классиков надо уважить. О Викторове вот забыли. Ты у него в журнале печатался?

— Да, — сказал я.

— Мой роман он зарубил, — посмотрел в окно Вепсов, — но я зла не держу. Слишком часто в ЦК бегал. А там хорошему не научат.

— Шауро? — вспомнил я своего земляка из ЦК партии.

— И этот тоже, — досадливо поморщился Вепсов. — Но хуже всего меня братья-писатели с «Литературной Россией» кинули.

Я уже слышал эту историю. В Союзе писателей России, где одним из начальников был Бочкарев, Вепсову пообещали должность главного редактора «Литературной России». Но в самый последний момент, как это часто бывает, секретариат проголосовал за Сафонова.

Это была незаживающая рана.

— И Бочкарев ничего не мог сделать? — спросил я.

— Он оказался один против всех, — тяжело вздохнул Вепсов. — Я все-таки больше газетчик, чем издатель.

— В издательстве вы сам себе начальник, — сказал я. — В газете интриг больше.

Вепсов промолчал. Похоже, именно интриги были его призванием.

— После смерти Эрика газета влачит жалкое существование, — решил я смягчить ситуацию. — Гонорары не платят.

— Их сейчас нигде не платят. — Вепсов выдвинул ящик письменного стола и достал несколько номеров «Молодой гвардии». — Вот, возьми, прочитай и доложи на комиссии. Нужно, чтобы Ювэ внял.

«Куда он денется, — подумал я. — В комиссии люди опытные, уговорят Классика».

Лучше других в комиссии я знал Юрия Лубкова, фольклориста и по совместительству ректора педагогического университета. В свое время он готовил том сказок для собрания русского фольклора, издававшегося в «Современной России». Редактором этого собрания, естественно, была моя жена.

До развала СССР они успели выпустить около десятка томов, в том числе и сказки. Однако после девяносто второго года издание это затормозилось, а потом и вовсе исчезло из планов. Для него нужны были деньги, и немалые.

Однажды мне позвонил приятель из Минска и поинтересовался, могу ли я найти человека, занимающегося народными сказками.

— Легко, — сказал я. — А зачем тебе?

— Хотим издать «Заветные сказки» Афанасьева.

Я слышал о них. Это были матерные сказки. В девятнадцатом веке они вышли приложением к основному тому сказок Афанасьева. Но тогда это было обычное дело. Точно так же, к примеру, выходили матерные присказки и припевки к академическому изданию Федоровского «Люд белорусский». Дополнение к научному изданию, не более того. Цитировать их было нельзя ни при каких обстоятельствах.

Но вот настали рыночные времена, когда издавать стали все то, что прежде было если не под запретом, то под спудом.

Я позвонил Лубкову и рассказал ему о предложении белорусских издателей.

— Пусть обращаются, — сказал он. — А у себя в издательстве ты их не хочешь издать?

— Нет, — хмыкнул я. — Мы еще не настолько прогрессивны.

— Жалко, — засмеялся Лубков. — Могли бы хорошо заработать.

Я связал своего минского товарища с Лубковым, получил за посредничество пару сотен долларов и забыл об этом.

Однако история с этими сказками имела продолжение. Минские издатели напечатали «Заветные сказки» чуть ли не миллионным тиражом. Торговать ими они намеревались, естественно, в России. Беларусь была слишком мала для подобных проектов. Но на границе с Россией фуры со сказками тормознули. Пусть она была условной, эта граница, однако для таможенников межа существовала. Весь тираж издания был арестован.

— За что? — спросил я своего минского друга.

— За порнографию, — вздохнул тот. — Прямо так и написано: «За порнографический характер текста».

— Но ведь это народное творчество! — возмутился я. — Оно иногда бывает матерным.

— Оно всегда матерное, — поправил меня издатель, — но печатать нельзя. Развращение подрастающего поколения. Слушай, не хочешь продать партию МАЗов?

— Большую? — по инерции поинтересовался я.

— Штук пятьдесят.

— Нет, — отказался я. — Я дружу со сказочниками, а не дальнобойщиками.

В середине девяностых не торговал только ленивый. А я, к сожалению, любил лентяйничать.

На заседании комиссии, на котором мне предстояло выступить, я увидел незнакомых людей.

— Кто такие? — спросил я Соколова, который всегда все знал.

— Художники, — ответил тот. — Новых учредителей премии подтягиваем.

Это были народный художник России Валентин Сидоров с товарищами. Бурлаком, кстати, выступал Лубков, тоже один из учредителей.

— Подтягиваете? — спросил я его.

— Хорошие люди, — кивнул он. — Художники вообще самые надежные из творцов.

— Почему?

— А у них на предательство нет времени. Малюют себе в мастерской, в свободное время пьют. Дохнуть некогда.

Я с уважением посмотрел на Юрия Николаевича. Ректоры знают то, о чем простые граждане не догадываются.

— Сам Сидоров, кстати, не пьет, — сказал Лубков.

— Как же он стал народным? — удивился я.

— Талант.

Да, таланту многое дозволено.

Я увидел, как Соколов с водителем потащили в комнату за сценой ящик водки.

— В наше время пили гораздо меньше, — сказал Викторов, поймав мой взгляд.

— Боялись? — спросил я.

— Некогда было, — поднял вверх указательный палец бывший главный редактор. — В любое время могли в ЦК вызвать.

— А там что?

— Либо разнос, либо выговор. Благодарность не объявляли.

— Себя не забывали наградить, — вмешался в наш разговор Просвирин, которого ввели в комиссию вместе со мной. — Писателей, правда, в ЦК уважали больше, чем остальных.

— Я у них был простой редактор, — вздохнул Викторов.

— Зато скольких вы напечатали: Распутин, Носов, Белов, Астафьев…

Просвирин не назвал себя. Вероятно, у него с Викторовым были какие-то свои счеты.

— Художникам мастерские давали, — сказал я. — Некоторые и жили в них.

— До сих пор живут, — махнул рукой Петр Кузьмич. — В квартире жена с внуками, а сам в мастерской. Удобно.

— Юрий Владимирович сегодня в хорошем настроении, — сказал Лубков.

— Предвкушает, — благодушно кивнул Просвирин. — На комиссию он без Алевтины приезжает.

Да, без Алевтины Кузьминичны Бочкарев чувствовал себя намного свободнее.

— И про премию уже все знают, — посмотрел на меня Петр Кузьмич. — Она лишней никогда не бывает. Помню, получил я Государственную…

Он замолчал.

— Да, не те сейчас премии, — сказал Викторов. — У меня, правда, и не было их. Одни выговоры.

— Петр Кузьмич, начинаем! — постучал ручкой по графину с водой Вепсов. — Итак, первый вопрос у нас о новом учредителе.

Все посмотрели на художников.

— Утверждаем, — басом сказал Просвирин.

Несмотря на крупные габариты, он был тонкий юморист. Комиссия расхохоталась.

Дальше все пошло с шутками-прибаутками, а мое выступление и вовсе приняли на ура. Юрий Владимирович согласился получить премию.

7

— Алесь, вы давно были в Польше? — спросила меня Лиля Звонцова на каком-то вечере в Доме литератора.

— Давно, — сказал я.

— Не хотите поехать?

— Хочу.

Лиля несколько лет подряд проводила в Гданьске Дни русской литературы. Ехать туда надо было за свой счет, но меня это не остановило.

— И мы с Егором поедем, — сказала Алена. — Сыну давно пора побывать на писательской тусовке.

Егор уже был взрослый одиннадцатилетний парень, и ему действительно было полезно посмотреть на писателей в неформальной обстановке.

— Не лучшее, вообще-то, зрелище, — сказал я.

— Разберемся, — подвела черту Алена.

— А что я там буду делать? — спросил из своей комнаты Егор.

Даже играя на компьютере, он старался быть в курсе всего, что происходило в доме. Меньше других его интересовала комната бабушки, но это и понятно, все-таки семьдесят пять лет разницы.

— Слушать, — сказал я. — Не подслушивать, а именно слушать. Писатели иногда говорят здравые вещи.

— Только не твои друзья, — фыркнула Алена.

С некоторых пор она стала со мной спорить. Но это тоже понятно, двадцать лет вместе.

— Слушать — это скучно, — появился на пороге Егор. — Я даже на уроках не слушаю.

— Потому и отличник, — кивнул я. — Можешь конспектировать выступления.

— Ладно, я подумаю.

Егор ушел к себе.

— С конспектированием ты хорошо придумал, — шепнула жена.

— У ребенка должно быть дело, — сказал я. — Просто так он даже в Америку не поедет.

— Поеду, — донеслось из комнаты Егора. — В Америке можно многому научиться.

— Позвони Лиле и скажи, что едем втроем, — сказал Алена. — В конце июля там можно купаться.

Она не любила, когда начинались разговоры об Америке. Мне они тоже не нравились.

В конце июля я как-то отдыхал в Паланге. Иногда я окунался в свинцовые воды Балтики, но купанием назвать это было нельзя. Может быть, с развалом СССР изменился климат, и вода там стала чуть теплее?

— Нет, — покачала головой Алена.

Она у меня была реалистка.

— Помню, лежим мы на пляже в Паланге, — вспомнил я, — слушаем радио, и вдруг поляки передают, что умер Высоцкий.

— С кем это ты лежал? — покосилась на меня жена.

— С Димой, — сказал я, — своим однокурсником. Захотели пивка попить в Прибалтике. А на обратном пути у нас самолет загорелся.

— Взаправду? — снова показался на пороге Егор.

— Ну, не совсем самолет, — пошел я на попятную. — Электропроводка в самолете. Но дыма был полный салон.

— В Гданьск мы тоже полетим на самолете? — внимательно посмотрел на меня сын.

— До Калининграда на поезде, — сказал я, — а оттуда автобусом.

Егор кивнул и снова пропал. С раннего детства он не упускал из вида любые мелочи.

— Я тоже боюсь летать самолетом, — сказала жена.

— Летать нужно туда, куда не доедешь поездом, — донеслось из соседней комнаты. — Например, в Америку.

К счастью, в Америке нас никто не ждал, и мы отправились в Польшу.

Гданьск оказался замечательным немецким городом. Остроконечные крыши домов, брусчатка на улицах, шпили кирх и костелов, — все здесь говорило о немецких корнях. Но на улицах звучала все же польская речь.

— Сначала здесь были тевтонцы, а потом их разгромили поляки, — сказала Лиля, когда я поделился с ней своими наблюдениями. — Помните Грюнвальдскую битву?

— Кто же ее не помнит, — хмыкнул я. — Литовцы Грюнвальд называют Жальгирисом.

— Да, Витовт тоже в ней участвовал, — согласилась Лиля.

— И три полка русских, — уточнил я. — Хотя смоляне в то время были не совсем русскими.

— Этим пусть историки занимаются, — махнула рукой Лиля. — Мы с поляками будем говорить о литературе.

— Поляки ведь не понимают по-русски, — сказал я.

— В Гданьском университете прекрасная кафедра славянской литературы, — обиделась Лиля. — Там и специалисты по русской имеются.

— А по немецкой?

— Конечно, — посмотрела на меня Лиля. — Если хотите, можем съездить в Мальборк.

— Мальборк — это Мариенбург? — уточнил я.

— Да, столица Тевтонского ордена.

— А что в этой вашей столице? — вмешался в наш разговор Егор.

— Замок, — сказал я. — Самый большой в Восточной Европе.

— С привидениями? — обрадовался сын.

— Наверное, — пожал я плечами. — В нашем Несвижском замке, например, до сих пор Черная дама гуляет. А здесь, видимо, крестоносцы.

— Нет никаких привидений, — сказал критик Чупров, подслушивавший нашу беседу. — Это выдумки обывателей.

— Есть, — отчеканил Егор. — Если есть замок, значит, в нем живут привидения.

Чупров усмехнулся. Спорить с одиннадцатилетним отроком было ниже его достоинства.

— О чем беседуем? — подошел к нам писатель Плужников.

— О привидениях, — сказал я.

— О чем?! — широко раскрыл глаза Плужников.

Он приехал на конференцию из Калифорнии, и привидения в программе, которую он получил по электронной почте, не значились.

— Это в Мальборке, — успокоил я его. — А здесь, в Гданьске, только поляки.

— Мы вообще в другом городе живем, — сказал Егор. — Как он называется?

— Сопот, — ответила Лиля. — Лучший польский курорт. Каждый поляк стремится приехать сюда хотя бы раз в год.

— Зачем? — спросил Егор.

— Отдохнуть, — удивилась Лиля.

— Что-то я не видел там развлекательных центров, — хмыкнул Егор.

— Поляки, в отличие от москвичей, отдыхают на пляже, — сказал я. — Море видел?

— Мутное, — поморщился Егор. — И холодное.

— Может быть, погода наладится, — обнадежила нас Лиля. — Егор, тебе нравится Гданьск?

— Ничего, — посмотрел по сторонам сын. — Иностранцев много.

— Немцы хотят увидеть свою историческую родину, — сказал я. — Меня тоже на Днепр тянет.

— Когда ты там был последний раз? — спросил Егор.

— Лет пять назад.

— Вот и они приезжают сюда раз в пять лет. А то и в десять.

Он засмеялся.

Я понял правоту Чупрова, когда тот не стал спорить с ребенком.

— Когда у нас заседание? — повернулся я к Лиле.

— Прямо сейчас. Егор, ты с нами?

— Конечно, — сказал сын. — Я и блокнот взял.

Мы поднялись по лестнице в зал и расположились за столиками по четыре-пять человек.

Вместе с нами за столиком оказались Чупров и некто Хвастов, председатель какого-то международного писательского союза.

— Где размещаетесь? — спросил я его.

— В Берлине, — сказал Хвастов.

Он не походил на немца, но тем не менее, было понятно, что человек приехал из Берлина.

— Кого будем слушать? — спросил Хвастов Чупрова.

— Плужникова, — зевнул тот. — Рассказы о Пушкине или что-то вроде того.

— Похожее было у Абрама Терца, — вспомнил я.

— Много у кого было, — снова зевнул Чупров.

Наверное, по дороге из Москвы в Гданьск он плохо спал.

— Да устал я от писателей, — сказал Чупров. — Пишут и пишут.

Это была чистая правда. Некоторые писатели действительно писали больше, чем следовало.

Лиля представила Плужникова, нашего калифорнийского гостя, и тот начал читать только что написанные рассказы. Надо сказать, чтение художественной прозы, пусть и своей, не было его призванием. Плужников читал невыразительным голосом, часто сбивался, и уяснить, каким боком затесался в эти рассказы Пушкин, было сложно.

— Чем он в Калифорнии занимается? — спросил я Чупрова.

— Преподает в университете.

Я покачал головой и посмотрел по сторонам. Народ откровенно скучал, а Егор просто спал, свесившись со стула.

«Как бы не свалился», — подумал я.

Егор вздрогнул, открыл глаза и прислушался к бормотанию Плужникова.

— Кошмар! — громко сказал он.

Хвастов откинулся на спинку стула и захохотал. Наверное, ему нечасто доводилось смеяться в Германии, и в Польше он решил отхохотаться на годы вперед. Я даже позавидовал ему.

Плужников сбился, сверкнул в нашу сторону очками и закончил чтение.

Ему радостно похлопали.

— Так будет каждый день? — спросил меня Егор, когда мы вышли на улицу.

— Может, через день.

Я посмотрел на Лилю. Она беседовала с импозантным бородатым мужчиной.

— А это кто таков? — спросил я Чупрова.

— Ты не знаешь Берра?!

От удивления Чупров перешел на «ты», и мне это понравилось.

— Откуда мне знать, — вздохнул я. — Сами мы не местные…

— Ладно-ладно, — похлопал меня по плечу критик. — Это знаменитый славист из Ниццы Роже Берра. Он, между прочим, был секретарем Бориса Зайцева. А теперь владелец самой большой коллекции картин художников-эмигрантов.

— Русских? — уточнил я.

— Естественно.

— Он хорошо говорит по-русски, — сказал Егор, внимательно слушавший наш разговор. — Но немножко не так.

— Конечно, не так! — оживился Чупров. — У него, в отличие от нас, настоящий русский язык, тот самый, который вывезли с собой эмигранты. Видишь, как на него смотрит юная критикесса? Раскрыв рот.

— Ирка? — спросил Егор. — А она мне не сказала, что критикесса.

Я озадаченно посмотрел на сына. Когда он успел познакомиться с Иркой? И кто она, собственно говоря, такая?

— В этом году университет окончила, — сказал Егор. — Мне тоже уже скоро поступать.

— Ты же еще в шестом классе! — всплеснула руками жена.

— Пять лет осталось, — пожал плечами Егор.

— Минутку, — сказал я. — Что они вообще здесь делают?

— Кто?

На меня уставились сын, жена и Чупров.

— Ну, эти… — смешался я, — коллекционеры, профессора, критики…

— Приехали на симпозиум, — сказала Алена.

— Француз с Иркой договорились ночью в море купаться, — с завистью сказал Егор. — Я тоже хочу!

— Ночью холодно, — строго посмотрела на него жена. — Пойдем, когда солнце выглянет.

— Оно может и не выглянуть, — вздохнул я. — В Калифорнии, между прочим, пляжи намного лучше здешних. Да и в Ницце…

— Старик, ты прав, — взял меня под руку Чупров, — здесь абсолютно нечего делать. Миллионерам, предположим, нравятся юные критикессы, Плужников захотел показать Польшу жене, тоже, кстати говоря, не старой, и только мы с тобой…

— А Хвастов? — перебил я его.

— Хвастов приехал Союз учреждать, — досадливо поморщился Чупров. — Запишет нас с тобой в делегаты — и все дела. За проезд и проживание платить не надо, ты сам за все заплатил.

— Я так и думал.

У меня как пелена с глаз упала. Все-таки недаром критики считаются наиболее продвинутым отрядом литераторов, с первого взгляда все видят.

— Приглашаю вечером в кафе, — сказал я на ухо Чупрову. — Жареным палтусом закусим.

— Халибутом? — почмокал губами Чупров. — Это можно. Вкуснее, чем в Сопоте, его нигде не готовят.

— Француза тоже с собой возьмете? — вывернулся из-за спины Егор.

— Возьмем, мальчик, — взъерошил ему рукой волосы Чупров. — Американца, француза, немца — всех возьмем.

— А Ирку?

— Ее француз водит за ручку. И отбить ее у него можешь только ты.

— Чему вы ребенка учите! — прижала к себе Егора Алена. — Сынок, на картины художников не хочешь посмотреть?

— Нет! — вырвался из ее объятий Егор. — Мы и так договорились с ней вечером в кафе посидеть.

Я махнул рукой и стал смотреть на облака. Здесь, в Гданьске, они были точно такими, как в Паланге: тяжелыми, цепляющимися за острые коньки домов. Еще чуть-чуть — и обрушатся на головы праздных туристов проливным дождем.

— А мы не туристы, — сказал Чупров. — Мы литераторы.

— Как этот, из Калифорнии? — спросил Егор.

— Ну, не совсем, — пошел на попятную критик. — Как Лев Толстой. Или Достоевский.

— Это скучно, — заявил Егор. — А Берра тоже писатель?

— Он ученый-миллионер, — ухмыльнулся Чупров.

— Круто! — сказал Егор.

— Лиля рукой машет, — поставил я точку в этом диспуте о писателях. — Пора возвращаться в Сопот. На завтра запланирован доклад Хвастова. Конспектировать будешь?

— А как же, — кивнул Егор. — Он сказал, что через пять лет ждет меня в Берлине.

— Через пять лет ты будешь желанным гостем не только в Берлине, но и в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

— Ни за что! — снова попыталась прижать к себе Егора Алена.

Но он был начеку и резво отскочил в сторону.

«Взрослеет ребенок, — подумал я. — И что с ним будет через пять лет, мы даже не догадываемся».

Окончание следует.





Микола МЕТЛИЦКИЙ

На веков непростом перепутье

Бессмертный полк

Пока есть этот полк —
Народу жить!
Идет… Брусчатка улицы
Дрожит.

И тысячи людских
Упорных ног
Чеканят шаг
По гулкой мостовой.
В сиянии побед,
Суров и строг,
Шагает в такт
Портретов вечный строй.

Безбрежный марш…
На правнуков плечах —
Их прадеды,
По-прежнему юны.
Весь мир
Как будто замер в этот час.
Ступает полк —
И гаснет тень войны.

Нас тысячи
На марше строевом —
И тысячи их, зримых,
На руках.
Мы вместе
Красной площадью идем,
Чтоб так идти
И в будущих веках.

Бессмертный полк —
Бессмертная душа

Народа,
Что пришел на этот марш.
Не вспыхнет больше
Мировой пожар,
Пока на страже
Полк надежный наш.

Прочнее всей
Придуманной брони,
Сильнее самолетов
И ракет,
Он, этот полк,
Рожден в лихие дни,
Открывшие
Европе новый свет.

И важно марш
Не словом прославлять,
А, взяв портрет,
Расширить этот круг —
И верю я, что вскоре
Вся Земля
Сольет дыханье
В памятном полку.

* * *

Если птицею стать — только не вороном,
Что на поле смерти очи клюет.

Если тучею стать — так не тою пречерною,
Что живые колосья градом побьет.

Если деревом стать — так не жалкой осиною,
Что за грех учиненный весь век дрожит.

Если стать валуном — так не тем, покинутым,
Что на давней могиле, замшелый, лежит.

Если стать огнем — так не тем, все рушащим,
Что от хаты оставил лишь горсть углей.

Если песней стать — только той, что душами
Завладела, Отчизне служит своей.

* * *

Далекое… Забытое… Былое…
Давно под толщей лет исчезла Троя.

И ныне, через многие века,
На Шлиманом раскопанных руинах
Мы силимся понять по черепкам,
Как прежде мастера лепили глину,
Как хлеб насущный для себя пекли,
Чем войны непрестанные вели.

Зубцами утонувшей Атлантиды
Пески времен взрезают пирамиды
Над берегом задумчивого Нила,
До нас еще обчищены чин-чином,
Их пыль веков давным-давно накрыла,
Набросила молчанья пелерину.
И лишь бесцеремонные туристы
Способны им вернуть веселья искру.

Воинственно-жестокие без меры,
В забвенья омут канули шумеры,
И ныне только щерятся в пустыне
Останки горделивых городов,
Истаяли, как не было в помине,
Овеянные вздохами ветров,
Омытые нечастыми дождями, —
Нечаянные жертвы в давней драме.

А вот уже не тени древних мифов —
Над Доном тихим спят курганы скифов.
Потомки, до научной славы падки,
На их загривках золото копают
И разные догадки и загадки
В отчетах скрупулезно отмечают:
Каким путем те скифы кочевали,
С кем ссорились они, с кем торговали?

Далекое… Забытое… Былое…
Плывет по небу солнце огневое.
Проходят дни. И некогда их станет
Столь много, что однажды в поле голом
Уже на века нашего кургане
Воткнет лопату некий археолог,
Пытливо пожелавший докопаться
До следа, что от нас сумел остаться.

Луна

Ты свой свет посылала Гомеру,
Когда он, озарен вдохновеньем,
К вещим волнам Эгейского моря

Выходил, бриз приветствуя шумный,
И гекзаметр в их ритме открыл.

Улыбалась из выси небесной
Сквозь вечернюю мглу Юаньмину,
Наблюдала, как мудрый китаец,
Убежав из чванливой столицы,
Занимался своим огородом,
По речному бродил побережью,
А потом в покосившейся хате
Строки новые сыну читал.

И ночами Омару Хайяму
Взгляд бросала в наполненный кубок,
Когда перс с виноградной лозою
Вел степенно-хмельную беседу
И писал поучения строки
Тем, кто истину ищет в вине.

На Бояна у тихой Немиги
Ты глядела в час вечера поздний,
Когда он сечи мертвое поле
Озирал и, тоскою охвачен,
Слово, полное скорби, творил.

Осветила Скорине дорогу,
Что из Праги вела на Отчизну,
На таможне ж порою ночною
Черной тучей свой лик заслонила,
Чтоб дозорные не углядели
Книжных оттисков, спрятанных в сене.

Наблюдала в ночи петербуржской,
Сквозь окно Эпимаха-Шипило,
Как Купала, нашедший там угол,
Завершал свой бессмертный «Курган».

Над оглохшей украинской степью
Поднималась в ночи и смотрела,
Как, поверженный бомбы осколком,
Воин юный глядел в поднебесье
И к груди уцелевшей рукою
Прижимал свой мешочек походный,
Где лежал томик «Тихого Дона», —
И не знала еще, что он — Мележ.

По зеркальной недвижимой глади
Затуманенной Нарочи хмурой
Проскользнула, манимая светом,

Под окно, где под лампой настольной
Танк, вернувшись из шумной Европы,
Громко выдохнул: «Ave Maria!..»

А сегодня у Вилии сонной,
Ярким бликом сияя над лесом,
В небесах снова бродишь и ищешь,
К чьим еще бы глазам приглядеться
На веков непростом перепутье.

* * *

Поэт — дежурный по планете,
Он наблюдает день-деньской,
Какой над миром дует ветер
И не запахло ли войной?

За род людской переживает,
Когда безвинно льется кровь,
Когда в могилу зарывают
До срока матери сынов.

Его душа от боли стынет,
Дрожит, как тот осенний лист,
Когда всемирные святыни
Взрывает-рушит террорист.

Вдруг сердце кровью обольется
И боль насквозь, как ток, пройдет,
Когда внезапно разобьется,
На землю рухнув, самолет.

Все у поэта на примете,
За всех душой болеет он.
Поэт — дежурный по планете
Вплоть до скончания времен.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.





Владимир СТЕПАН

Две даты

Рассказы

Гомель — Минск

Он вошел в купе медленно, и оно сразу стало тесным, такой огромный был мужчина в длинном черном пальто. Поздоровался, поставил потертый портфель в угол к окну, перчатки спрятал в карман, пальто снял и повесил, а шапку положил на столик. Поезд тронулся, гомельский вокзал отплыл. Мой сосед по купе сел и вздохнул. Носовым платком вытер толстые линзы массивных очков. Он был словно из тех, из девяностых годов. Широкое и длинное пальто, вязаная шапка, тупоносые ботинки, серый свитер поверх рубашки с синим воротничком, джинсы...

Ему было за семьдесят: высокий выпуклый лоб, большие уши и рот, короткие седые волосы, чисто, не по-стариковски, выбритый. Сначала я подумал, что он ученый, может, профессор. Или что работал когда-то бухгалтером на крупном предприятии. Потом я стал думать о матери, только час назад простился, о том, что она сильно постарела, а вот голос остался таким же властным.

А сосед уже расстегнул блестящие замки портфеля и достал книжку. Обложку обертывала белая бумага. Из книги торчал троллейбусный талончик-закладка. И я так часто делаю, пользуясь первым, что попалось под руку...

Мужчина положил книгу на колени и несколько минут держал на ней руки, будто она теплая, а руки холодные. Прижался спиной к стене, глаза закрыл. Уголки рта кривились. В этот момент я хорошо его разглядел, запомнил стариковски детскую улыбку.

Раскрыв книгу, он начал читать. В очках мелькал белый свет, когда то медленно, то нервно переворачивалась страница. Губы иногда шевелились, а чаще настороженно и обиженно поджимались. Книгу он держал близко, почти под носом. Когда в купе заглянула проводница проверить билеты, он на мгновение растерялся, а потом вытащил из портфеля старомодный кнопочный телефон, а следом и билет. Попросил принести чай и сразу забыл проводницу. Он был в книге. Бормотал, кривился, смеялся, а через страницу мог сердито захлопнуть книгу, зажав ею пальцы правой руки и закрыв глаза.

В Буда-Кошелево его лицо покраснело, лоб и лысина заблестели, а на висках фиолетовыми червячками вздулись и запульсировали жилки. Лицо стало страдальческим, казалось, он перестал дышать. Пренебрежительно бросил книгу и сжал пальцы в кулаки. Отдышался, собрался с силами, перевернул страницу и снова приблизил книгу к глазам.

В Жлобине мужчина закрыл ее, снова зажал в книге пальцы и первый раз посмотрел на меня — глаза в глаза. Растерянно улыбнулся. Глаза за линзами очков напоминали серый речной лед. Нет, даже воду под весенним льдом. Мне

показалось, он что-то хочет сказать, а он лишь облизнул пересохший рот, глянул в окно и спросил: «Жлобин?» Собрался с мыслями и начал читать дальше. Когда опустил книгу, то по щекам текли слезы, и он выглядел обиженным. Вытер лицо рукавом, шмыгнул носом и отгородился ею.

В Бобруйске мне показалось, что мужчина молится. Мне стало неловко, я вышел из купе. Стоял и смотрел в окно на знакомые пейзажи, на рыбаков, на синий трактор с прицепом на железнодорожном переезде.

Если бы я вышел из вагона с вещами, мой сосед по купе и не заметил бы. Но я вернулся — он читал. В Осиповичах мужчина, громко вздохнув, прошептал: «Боже мой... Боже мой!»

Проводница принесла билеты, глянула на его нетронутый чай, а потом на меня. Ушла.

Если бы мне заказали памятник человеку с книгой, прототипом я выбрал бы соседа по купе и книгу в белой обложке, которую он пять часов не выпускал из рук...

В Руденске мужчина тихо закрыл книгу. Сидел неподвижно, держал ее обеими руками. «Простите... Вы, может, подумали — старый сошел с ума?» — «Нет, что вы».

Он аккуратно снял обертку и показал заднюю обложку. Там была фотография молодого мужчины в клетчатой рубашке: «Это Олег! Мой сын...»

Две даты под фотографией разделяло тире, но это я заметил не сразу.

Сказка

Женщину звали Наташа. Мужчину — Сергей. Собаку — Джек.

В утреннем дворе пахло осенними листьями, бензином и ночным дождем. Сергей отстегнул блестящий карабинчик и пустил Джека. Тот на мгновение застыл, напрягся и побежал по рыжим листьям, зашелестел ими. Собака напоминала лисицу. Мужчина прикурил первую, самую вкусную, сигарету. Затянулся, выдохнул дым и посмотрел на пса. Джек бежал по листьям, шмыгнул под одну машину, потом под другую.

Серый автомобиль тронулся, выезжая со своего места.

Мужчина бросился к машине. Раздавленный пес дергался, передними лапами скреб воздух, из разинутой пасти на листья и мокрый асфальт текла яркая кровь.

У женщины, управлявшей автомобилем, лицо было бледным, как у гипсовой скульптуры, от испуга даже взгляд остановился. Джек перестал взвизгивать.

Через четверть часа мужчина в черной майке, собака, завернутая в куртку, и женщина — мчались на сером автомобиле через город. Сергей нестерпимо хотел курить и грязно ругаться, но молчал и смотрел на изувеченного и неподвижного Джека.

— Я не хотела, не заметила, не виновата...

— Сам виноват, надо было на поводке держать, здесь направо поворачивайте, быстрее!

— Вы извините, я не...

— Хватит!

Сергей ждал в коридоре полтора часа, а Наташа в машине, рядом с ветеринарной лечебницей. Наконец вышел молодой ветеринар в зеленом халате.

Сергей поднялся. Скомканную, окровавленную куртку держал на руках, прижимая к груди.

— Э-э-э, послушайте, надо прекратить его страдания... Пса следует усыпить. Шансов ноль. В лучшем случае, он проживет день. Думайте!

— Нет! — сказал Сергей.

Мужчина и женщина сидели в кухне за столом. На белой тарелке лежал виноград. В стиральной машине, в розовой пене, тяжело поворачивалась куртка. Был вечер того же бесконечного дня.

— А где он? — спросила женщина.

— В спальне, на своем обычном месте. Угощайтесь.

— Может, нужны лекарства, уколы.

— Все есть. Подождите, — Сергей быстро поднялся и пошел в спальню.

Наташа смотрела на воду в прозрачном чайнике, потом на чашки, потом в окно. Там был тихий двор, стояли, как ботинки в передней, легковушки. На них сыпались листья с кленов, каштанов и ясеней. Увидела свой автомобиль и вздохнула. Подумала, что ей нравится этот мужчина. Спокойный, сдержанный и уверенный в себе. Еще подумала, что раньше этого мужчину не замечала, хотя он и она живут в соседних подъездах.

Говорили о разном, большей частью она, а он слушал и даже несколько раз улыбнулся, когда она рассказывала о дочери-подростке и ее несносном характере.

Он хотел проводить Наташу до подъезда, но она отказалась.

— Ну что же ты так, Джек? — шептал Сергей и пытался медленно, шприцем, поить собаку. — Пей, дорогой ты мой товарищ. А она ничего такая, может, только мужика ей и не хватает. Слышишь, Джек? Ничего ты, собака, не слышишь.

Он аккуратно поддерживал голову с закрытыми глазами. Указательным пальцем коснулся горячего собачьего носа. Дышал Джек тяжело, прерывисто, в горле клокотало.

Когда делал укол, пес даже не вздрогнул.

Следующим вечером Наташа принесла горячие пироги. Они сидели за столом. Сергей ел мало, но пироги хвалил. Он даже предложил выпить красного вина. Наташа согласилась и призналась, что вино ей нравится. Они легко перешли на «ты«. Мужчина извинился и пошел делать укол. Помыл руки и вернулся к столу. Она улыбалась.

— Что-то не так?

— Все хорошо... Я поняла, что забыла положить в капусту соль. Ем и думаю, что чего-то не хватает.

— Я не заметил. Мне вкусно. Еще вина?

— Мне хватит. Завтра на работу. А впрочем, можно. — И она беззаботно улыбнулась.

Молодой ветеринар приехал утром. Как больного ребенка, послушал Джека. Поднял веки и посветил фонариком в черные глаза. Посчитал пульс.

Сергей стоял рядом.

— Ничего хорошего я вам не скажу. Зря вы упорствуете. Не понимаю, как в нем еще жизнь держится? Делайте уколы, поите... Если вам понадобится

собака, могу помочь с выбором. Ну, как знаете, спасибо! — закончил ветеринар и спрятал в задний карман джинсов деньги.

В половине восьмого пришла Наташа. Она принесла дыню. Медовый аромат поплыл по квартире и заполнил кухню. Сергей сказал, что ему нравится цвет зрелой дыни, особенно если на ломтики светит солнце.

Наташа попросила разрешения посмотреть на Джека. Сергей тихо открыл дверь в спальню и пошел в кухню. Наташа немного постояла, потом присела на корточки рядом с собакой и загадала желание — если пес поправится, то у нее с этим мужчиной все сложится.

«Выздоравливай, Джек, пожалуйста!» — прошептала и осторожно коснулась мягкого собачьего уха.

Три семерки

Связка ключей осталась висеть в замке казенных дверей с номером 777. Сорокалетняя женщина механически подняла руку и нащупала выключатель. Нажала и закрыла глаза. Под потолком загудели лампы, замигали и залили белым светом помещение. Три стола, под ними три урны, шкаф, три компьютера. Четыре кресла, тумбочка с чайником, чашками, рафинадом и большой банкой кофе.

Женщину звали Таня, фамилия Страх, а прозвище «Трах». Она вошла, посмотрела на свои мокрые ботинки, на красные неухоженные руки и прикрыла дверь. Но через мгновение спохватилась, выглянула в длинный полутемный коридор, схватила черный мешок и внесла его в комнату.

Она долго смотрела в окно на еще темный и мокрый город, двор с кирпичными низкими зданиями, на то, как на жестяной карниз сыпал дождь. Ей стало плохо, и она села в кресло на колесиках. Руки дрожали, и ей захотелось закурить. Но сигарет не было, и она проглотила вязкую кисловатую слюну. Столы, мониторы, разные бумаги, стены... Взгляд остановился на карте Европы. Многие города были отмечены зеленым маркером, а к ним тянулись короткие и длинные зеленые лучи. Таня подумала, что тот, кто сидит за этим столом, наверное, побывал во всех этих местах.

Ей захотелось кофе. Так сильно захотелось горячего кофе в большой чашке, что она встряхнула банку. Включила чайник, насыпала в чашку две, а потом еще одну ложку кофе, бросила три куска сахара и стала ждать, когда закипит вода.

Первый глоток был такой вкусный и горячий, что внутри, под грудью, все сжалось и затрепетало. Таня вздохнула и сделала следующий. Подъехала на стуле к столу посреди комнаты и вытащила верхний ящик.

Письма, исписанная бумага, файлы с фотографиями, журналы, темные очки. Она пристроила их на нос, посмотрела в зеркало и испугалась. На нее смотрела тетка с одутловатым испитым лицом, с немытыми, седыми, плохо подстриженными волосами. Она швырнула очки на стол, покопалась в других ящиках, увидела пачку с парой сигарет и зажигалку. Закурила, начала медленно пить кофе и смотреть то на дым, то на стены, то на свои грязные мокрые ботинки.

По жестяному карнизу барабанил темный мартовский дождь.

В ящике другого стола она нашла синий конверт с паспортом. Там лежало семьдесят долларов. Она смотрела на них с детской радостью, но, поколебав-

шись, недовольно вернула конверт в стол. Ей захотелось включить компьютер. Сильно захотелось. А потом писать и смотреть, как на мониторе появляются длинные строки слов.

Она помнила все свои статьи. Все. Могла пересказать каждую. Тогда она еще гордилась своей запоминающейся фамилией — Страх...

Может, она бы это и сделала. Включила и написала, если бы сигарета не обожгла пальцы. Она отбросила окурок, замахала рукой, прошептала: «Бля!»

И тут затрещал ее облепленный скотчем мобильник. Она еще раз прошипела «бля!» и прижала трубку к уху.

— Ну что тебе, Эмма? Слушаю.

— Таня, а ты где? Я пришла, а Егор еще спит.

— Я в редакции.

— В редакции? А что ты там делаешь?

— Работаю. Разогрей малому кашу, она на плите, и скажи, что деньги я принесу в школу на большой перемене, пусть не боится, идет обедать. Скажи, чтобы просыпался. Его куртка на батарее сухая. Что еще?

— Я так рада, что тебя взяли в редакцию, что все кончилось...

— Кончилось, не сцы. Все будет хорошо... Больше Егора у меня не заберут.

Таня отключила телефон и скрипнул зубами: «Все вы хорошие, когда хорошо...»

Поднялась с кресла. Ей так захотелось выпить, что она чуть не потеряла сознание. Села в кресло и опустила голову на колени, воткнулась носом в джинсы. Так и сидела некоторое время, пока не услышала стук капель по карнизу. Вскочила, вытянула из черного мешка ведро с тряпками и начала вытирать столы, а потом выколачивать в черный мешок урны. Сыпались помятые бумаги, пачки от чипсов, бутылки из-под минералки, куски бумаги... Она сходила в туалет, чтобы набрать в чайник воды, помыла чашки и ложечку, проветрила комнату под номером 777, как портвейн. Потом, по темной лестнице, вынесла на улицу в контейнер мусор и поехала на другой конец города, туда, где жила с девятилетним сыном. Злая, как зверь.

Большая подушка

Мама старенькая — восемьдесят семь, легкая как перышко. Весит сорок три килограмма. Год из квартиры не выходит, так болят ноги, но голос не изменился, такой же властный, как и раньше.

Сначала я отодвинул диван с одной стороны, потом с другой. Нашел шоколадную конфету, как камень твердую. Влажной тряпкой собрал пыль, потом вытер пол еще раз. Мама стояла, опираясь на клюку, и недовольно смотрела на чистый пол.

— Так что здесь должно быть, что ищем?

— Теперь отодвинь кресло, там посмотрим! — мамин рот кривился, и казалось, она вот-вот заплачет.

— Скажи что, может, я знаю?

— Отодвигай, только аккуратно, чтобы пол не поцарапать.

Оттащил тяжелое старое кресло, которое лет десять не раскладывали. За креслом нашел открытку и блестящую железную пуговицу. Вытер пол и придвинул мебель к стене. Лицо у мамы было печальным.

Я разозлился и пошел варить кофе.

Когда кофе остывал, я услышал, как мама в спальне стучит своей палкой и подсовывает ее под кровать. Пришлось отодвигать ее кровать, следом, аккуратно застланную, ту, на которой спал отец. На этот раз нашел две таблетки и крышку от бутылочки валерьянки.

Помыл пол. Мама следила за моими действиями, но быстро теряла интерес. Когда переставлял мебель в кухне, нашел четыре монетки: две желтые и две белые.

Мама сидела, вздыхала и смотрела, как я ищу неизвестно что...

— Семен сказал, что придет в половине седьмого, — вдруг сообщила мама.

— Какой Семен, Галин?

— Нет, сантехник... Знакомый отца, они вместе в общежитии работали. Саша электриком, а Семен... Ой-ой, и что мне делать? А посмотри за плитой, сынок, может там! — Мама поднялась.

Я оттащил старую газовую плиту. Кроме пыли, растерзанного куска наждачной бумаги и вилки, ничего не нашел.

Мыл пол и думал, что вот приехал и занимаюсь пустяками, передвигаю мебель, переставляю, пол мою, ищу что-то...

Мама волновалась, нервничала, злилась, даже покраснела.

В половине седьмого затрещал квартирный звонок. Мы с мамой сидели в кухне. Она попросила дверь не открывать.

Я пил холодный кофе, звонок трещал и трещал, мама волновалась.

Через полчаса, когда я, усталый, решил прилечь на диван, когда поднял огромную подушку, чтобы немного ее подбить, увидел маленький сверток.

Развернул салфетку. В ней была розовая искусственная челюсть. Мама обрадовалась, как ребенок. Даже смеяться начала.

— Я знала, что здесь они — мои зубы, дома... Тебя ждала, сняла, чтобы не терли, спрятала под подушку и уснула...

Через час мама звонила сантехнику Семену и говорила, что он может прийти завтра в любое время и посмотреть кран.

Перевод с белорусского Алены МАРКОВОЙ.



Что же так сердце мое растревожило?



Инна ФРОЛОВА

* * *

У счастья есть свой вкус и цвет.
Сегодня — счастье в красках утра,
В лучах живого перламутра
Оно рождается на свет.

А следом белые стихи
Присели на тетрадном теле…
Неужто счастье в самом деле
В прикосновении руки,

В туманной глади, в серебре
Куста удушливой сирени?
Незагорелые колени
Мелькнули счастьем во дворе.

Как просто: глубина и суть
Сокрыты в сокровенно-белом.
Так дай же Бог мне между делом
Сомненьем веру не спугнуть.

* * *

В нежном цвету ветви белой акации.
Ночь тишину расплескала свою.
Только на дальней приветливой станции
Слышно, как гулко колеса поют.

Что же так сердце мое растревожило
В эту весеннюю лунную ночь?

Может, далекое прошлое ожило,
То, что гнала я из памяти прочь?

Годы ветрами промчались тревожными,
Юность на крыльях мою унесли.
Тропками к ней не пройти бездорожными —
Только туманы белеют вдали.

В нежном цвету ветви белой акации.
Все безвозвратно — зови не зови.
Лишь поезда на приветливой станции
Тихо поют о прошедшей любви.

Светлана БЫКОВА



Язык поэтов

Я не печалюсь, что с природы
Покров, ее скрывавший, снят,
Что древний лес, седые воды
Не кроют фавнов и наяд.

. . . .

Поэт, лишь ты единый в силе
Постичь ужасный тот язык,
Которым сфинксы говорили
В кругу драконовых владык.

Н. Гумилев, «Естество»

Язык древнейший, несущий Знание, —
Язык духовный, язык заветов —
Он был доступен для понимания
Лишь древним сфинксам, еще — поэтам.

Душа поэта, как птица вещая,
Словам высоким послушно внемлет.
Перед рассветом, сквозь тьму кромешную
Она несет силу Слов на Землю.

И в час таинственный, в час мистический
Из чащи леса выходят фавны,
И проявляется знак магический,
И тайный смысл переходит в явный.

Сила Веры

Листочку желтому легко ли умирать —
Теряя силы, сохнуть день за днем?
И не жестока ли Природа-мать:
Пытает листья медленным огнем,
Который заставляет их алеть
И сыпать вниз остуженную медь?

Не слышно стонов, голос листьев тих,
Тепло идет последнее от них.
А как же человеческий уход?
Ведь человек в незримый мир идет,
Как правило, с обидой и в слезах,
Цепляясь, словно нищенка, за прах.

Так в чем же разница? — вы спросите… Увы,
Здесь разница и в вере, и в любви:
Листочек зеленел и жизнь любил —
Он не жалел природой данных сил.
И с верой в жизнь, в грядущую весну,
Не умер он — нечаянно уснул.

Живую силу в почку заложив,
Упал на землю, но остался жив:
В росинке, что дрожит на нем, горя,
И в золотом убранстве октября…
Так просто и легко… Паденье — вздох…
Живой и теплый мир лежит у ног.

Ветер перемен

Ветра — предвестники разлуки,
Грядущих бурных перемен —
Сметают слой смертельной скуки —
Печать отжившего и тлен.

По небу ветер гонит тучи,
Гудит набатом в кронах древ.
В нем слышится живой, певучий
Труб исторический напев.

Он под небесной, звездной крышей
Вещает правду, не тая,
Чтоб в мире все по Воле Высшей
Вернулось «на круги своя».

Анна ТИХОНОВА



Испанка

С детских лет одна отрада,
Утешенье мне одно
(Мне об этом рассказали
И романсы, и кино).

Собираюсь утром в школу,
Лью в какао молоко…
«Настоящие испанки
Машут веером легко».

В школе физика ужасна,
Математика страшна,
Биология прекрасна,
А история темна.

И решаю я задачи,
А до смысла далеко…
«Настоящие испанки
Машут веером легко».

Дома жарю я котлеты,
Прибираю, чищу дом
И о сумочке мечтаю
На замке и с ремешком.

А в карманах денег мало…
Сяду в кресло рококо:
«Настоящие испанки
Машут веером легко».

И какое б огорченье
Ни пронзило душу мне,
Я скажу себе однажды
В полуночной тишине:

«В сердце жаркая обида
Пусть засела глубоко —

Настоящие испанки
Машут веером легко!»

В картинной галерее

Еще куклу бы пальчикам этим прелестным,
Но в тяжелых алмазах и жемчугах
Дочь банкира сидит иудейской принцессой
С недетской печалью в огромных глазах.

Что провидится в этом сверкании звездном?
Сила женской души?
Ожидание мук?
Все готовность принять тихо, стойко, бесслезно?..
Роза дышит весной в пальцах девичьих рук.

А персидский ковер манит сказкой и тайной,
Обаяние детства еще глубоко.
Подари же, судьба, — ненароком, случайно!.. —
Сколько можешь еще шаловливых деньков!

* * *

Жасмином пропах наш дворик
И дикими красными розами, —
И воздух и сладок, и горек,
И чьими-то полон грезами…

И чья-то юность мучится
У грез волшебных во власти,
И ходит по нашей улице,
И не находит счастья...



Наталья ГОРБАЧЕВА

Тропка через лес

Обронил поэт слова —
собираю.
И на свой короткий век —
примеряю.

Все подходит. Мерки все —
идентичны.
Нахожу в стихах себя.
Будто лично
Проживаю каждый стих
безоглядно…
Буквы нижутся на нить
Ариадны…
И ведут меня по тропам
незримым,
Незнакомым, но до боли
родимым…

Пролетал ветерок

Пролетал ветерок,
сиротливый Стрибог,
Над землей, над водой.
Одинок, одинок.

Налетал на леса,
наполнял паруса,
Ветроплясом взлетал
в небеса, в небеса.

Продувал города,
обгонял поезда,
Передышки не знал
никогда, никогда.

Где бы ни был в пути,
хоть за краем земли —
Так хотелось покой
обрести, обрести…

Пролетел ветерок
сотни тысяч дорог.
Убегал от себя,
но не смог, но не смог.

Тропка через лес

Тоненькая ниточка — тропка через лес —
Узелком завязана на ларце чудес,
Сохранившем бережно детские года…
Я иду по тропочке. Голова седа,
Шаг мой — неуверенный, палочка в руке.
Отчего же кажется — я бегу к реке!

Много было пройдено мной путей-дорог —
Ни одна не вывела на родной порог.
По судьбе нечесаной шла я напролом,
Мне домой бы, в прошлое! Глянуть хоть глазком!

Вижу дом заброшенный. Слышу свой же крик.
Защемило — вспыхнуло. И по сердцу вмиг
Протянулся тоненький, в ниточку, порез
Маленькою Родиной — тропкой через лес.



Наталья СОВЕТНАЯ

* * *

Мое родимое селенье,
Тебя уж нет, да все ты есть…

Игорь Григорьев

Веретенька журчит — пробудилась.
Вот спасибо, родная, за милость!
Прозвучи нам старинным напевом,
Что слагали на береге левом,
Где деревня когда-то звенела,
Горевала, молилась и пела.
А в рассветной тиши было слышно,
Как гудит наковальня у Гриши.

Сито… Ситовичи…
Быль-селенье...
Пролетели столетья-мгновенья:
И ни хат, ни души, лишь в ложбинках
Кабаны протоптали тропинки.

Во дворах поселились березы…
И снега. И земелька промерзла…
Но журчит Веретенька: «Жить — будем!»[1] —
Пока память дарована людям.

[1] Название книги стихов И. Григорьева.

* * *

Пояса мои, поясочки!
Ткали вас да с молитвою в ночки,
Вечерами сплетали да с песней,
К свадьбе — жениху и невесте,
С оберегами от раздора,
От разлучницы и от вора.

Пояса мои, поясочки!
Для сынков родимых, для дочки.
Коловраты[*] на них, зайчики[*],
Чтоб рождались в роду мальчики.
С богодаровою[*] защитой,
Чаровратом[*] от зла сокрыты.

Пояса мои, поясочки,
Все цветные крестики, точки.
С ратиборцем[*], зничем[*], истоком[*] —
Под Всевидящим Отчим Оком.
Крест для мудрости да от сглаза,
От пожаров да от заразы.

Первый хлебный сноп перевяжет
И в последний час — пояс-княже.
От беды он спастись поможет.
Распоясаться — не дай Боже!
Озарит духовною силой…
Повязаться бы им — всему миру!

[*] Названия традиционных оберегов, используемых в том числе при ткачестве народных поясов.





Найо МАРШ

Убийство в Маунт-Мун[*]

Роман

Пролог

1939 год

— Я — миссис Рубрик из Маунт-Мун! — представилась златокудрая дама. — Позвольте пройти!

Мужчина, охранявший вход на сцену, молча с высоты своего роста окинул блондинку взглядом. Бледная, крупный нос, пожалуй, самая заметная часть лица, глаза — бесцветные и немного навыкате, с едва различимыми коричневыми крапинками, но это если долго и пристально вглядываться в них. Странно, однако вблизи глаза и нос казались чуть-чуть размытыми, словно на фотографии, сделанной аппаратом с плохим фокусом. Впрочем, все остальное в этом лице было совсем уж малопримечательным. Даже полураскрытый рот, за которым виднелись выступающие вперед зубы, даже он терялся на фоне хищного носа и цепкого взгляда проницательных и строгих глаз, похожих на два маленьких буравчика.

— Так я хочу пройти! — снова повторила Флосси Рубрик.

Охранник слегка повернулся и обвел глазами зрительный зал у себя за спиной.

— В конце зала еще есть свободные кресла, мэм! — проговорил он после некоторой паузы. — Прямо вон за теми рядами, что отведены для покупателей.

— Я знаю, что там еще есть свободные места. Но у меня, знаете ли, нет ни малейшего желания разглядывать спины своих потенциальных клиентов. Я хочу видеть их лица. Повторяю! Меня зовут миссис Рубрик, и в ближайшие полчаса на аукцион будет выставлена наша шерсть. А потому я хочу устроиться где-нибудь здесь, рядом со сценой.

Она взглянула на сцену, слегка отодвинув в сторону боковую кулису. Прямо по центру возвышалась трибуна, за которой стоял аукционист в рубашке без пиджака и что-то непрерывно тараторил, обращаясь к публике.

— Вот же! Сами посмотрите! Прямо возле этих размалеванных кулис! — воскликнула Флосси Рубрик торжествующим тоном и ткнула пальцем в кресло, стоящее рядом с кулисами. — Там мне будет вполне комфортно. — Она с достоинством прошествовала мимо охранника. — Приветствую вас! — проговорила она слегка визгливым тоном, столкнувшись нос к носу с еще одним стражем порядка. — Надеюсь, вы разрешите мне пройти. Меня зовут миссис Рубрик. И я хочу сесть вон там!

Она и в самом деле устроилась там, где хотела, в том самом кресле, которое облюбовала для себя. Но вначале слегка сдвинула его вперед так, чтобы через открытую дверь ей был виден зрительный зал и хорошо просма-

---

[*] Перевод осуществлен по изданию William Collins Sons & Co. Ltd 1945

тривалась вся авансцена. Дама была весьма миниатюрным созданием, а кресло — высоким и массивным. Когда она, наконец, уселась, то ее ноги едва касались пола. Помощники аукциониста, примостившиеся с целым ворохом документов прямо за трибуной и готовые по первому же сигналу выдать шефу все необходимые данные, моментально оторвались от своих бумаг и с нескрываемым любопытством принялись разглядывать странную незнакомку.

— Лот сто семьдесят шесть! — объявил зычным голосом аукционист. — Маунт-Силва!

— Одиннадцать! — немедленно выкрикнул кто-то из зала.

В зале тут же взметнулись еще две руки, а следом вскочили сами покупатели и закричали во весь голос:

— Плюс три десятых!

Флосси расправила мех у себя на груди и с некоторым интересом уставилась на участников торгов, которые начали так стремительно взвинчивать исходную ставку.

— Одиннадцать и три десятых! — объявил аукционист.

Несколько первых рядов кресел устроители аукциона вынесли вон, а вместо них поставили столы со стульями. На каждом столе красовалась табличка с названием соответствующей фирмы, представители которой восседали за данным столом. Ван Хьюз, Стайнер, Джеймс Огден, Гарц, Родс, Маркино, Джеймс Барнетт. Покупатели, облаченные в деловые костюмы из дорогой высококачественной шерсти, прибыли на очередной аукцион по продаже овечьей шерсти со всего мира, со всех четырех сторон света. Еще бы! Летние торги, главное событие года. Одного взгляда было достаточно, чтобы безошибочно определить национальность каждого, настолько колоритной и характерной была внешность всех этих людей. Круглолицая физиономия посланца от Ван Хьюза с несколько туповатым выражением лица, упрятанного под широкополой шляпой из мягкого фетра; прилизанная голова представителя фирмы Дьюбо с худым лицом, испещренным глубокими бороздами морщин, протянувшимися от ноздрей до самых уголков рта, над которым топорщились жидкие усы. Старик Джимми Ормерод представлял на аукционе самого себя. Колоритная фигура! Время от времени он издавал возбужденный клич, словно норовистый жеребец накануне забега, и лицо его при этом наливалось кровью. Представитель фирмы Гарц в респектабельных очках в роговой оправе, изредка заливающийся веселым смехом, похожим на лай собаки, мистер Курата Кан из Маркино, голос которого постоянно срывался на визгливый фальцет.

Перед каждым из покупателей лежала стопка листов с отпечатанными на них колонками цифр. Через определенные интервалы времени все они дружно переворачивали очередную страницу и в эту минуту были очень похожи на слаженный коллектив хористов, послушно следующих указаниям капельмейстера. Голос аукциониста звучал с прежней безучастной монотонностью, но странным образом сам он напоминал умелого кукловода, которому подвластно любое движение марионеток-покупателей. Вот они все как один, словно по команде, вскакивают с кресел и начинают что-то кричать, отчаянно жестикулируя и размахивая руками. А потом так же неожиданно, подчиняясь чьей-то невидимой воле, безропотно усаживаются на свои места и замирают в ожидании очередного приказа. Правда, некоторые остаются стоять и продолжают торопливо просматривать бумажки, поднося их к самому носу, словно боясь пропустить какую-то особо ценную или редкую партию шерсти. Другие же в это время что-то лихорадочно помечают в своих блокнотах. Но в любом случае, никто из присутствующих не позволяет себе и минутного расслабления, и переход от внешне безучастной созерцательности в положение полной боевой

готовности совершается буквально в мгновение ока. Многие курят, и по залу плывут голубовато-сизые клубы дыма.

Все проходы и балкон заполнены загорелым людом с обветренными руками и лицами. Выходное облачение безошибочно выдает в них деревенских жителей, прибывших по каким-то важным делам в город. Да уж! Одно слово: провинциалы! Но это те самые люди, которые занимаются разведением овец, их откормкой, выпасом, стрижкой, то есть это именно они получают ту самую шерсть, за которую идет такая отчаянная борьба на торгах. Да, они всего лишь зрители, но для всех этих людей разворачивающееся на их глазах действо — безусловно, самое важное событие года. Можно сказать, судьбоносное. Ведь от того, как поведут себя на аукционе потенциальные покупатели, будет зависеть материальное положение их семей на ближайшие двенадцать месяцев. Только торги покажут, не напрасны ли были все их многомесячные бдения в открытом поле, ночевки в убогих пастушьих хижинах, бесконечные переходы по горным склонам с одного пастбища на другое. А плюс еще снежные завалы, обрушившиеся на загоны для молодняка в самом конце зимы. А в довершение утомительные процедуры, связанные с постоянными прививками и дезинфекцией помещений, в которых зимует скот. Обычно подобные мероприятия всегда идут под разноголосый аккомпанемент блеющих обитателей, так что к концу рабочего дня уже буквально глохнешь от обилия звуков. Да и вообще, глаз да глаз за каждой особью нужен в течение всего года, а потом стрижка, и как финальная точка в нескончаемой трудовой круговерти — транспортировка тюков с шерстью в город. И вот, наконец, аукцион, который все расставит по своим местам и воздаст каждому по заслугам.

Среди людей, стоящих в проходе, Флосси узрела собственного мужа Артура Рубрика и тут же принялась энергично махать ему со сцены. Человек, стоявший рядом с ним, тронул его за локоть и взглядом показал в сторону миссис Рубрик. Мистер Рубрик слегка склонил голову в полупоклоне, давая жене понять, что он видит ее, после чего стал неловко пробираться бочком вперед. Как только он подошел к ступенькам, ведущим на авансцену, как она немедленно высунулась из-за кулис и в своей обычной бравурной манере воскликнула:

— Ты только взгляни, как я удобно устроилась! Ступай же сюда и садись рядом!

Артур Рубрик нехотя поднялся по ступенькам на сцену и прошел за кулисы.

— Что ты здесь делаешь, Флосс? — попенял он жене. — Твое место в зале, среди остальных зрителей.

— Что значит «в зале»? Я не хочу ни в какой зал!

— Да, но на тебя все смотрят!

— Ну и пусть себе! Это меня ни капельки не смущает! — проговорила она нарочито громко. — Дорогой, когда же, наконец, наступит наша очередь? Ты ведь дашь мне знать, не правда ли?

— Тише! Прошу тебя! — прошептал муж и с самым несчастным видом сунул ей в руки свой каталог. Некоторое время Флосси молча разглядывала его, слегка поигрывая лорнетом. Затем рука в белой перчатке небрежно открыла каталог на какой-то странице и стала неторопливо перелистывать его, скользя глазами по столбикам цифр. В этот момент в зале раздался дружный шелест переворачиваемой страницы.

— Новый лот! — понимающе воскликнула Флосси и тоже перевернула очередную страницу. — Неужели это, наконец, мы?

Ее муж пробормотал нечто нечленораздельное и весь подался вперед.

— Лот сто восемьдесят! — привычной скороговоркой объявил аукционист.

— Тринадцать!

— И пять десятых! — взвился со своего места старик Ормерод.

— И еще три десятых!

— Четырнадцать! — очкастый Курата Кан опередил на какую-то долю секунды замешкавшегося Ормерода и, прытко подпрыгнув со стула, выкрикнул финальную цену.

— Самая высокая цена! — экзальтированно воскликнула Флосси. — Дорогой, наша шерсть ушла по самой высокой цене! Представляешь? Ах, ты мой япошка! Ах, ты мой милашка! Умница!

По залу прокатился негромкий смешок. Аукционист тоже понимающе улыбнулся. Охранники весело прыснули и отскочили в сторону, прикрыв рот ладонями. Всегда краснощекий Артур Рубрик сделался еще пунцовее. Флосси хлопнула ручками в белых перчатках и тоже вскочила с кресла.

— Что за прелесть этот Курата-сан! Ты согласен со мной, дорогой?

— Флосси, ради всех святых, помолчи! — процедил сквозь зубы ее супруг.

Но миссис Рубрик, оставив замечание мужа без внимания, стала энергично жестикулировать в сторону мистера Курата Кан. Наконец ее старания были замечены. Японец слегка приподнял веки и, обнажив в улыбке длинные верхние клыки, вежливо поклонился Флоренс Рубрик.

— Ну, вот мы и поприветствовали друг друга! — сообщила она торжествующим тоном раздосадованному донельзя мужу. — И это просто замечательно! Ты не находишь?

Мистер Рубрик, цепко ухватив жену за локоть, вывел ее в небольшой дворик перед зданием аукциона.

— Дорогая, ты вела себя слишком вызывающе! Зачем, скажи на милость, надо было махать рукой этому япошке? В конце концов, мы с ним даже не знакомы.

— Пока не знакомы! — тут же уточнила Флосси. — Но скоро познакомимся. Ты ему позвонишь, дорогой, и пригласишь к нам в имение на уикенд.

— Флосси, ты с ума сошла! С какой стати мне его звать к себе в гости?

— Дорогой, надо сделать так, чтобы наши деловые контакты переросли в дружеские отношения, только и всего. Он производит впечатление разумного человека. И потом, не забывай! Мистер Курата Кан предложил самую высокую цену за наш товар! И я хочу с ним познакомиться! Разве это не достаточно уважительная причина, чтобы пригласить его в гости?

— Вечно улыбающаяся мартышка! У него крайне неприятная улыбка. И сам он неприятен мне, Флосси. По-моему, он готов удавить любого за один пенс. Все японцы таковы: коварны и непредсказуемы. Никогда не знаешь, что от них ждать уже в следующую минуту. Они — наши враги, изначально враждебная нам раса.

— Нельзя быть таким расистом, милый! — Флосси энергично тряхнула головкой, и золотистая прядь упала ей на лоб. — Не забывай, в какое время мы живем. На дворе уже 1939 год!

1942 год

В один из солнечных дней февраля 1942 года мистер Сэмми Джозеф, отвечающий за поставки шерсти для мануфактурной продукции фирмы «Райвен Бразерс», неспешно совершал традиционный обход складских помещений в сопровождении заведующего складами. Окна зданий в целях

военной маскировки на случай возможных бомбардировок были закрашены черной краской, и войдя в очередное помещение, завскладом тут же включил лампочку, привинченную к самому потолку. В тусклом свете четко обозначились контуры нескольких квадратных тюков с указанием адреса отправки: Гессен. Остальные тюки с шерстью терялись в полутьме. Лампа висела высоко, и к тому же, была покрыта пылью, отчего лица обоих мужчин приобрели неестественную бледность, как у покойников. Их голоса звучали приглушенно, словно доносились из-под земли, ибо шерсть моментально скрадывала любой звук.

— Интересно, мистер Джозеф, с каких это пор мы стали покупать некачественный товар? — не удержался от вопроса заведующий.

— Не понимаю вас! Мы никогда не опускались до того, чтобы покупать залежалую шерсть! — резко возразил ему мистер Джозеф. — Никогда! Что это вам вдруг взбрело в голову?

— Да так! В самом дальнем углу склада лежит один тюк: так от него такая вонища! Готов поспорить на что угодно, что шерсть уже давно сопрела и ее надо выбросить вон.

— Покажите-ка мне его немедленно!

— Сейчас!

Они прошли по длинному проходу между громоздящимися с двух сторон тюками, набитыми шерстью. Время от времени заведующий подходил к стене и включал новую лампочку, освещавшую дальнейший маршрут продвижения. Возле самой стены он, наконец, остановился и ткнул пальцем в тюк, лежавший несколько поодаль от остальных.

— Подойдите к нему поближе, мистер Джозеф, и вдохните полной грудью. Сами поймете, о чем я тут толкую.

Сэмми Джозеф склонился над тюком и стал изучать буквы и цифры на упаковке. Причудливая тень от его фигуры легла на трафаретные буквы, увенчанные знаком в форме полумесяца.

— Так это же шерсть из Маунт-Мун! Лунные горы! Вот и их фирменный знак.

— Да знаю я, что это оттуда. Но почему она так омерзительно воняет, а? — в голосе заведующего послышалась тревога.

— А ведь и правда, сильно воняет!

— Эта шерсть уже давным-давно сопрела! Сгнила прямо в тюке.

— Я еще ни разу в жизни не приобрел для фабрики плохую шерсть. Тем более из Маунт-Мун. И тем не менее, этот тюк действительно страшно воняет. Может, туда попала крыса? Задохнулась в шерсти и сгнила прямо внутри.

— Похоже на то, — согласился с начальством заведующий. — Я ее уже даже пытался нащупать.

— Раз так, крысу надо немедленно извлечь наружу. За дело! — скомандовал мистер Джозеф.

Заведующий достал из кармана складной нож, развернул его и стал тыкать острием через обивку тюка. Сэмми Джозеф молча наблюдал за его усилиями со стороны. Изредка над ними поскрипывали стропила, и то был единственный звук, нарушавший тишину складского помещения.

— Уф! Жарко здесь! — выдохнул Сэмми Джозеф. — На море штормит, и ветер северо-западный. Все предвещает жару.

— Да, хорошенького мало, — согласился с ним заведующий, продолжая методично наносить удары ножом по тюку с шерстью, пытаясь разрезать обшивку. Наконец послышался треск разрываемых по шву нитей, и в образовавшейся прорехе показались клоки белоснежной шерсти.

— Ничего не понимаю! — процедил сквозь зубы мистер Джозеф, доставая из кармана портсигар. — Если судить по внешнему виду, то… Закурим?

— С удовольствием, мистер Джозеф. По внешнему виду — да, все о'кей. Но ведь воняет же, с ног сшибает!

— Скорее всего, крыса попала в шерсть, когда они ее тюковали. Укатали беднягу прессом и зашили сверху материей. Надо попробовать какимнибудь багром пошурудить в самой сердцевине тюка. Та еще работенка! — Сэмми Джозеф окинул взглядом свой наутюженный костюм. — Но ты-то, приятель, как раз в спецодежде. Так что попытайся разок-другой. Вдруг и получится.

Завскладом с усилием вытянул клок шерсти.

— Черт! Так уж спрессовали, никак не оторвешь! Сей момент, мистер Джозеф!

Он метнулся куда-то в сторону и через минуту вернулся назад с длинным железным крюком, которым принялся тыкать в самую средину тюка, вытаскивая оттуда с каждой новой попыткой клоки шерсти.

— Ну и запашок! Дышать нечем! — буквально простонал мистер Джозеф.

— Сэр, сдается мне, что тут мы имеем дело не с дохлой крысой. Здесь, судя по всему, что-то другое! — мужчина удвоил свои усилия, пытаясь докопаться до самой сердцевины.

Мистер Джозеф поднял с пола золотистую прядь, молча поднес ее к глазам и снова швырнул на пол.

— Ну и смрад! — проговорил он брезгливо. — Воняет так, что дух захватывает. Ужас!

— Я уже почти нащупал, сэр!

— Чем? Багром или рукой?

— Сэр! Я не хочу смотреть, что там!

— Почему?

— Не хочу, и все тут! Вы забыли, что эта шерсть из Маунт-Мун?

— Ничего я не забыл! Но при чем здесь это?

— При том! Вы что, газет не читаете?

Сэмми Джозеф изменился в лице.

— Ты с ума сошел. Совсем спятил от этой духоты, что ли?

— Пусть я, по-вашему, спятил, но они не могут найти ее нигде вот уже целых три недели. К тому же я бывший солдат. Воевал в четырнадцатом, вы же знаете. А потому такой запашок мне хорошо знаком, еще как знаком! Его не спутаешь ни с каким другим.

— Перестань меня разыгрывать! Тоже мне театр устроил на пустом месте!

— Да если бы только театр! — обронил завскладом и принялся стряхивать с брезентовых рукавиц клоки приставшей к ним шерсти.

— А крюк ты так и оставил в тюке? Тащи его назад, Альф!

Мужчина посмотрел на Джозефа почти с ненавистью, но стал молча тянуть непослушно упирающийся крюк на себя.

— Ну же, Альф! Живее! Говорю тебе, это всего лишь крыса!

Противный, сладковато-удушливый запах поплыл по всему помещению. Наконец последний рывок, и крюк появляется снаружи. Заведующий приподнял его над полом и поднес почти к самому лицу мистера Джозефа.

— А теперь взгляните сами и убедитесь!

На самом кончике крюка болталась еще одна золотистая прядь волос. Человеческих волос.

Глава I

Маунт-Мун глазами Родерика Аллена

Май 1943 года

Служебная машина миновала блокпост на выезде из города и покатила по открытому шоссе. Дорога шла в гору, и полотно шоссе стремительно разворачивалось перед пассажирами, бесцельно глазеющими по сторонам. Мимо стремительно пронеслась придорожная таверна с железной крышей, потом небольшая ферма, следом загон, в котором стояли на привязи с десяток пони. Дальше потянулись стада овец в окружении сторожевых собак, которые, едва заслышав рев мотора приближающегося автомобиля, тут же замирали, навострив уши в нетерпеливом ожидании. А потом пошла голая равнина, изредка сменяющаяся холмистыми участками, кое-где поросшими хвоей, что свидетельствовало о том, что машина въезжает в полосу предгорья. Но вот они снова выскочили на ровный участок трассы, и впереди до самого горизонта снова распростерлась равнина. Пятьдесят миль пути. Наконец на горизонте замаячили горы. Правда, их вершины терялись в облаках, и от этого сама горная гряда казалась почти игрушечной. Но чем ближе они подъезжали к перевалу, тем величественнее становились горные вершины. Теперь дорога все время неуклонно шла вверх и вверх, неумолимо сокращая расстояние между землей и небом. Сам перевал пока еще не был виден, теряясь в густых облаках. Начал накрапывать дождь, противный мелкий дождь, который часто случается в горах.

— Кажется, въезжаем в зону плохой погоды, — констатировал пассажир на переднем сиденье.

— Вы хотите сказать, выезжаем из этой зоны! — не согласился с ним водитель.

— Правда? — удивился пассажир.

— А вы взгляните на небо, сэр!

Пассажир открыл окно и слегка высунул голову.

— По-моему, льет как из ведра! И мрак кругом. Но пахнет свежестью. Хорошо пахнет!

— Вы вперед смотрите!

Пассажир послушно уставился в ветровое стекло, по которому струйками сбегали потоки воды, но не увидел ничего такого, что подтверждало бы правоту водителя. Чернеющие вдали горы, сплошная пелена дождя, нависшие почти над самой головой тучи. Дорога петляла над ущельем, на дне которого струилась речушка. Она с шумом несла свои воды куда-то вниз, но на такой высоте звуков бурлящей воды не было слышно. Об этом можно было лишь догадываться по тому, как стремительно катила вперед речная волна.

Водитель увеличил скорость, и мотор взревел. И тут же по днищу машины забарабанили камешки, выскакивающие из-под колес.

— Да мы уже почти на самой вершине! — обрадовался пассажир. — Красотища-то какая! Просто дух захватывает.

А в следующее мгновенье горная гряда расступилась перед ними, и впереди забрезжила полоска ярко-голубого неба. Машина начала спуск с перевала, оставив за собой дождевую тучу, которая повисла сзади, словно театральный занавес.

Они проехали совсем немного, но пейзаж снова разительно переменился. Прямо перед ними простиралось огромное ровное плато, обрамленное со всех сторон горными отрогами, макушки которых были укрыты шапками вечного снега. Отсюда было хорошо видно, как стекающие с гор

потоки ледниковой воды сливаются в бурные реки, которые мчатся дальше и дальше вниз. Впереди показались три небольших озерца с непривычным для глаза молочно зеленым цветом воды. Вода переливалась и отсвечивала бронзой в необыкновенно ярких лучах солнца, позолотившего весь небосвод, отчего он стал похож на расшитую драгоценными камнями мантию паладина. Все горные склоны от самого подножья до снежных вершин были покрыты изумрудной травой, казавшейся издали густыми зарослями, но странное дело, лес нигде не просматривался. Правда, кое-где вдали виднелись отдельные деревья, стройные ели, сосны и даже небольшие рощицы пирамидальных тополей. Верный признак того, что рядом находится чья-то ферма или отдаленное скотоводческое ранчо. Воздух был таким благоуханным, что его хотелось не вдыхать, а пить, как амброзию, поданную к столу с высших небесных сводов.

Пассажир снова опустил боковое стекло: оно все еще было покрыто влагой, которая буквально на глазах, дымясь, превращалась в пар и тут же исчезала в потоках солнечного света. Он оглянулся. Темная туча сжалась в один большой ком, готовый вот-вот соскользнуть вниз и спрятаться за дальними отрогами.

— Невероятно! — восхитился он. — Мы словно попали в совсем другой мир.

Водитель жестом указал ему на бардачок, в котором хранил свой запас сигарет. От его кожаной куртки неприятно запахло рыбьим жиром. И пассажиру захотелось, чтобы его путешествие как можно скорее подошло к концу. Вот он, новый мир, перед ним! Но пока он только зритель, лицезрящий все эти красоты из окна чужого автомобиля. Он еще раз глянул на горы, двумя полукольцами обвившими плато слева и справа.

— Так где же само имение Маунт-Мун? — спросил он у водителя.

Водитель неопределенно махнул рукой влево.

— Там! Они подхватят вас на развилке.

Шоссейное полотно, казавшееся невзрачной серой лентой на фоне ярких красок горного пейзажа, стелилось все дальше и дальше, но в самом центре плато дорога разделилась на две полосы, каждая из которых снова устремилась вверх, в горы. Пассажир уже издалека увидел маленькую аккуратную машинку, поджидающую их у развилки.

— Это, должно быть, автомобиль мистера Лосси, — предположил шофер.

И пассажир немедленно вспомнил о письме, которое он везет в своем бумажнике. Отдельные фразы всплыли в его памяти.

«...Ситуация делается очень похожей на классические русские романы. Отличная декорация для современной детективной истории... Мы продолжаем что-то делать, но нервы у всех напряжены до предела. И кто его знает, когда мы сумеем прийти в себя. Ведь прошел уже почти год... Я бы ни за что не посмел надоедать Вам своими просьбами или, тем более, покушаться на Ваше личное время, но... все эти нелепые подозрения... Предположения, что мы имеем дело со шпионажем. Нет! Хватит с меня этой пытки. Пора, наконец, поставить в этом деле точку!» И размашистая небрежная подпись в конце: *«Фабиан Лосси»*.

Машина завершила спуск с перевала и помчалась, окутываемая клубами пыли, уже по равнинной местности. Какая благодать вокруг! На фоне тучи, темнеющей на самом горизонте, горные вершины прорисовывались особенно четко. Отсюда, снизу, они казались особенно величественными и недоступными. Но стоило туче стронуться с места, как за ней показалась следующая горная гряда, еще более величественная, увенчанная пиком, верхушка которого пряталась в облаках. Гора Аоранги. Пассажир снова прилип к стеклу, не в силах отвести глаз от столь великолепных картин,

сменяющих друг друга с калейдоскопической быстротой. Они уже почти затормозили у самой развилки, когда Аллен, наконец, обратил внимание на два дорожных указателя. «Главная дорога на Юг», — прочитал он на одном из них. «Дорога на Маунт-Мун», — было написано на другом.

Вокруг весело стрекотали кузнечики и благоухали луговые травы. Навстречу им вышел из своей машины высокий молодой человек, облаченный в коричневую куртку и серые брюки.

— Мистер Аллен? Меня зовут Фабиан Лосси.

Он взял из рук водителя мешок с почтой, а тот стал выгружать вещи своего пассажира. Последним был извлечен большой ящик с провизией для обитателей Маунт-Мун. После чего служебная машина резво развернулась и почти сразу же скрылась из виду в клубах придорожной пыли. Аллен пересел в машину Лосси, и они двинулись в сторону Маунт-Мун.

Некоторое время они ехали молча.

— Какое счастье, что вы, наконец, приехали, сэр! — проговорил Лосси. — Надеюсь, я не наплел ничего лишнего, пытаясь запугать вас своими туманными подозрениями о возможности шпионажа в этом деле. Они и в самом деле весьма и весьма расплывчаты, ибо к подобным выводам подталкивает лишь наличие некоторых совпадений. Стечение обстоятельств, так сказать. Впрочем, лично мне сама гипотеза со шпионажем кажется весьма сомнительной. Более того, я вообще в нее не верю. Но решил воспользоваться шпионажем как наживкой, чтобы заманить вас в наши края.

— А кто-нибудь верит?

— О! Дуглас Грейс, племянник моей покойной тетушки, страстный поклонник этой версии. Кстати, он горит желанием познакомиться с вами и лично изложить свою точку зрения в пользу того, что мы имеем дело именно со шпионами. Но я решил его опередить. В конце концов, это же я вам написал и настоял на том, чтобы вы приехали сюда, а вовсе не Дуглас.

Дорога, по которой они сейчас ехали, была неровной: обыкновенная проселочная дорога в одну колею с обочинами, обильно поросшими травой. Она неуклонно поднималась в гору, петляя между холмами и опоясывая со всех сторон восточную гряду гор. Оглянувшись назад, Аллен увидел далеко на самом горизонте маленькую точку, похожую на крохотный клубок пыли. Служебная машина стремительно уносилась от них.

— Собственно, я даже и не надеялся на то, что вы приедете, — прервал его созерцательное молчание Фабиан Лосси.

— Правда?

— Истинная правда. Я ведь вообще ничего бы и не знал о вашем существовании, если бы не Флосси. Это она рассказала мне о вас. Любопытная подробность, вам не кажется? Все же остальное — тихий ужас, если подумать как следует. Впрочем, Флосси и сама познакомилась с вами незадолго до того, как все случилось. Помнится, она вернулась домой после очередной парламентской сессии (кстати, вам известно, что она была членом парламента?) под очень сильным впечатлением от встречи с вами. Многозначительно намекала на то, что у вас какая-то сверхважная миссия в Новой Зеландии. Дескать, ничего суперсекретного, и все же лучше не распространяться на эту тему без особой надобности. Ибо если кто-то думает, что у нас здесь нет пятой колонны, то он, мягко говоря, многого не понимает. Сама она, судя по всему, активно готовилась к участию в каком-то закрытом заседании или совещании, но, насколько мне известно, оно так и не состоялось. Кстати, она приглашала вас в Маунт-Мун?

— Да. Миссис Рубрик была столь любезна, что пригласила меня погостить у себя в имении. К сожалению, на тот момент…

— Понимаю-понимаю. Более срочные и неотложные дела. Уголовный розыск, старший инспектор и все такое. Честно признаюсь, мы представляли вас несколько иначе: эдакий таинственный сыщик с накладной бородой, рыскающий в обличье обычного альпиниста вокруг наших гейзеров.

— Ну, рыскать вокруг гейзеров можно и без бороды, — усмехнулся Аллен.

— Значит, гейзеры вы все же не исключаете? Между прочим, Флосси любила повторять, что любопытство — это самое эффективное оружие пятой колонны. Кстати, она приходится мне тетушкой по мужу, — несколько невпопад пояснил Фабиан. — Это я к тому, если вам не известны наши родственные узы. Ее муж, милейший Артур Рубрик, был моим родным дядей. Вот он мне уже кровная родня, если так можно выразиться. Бедняга пережил жену всего лишь на три месяца. Странно, да? Несмотря на все проблемы с сердцем, у него был хронический эндокардит и еще целый букет других заболеваний. Так вот, несмотря на все это, он стойко сносил все чудачества Флосси, пока та была жива. Но стоило ей уйти из жизни, и его сердце моментально сдало. Можно сказать, что своей смертью она прикончила и собственного мужа. Звучит немного бессердечно, но это чистая правда.

— А я как раз размышлял о том, кого еще, помимо мужа миссис Рубрик, могла потрясти ее смерть, — едва слышно пробормотал Аллен, словно разговаривая сам с собой.

— Да пожалуй, никого! — Фабиан искоса взглянул на своего пассажира. — Только не думайте, что, пережив шок после смерти тетушки, я теперь нарочито бравирую своим бездушием, чтобы вы, не дай бог, не догадались, на каком пределе находится моя нервная система! — Он замолчал и некоторое время вел машину молча, пристально вглядываясь в дорогу, а потом вдруг зачастил нарочито грубоватым тоном: — Впрочем, когда находишь свою тетку, пусть даже и не вполне родную, расплющенную вдрызг и упакованную в тюк с шерстью, то приятного в этом, согласитесь, мало. Редко кто в подобной ситуации может похвастать своим хладнокровием. Вот вы, к примеру, смогли бы? Хотя, о чем это я? Ведь это же часть вашей профессии! — Он снова помолчал и закончил сбивчиво и с таким видом, будто озвучил вслух непристойность: — Мне ведь пришлось участвовать в ее опознании.

— Что ж, самое время рассказать мне обо всем, и пожалуйста, с самого начала. Например, с какой стати вы вдруг решили пригласить меня к себе на ранчо?

— Идея всецело принадлежит мне, мистер Аллен. А потому заранее приношу свои извинения за доставленное неудобство. Я высоко ценю вашу исключительную информированность обо всем, что делается у нас в стране и за ее пределами. Не скрою, вы для меня некто вроде оракула, которому всегда верят безоговорочно. Впрочем, с оракулами скорее советуются о будущем, чем пытаются вызнать у них что-то о прошлом. И все же, что вам известно на сегодняшний день о смерти тети Флосси?

Ох уж эта современная молодежь! Порой их бесцеремонность переходит все мыслимые и немыслимые границы. Ему ли об этом не знать! И все же речи Фабиана Лосси показались старшему инспектору настолько бессвязными, а его манеры — столь вызывающе дерзкими, что у него невольно зародились подозрения насчет нынешнего владельца Маунт-Мун. То, что племянник Флоренс Рубрик служил в армии, было ему известно. А вот каким ветром парня занесло в Новую Зеландию, это уже другой вопрос. И потом, в самом ли деле он пережил шок, узнав о смерти неродной тетки?

Видно, какие-то сомнения отразились на его лице, ибо Фабиан стал поспешно оправдываться.

— Не вижу особого смысла повторять одно и то же по сто раз. Что там может быть нового для вас?

— Когда я согласился приехать к вам, то, естественно, первым делом внимательно ознакомился со всеми материалами дела. А по пути сюда имел обстоятельный разговор с помощником инспектора Джексоном. Вы ведь в курсе, что именно он занимается расследованием убийства миссис Рубрик?

— Да все его расследование свелось, по сути, к бесчисленным выражениям соболезнования и прочим жалостливым речам! — в сердцах воскликнул Фабиан. — Вы же сами читали его отчеты! Могу лишь только посочувствовать в этой связи! В сравнении с его тарабарщиной даже мой рассказ покажется вам верхом логики и законченности.

— Тогда не станем тянуть! — оживленно отозвался Аллен. — Ну же, приступайте! Я весь внимание. Предположим на минуту, что мне не известно о трагедии ровным счетом ничего.

Фабиан раскурил сигарету, не сбавляя скорости движения, чиркнув спичкой по ветровому стеклу. А потом старательно погасил ее, прежде чем выбросить через боковое окно в густые заросли травы на обочине.

— Вечером, в последний четверг января 1942 года, — начал он рассказ тоном человека, уже, судя по всему, успевшего выучить свой монолог наизусть, — все мы, то есть, мой дядя Артур Рубрик, его жена Флоренс Рубрик, ее племянник Дуглас Грейс, ее личный секретарь Теренс Лин, ее воспитанница мисс Урсула Харм и я сидели на теннисной лужайке в имении Маунт-Мун. Вели разговор о подготовке к патриотическому митингу, который должен был состояться десятью днями позже в имении, непосредственно в одном из сараев, где мы храним шерсть. Флосси входила в подготовительный комитет по проведению данного мероприятия. К тому же, она возглавляла местный комитет по реабилитации демобилизованных солдат, которых комиссовали из армии по ранению. Она была полна решимости вернуть всех этих бедолаг к жизни: сделать из хороших солдат если не хороших, то хоть каких-то фермеров, и даже готовилась выступить на эту тему с прочувствованной речью-проповедью. Ну, а после митинга планировались танцы, чай, легкие выпивки, пиво и все такое. Предполагалось, что выступление Флосси не продлится более часа. Взобравшись на крышку тяжеленного пресса, которому отводилась роль импровизированной трибуны, она минут сорок пять должна была убеждать собравшихся в том, что совсем не так уж и страшно начать жизнь с нуля. Наша Флосси была красноречивым оратором и могла часами говорить на любые темы, что правда, то правда.

И вот, сидя в кресле на теннисной площадке, она делилась с нами теми мыслями, которые хотела бы донести до своих будущих слушателей. Возможно, вы получите некоторое представление об особенностях характера Флосси, если я скажу вам, что не успели мы сесть, как она незамедлительно объявила, что минут через десять пойдет в сарай и лично проверит на месте, какая там акустика и хорошо ли звучит ее голос без всяких технических приспособлений. Мы все к тому времени были уже почти без сил. Стояла страшная духота. К тому же, Флосси, втемяшившая себе в голову, что лучше всего ей думается тогда, когда она ходит, уже достаточно погоняла нас, бедняг, по своему розарию и оранжереям. Разомлевшие от жары, уставшие после нескольких сетов послеобеденного тенниса, мы брели за ней, еле-еле переставляя ноги. Свита безропотных сателлитов, боящихся возразить своему сюзерену хотя бы единым словом. Во время променада на Флосси была длинная прозрачная накидка с двумя бриллиантовыми

застежками. Когда нам, наконец, милостиво позволили сесть, Флосси, вспотевшая от ходьбы и непрерывного говорения, сбросила с себя накидку и швырнула ее на спинку стула. А когда минут через двадцать она снова захотела набросить ее на плечи, то оказалось, что одной бриллиантовой брошки нет. Пропажу обнаружил Дуглас, будь он неладен. Ибо именно он помогал тете Флосси надевать накидку. И именно он, олух царя небесного, немедленно выступил с предложением организовать поиски утерянной застежки. Мы разбились на группы и начали прочесывать каждый вверенный ему участок. Кто-то вернулся в розарий, кому-то поручили снова пробежаться по малиннику, кого-то отправили в теплицу к зреющим огурцам. Мне тоже достались грядки с овощами. Энтузиазм Дугласа передался и Флосси: она потребовала, чтобы мы осмотрели вверенные нам территории со всей тщательностью. А сама она в это время прорепетирует в сарае свое предстоящее выступление, а потому просьба — ее там не беспокоить. Последнее заявление показалось всем нам верхом бесцеремонности, но возразить никто не посмел. Словом, наделив каждого из нас фронтом работ, сама она направилась вниз, к сараям, по тропинке, обсаженной с обеих сторон кустами лаванды. И, собственно, насколько я могу о том судить, это был последний раз, когда мы видели ее живой.

Фабиан замолчал, потом бросил на Аллена короткий взгляд исподлобья и сделал глубокую затяжку.

— Нет! Пожалуй, я выразился не совсем точно! — поправил он себя. — В последний раз живой тетю видел тот, кто ее убил. Классический случай! Тело бедной Флосси обнаружили спустя три недели на складе фирмы «Райвен Бразерс». Оно было расплющено и упаковано в таком виде в тюк с шерстью. Ужасная картина! Да! Я еще не сказал вам, чем мы все занимались после того, как она ушла. Впрочем, вы и сами это отлично знаете.

— Вы строго следовали ее инструкциям и вели интенсивные поиски потерявшейся бриллиантовой застежки? — насмешливо поинтересовался у него Аллен.

— Более или менее так! — после короткой паузы ответил ему Лосси. — Признаюсь как на духу, лично у меня энтузиазм стремительно таял с каждой новой минутой поиска. Тем не менее, все мы честно отработали минут сорок, увы, безрезультатно. Уже стало смеркаться. И тут, к нашему всеобщему ликованию, проклятую застежку отыскал дядя Артур. Оказывается, она упала на клумбу с цинниями и лежала себе там преспокойно все то время, пока мы рыскали в разных концах двора. Самое интересное, что он раз десять обыскивал клумбу до того, как застежка, наконец, попалась ему на глаза. Ну, что еще добавить? После таких интенсивных поисков мы были уже никакие. Дотащились кое-как до дома и разбрелись кто куда. Мужчины направились в столовую пропустить по стаканчику виски с содовой. К сожалению, я лично в этом деле не участвовал: мне алкоголь категорически противопоказан. Урсула Харм, снедаемая желанием порадовать любимую тетю Флосси и вернуть ей утерянную драгоценность, даже сбегала в сарай, но там было уже темно и ни души. Тогда она вернулась домой и поднялась наверх, в спальню тети. Однако там ее встретило грозное объявление, болтавшееся на дверях запертой комнаты: «Просьба не стучать в дверь, чтобы не услышать в ответ злобное рычание». Такое предупреждение совсем не удивило Урсулу. Тетя была у нас мастером на подобные записочки, которые вывешивались на дверях ее спальни всякий раз, когда она не хотела, чтобы ее беспокоили. Раздосадованная Урсула вернулась к нам ни с чем. Правда, прежде чем уйти, она нацарапала коротенькую записочку, сообщив приятную новость миссис Рубрик, и подсунула листок под дверь. Мы всецело одобрили ее действия и с легкой душой и чистым сердцем

разбрелись по своим спальням в полной уверенности, что тетя Флосси уже давно спит сном младенца. Мне продолжать, сэр?

— Да. Прошу вас!

— На рассвете следующего дня Флосси должна была уехать в город. Предполагалось, что туда ее доставит машина, которая привозит нам почту. А в городе она уже пересядет в поезд, который благополучно доставит ее до столицы. Она направлялась туда для участия в очередном заседании парламента. Дорога трудная: машина, потом поезд, а еще паромная переправа. Неудивительно, что после такого насыщенного путешествия тетя всегда прибывала в столицу немного на взводе, то есть в полной боевой готовности к новым политическим баталиям. Как правило, накануне она всегда старалась улечься пораньше, чтобы хорошенько выспаться, и горе тому, кто рискнул бы потревожить ее сон.

Фабиан снова замолчал, всецело сосредоточившись на вождении. Неожиданно машина выскочила к реке с усыпанным галькой руслом и, не сбавляя скорости, на полном ходу взяла водное препятствие, оставив позади себя фонтаны брызг. Предгорье снова придвинулось к ним почти вплотную: горы уже в буквальном смысле слова нависли над дорогой со всех сторон. Между разбросанными там и сям валунами и огромными кустами луговика, который, подсвеченный солнцем, издали напоминал гигантские факелы, зажженные неизвестно чьей рукой, показалась полоска голой земли. Темно-бурые пятна смотрелись особенно неприглядно на фоне залитого вечерним солнцем пейзажа. Но вот за пологим склоном стремительно приближающейся к ним горы замаячили верхушки пирамидальных тополей, а еще дальше, за ними, клубились волны сизовато-голубого дыма. Значит, конечная цель их путешествия уже близка.

— На следующее утро, — возобновил свой рассказ Фабиан Лосси, — никто из домашних не озаботился тем, чтобы лично проводить тетю Флосси в такую несусветную рань до машины. Почтовая машина приезжает на перевал в половине шестого. Функцию по дальнейшей доставке почты взял на себя один фермер, который живет в милях восьми от нас. Он и машину сам водит. Обычно он приезжает на развилку три раза в неделю и поджидает там почтовую машину из города, потом забирает у них свежую почту и отдает им местную корреспонденцию. Ну, да вы сами только что видели, как все это происходит. От имения до дороги тетю всегда в таких случаях подвозил наш управляющий Томми Джонс. Она обычно звонила ему, когда уже была готова тронуться в путь. Но в то утро звонка не последовало, и Томми решил, как он потом сам рассказывал, что до развилки ее подбросил кто-то из нас. Он так и сказал! — подчеркнул еще раз Фабиан эту последнюю деталь. — А потому не проявил никакого беспокойства. Мы же, в свою очередь, пребывали в полной уверенности, что тетю транспортировал Томми. Вообще, скажу я вам, когда начинаешь распутывать весь клубок, то понимаешь, как тщательно было все спланировано в этом деле. Воистину, комар носа не подточит! Словом, на следующее утро отсутствие Флосси за завтраком не вызвало ни у кого из нас ни малейших подозрений. Мы все были уверены, что она уже в пути и вот-вот с головой окунется в парламентскую работу и станет по своему обыкновению допекать спикера бесконечными замечаниями, поправками и просто колкими репликами. Тем более что накануне отъезда она объявила мужу, будто у нее есть что сказать столичным головотяпам, когда дело дойдет до открытых дебатов. Дядя Артур заранее настроил радио на прямую трансляцию из палаты представителей и по окончании передачи был страшно разочарован тем, что его брызжущая энергией супруга на сей раз полностью проигнорировала развернувшуюся полемику в палате общин. Обошлось даже без традиционных выкриков с места типа «На себя лучше взгляните», «Кто бы

говорил, а вам лучше помолчать», «Сядьте, если у вас в голове нет никаких путных мыслей», которыми обычно полнится выяснение отношений между членами правящей партии и представителями оппозиции. Но мы решили, что Флосси просто бережет силы перед решающим днем дебатов, и снова не обеспокоились из-за ее отсутствия. В день ее предполагаемого отъезда в город на ранчо приехал грузовик из города, чтобы забрать готовую к отправке шерсть. Я сам наблюдал за тем, как идет погрузка.

Автомобиль выехал уже на пересохшее русло реки, и брызги воды сменились мелкой галькой, которая выскакивала из-под колес, подпрыгивала в воздухе и яростно обрушивалась на ветровое стекло. Фабиан бросил сигарету себе под ноги и погасил ее каблуком. Аллен увидел, как от напряжения у него побелели костяшки пальцев, которыми он вцепился в руль. После некоторой паузы молодой человек снова возобновил свой рассказ: он говорил неторопливо и почти бесстрастно.

— Помню, когда закончили погрузку и машина выехала со двора, я долго смотрел ей вслед. У нас ведь отличная видимость, на многие мили вокруг. Грузовик вырулил на проселочную дорогу и тоже, как и мы сейчас, с ходу взял водное препятствие, хотя воды в реке тогда было значительно больше. Когда машина въехала в воду, то вокруг образовались самые настоящие фонтаны из водных брызг. Они так красиво искрились и переливались на солнце! Взгляните туда! Это тот самый сарай, в котором мы храним шерсть. Длинное такое здание с железной крышей. А дома отсюда не видно, его скрывают деревья. Ну что, разглядели?

— Да. Сколько это миль отсюда?

— Думаю, мили четыре. А вы подумали, ближе? Типичная иллюзия, что все рядом. Это характерно для горных мест с их разреженной атмосферой. Давайте сделаем небольшой перекур, если не возражаете! К тому же, я хочу закончить свой рассказ до того, как мы приедем в имение.

— Не возражаю!

Лосси заглушил двигатель, и в открытые окна автомобиля немедленно пахнуло ароматами лугового разнотравья, застрекотали кузнечики, послышалось блеяние овец с дальних пастбищ, воздух наполнился звуками окружающей мирной жизни, похожей со стороны на самую настоящую деревенскую идиллию.

— Собственно, мой рассказ уже подходит к концу. Первый тревожный сигнал прозвучал в Маунт-Мун лишь на пятый день после того злополучного вечера, когда Флосси бросила нас на лужайке, а сама отправилась в сарай репетировать речь и исчезла у всех на глазах среди зарослей лаванды. Дяде Артуру доставили из города телеграмму от одного из ее коллег по депутатской фракции. Тот с тревогой интересовался у Флосси, почему она не явилась в Веллингтон на парламентские дебаты. В первую минуту мы все страшно растерялись. Куда же подевалась наша неугомонная воительница, недоумевали все домашние. Мы даже решили, что по каким-то только ей ведомым причинам она передумала ехать в столицу и задержалась на пару дней на острове Южный, исключительно по личным делам. Мистер Рубрик немедленно принялся обзванивать ее городских друзей, позвонил в клуб, потом связался с ее адвокатом. У нее и в самом деле была договоренность о встрече с юристами, но в назначенное время в нотариальной конторе миссис Рубрик не появилась. Адвокат решил, что речь, как всегда, идет о внесении новых поправок в завещание. Тетя Флоренс была неистощима на такие поправки и без конца вносила все новые и новые пункты касательно того, как именно ее дражайший племянник Дуглас Грейс должен будет распорядиться после ее кончины завещанным ему столовым серебром и личными драгоценностями. Но вскоре неприятные открытия пошли уже сплошным потоком. Так, Терри Лин обнаружила в спальне упа-

кованный чемодан тети Флосси: его кто-то предусмотрительно упрятал за комод. Кошелек с деньгами и билетом на поезд нашли лежащим в верхнем ящике ее туалетного столика. Попутно выяснилось, что Томми не подвозил хозяйку к почтовой машине. Начались поиски пропавшей. Вначале они велись беспорядочно и хаотично, а потом на помощь местной полиции прибыли спецы из центра, и вся операция приобрела более организованный и системный характер.

Горная речушка Мун протекает почти рядом с нашим имением. Ее русло проходит по дну глубокого ущелья. Места красивые, но опасные. Тетя Флосси любила прогуливаться там вечерами в полном одиночестве. Говорила, что ей, видите ли, хорошо думается на краю обрыва. Господи, прости мой невольный сарказм! Когда вызвали полицию, то они немедленно ухватились за эту версию предполагаемого несчастного случая и стали прочесывать все прибрежные скалы в надежде отыскать тело несчастной жертвы, сорвавшейся с обрыва вниз. Потом полицейские принялись методично исследовать русло реки вниз по течению, справедливо полагая, что если Флосси упала в воду, то течением ее тело за эти дни должно было отнести миль на десять вниз. Но все поиски оказались безрезультатными. Полиция пребывала в полной растерянности до тех пор, пока заведующий складскими помещениями фирмы «Райвен Бразерс» не обнаружил тело Флоренс Рубрик. За это время все улики, если они и имелись, были полностью уничтожены. Шерсть из нашего сарая давным-давно вывезли, стригальщики, которых мы обычно нанимаем только на сезон стрижки овец, тоже уже разъехались по домам. К тому же, прошли сильные дожди, которые смыли все следы, которые, быть может, еще оставались. Подробности того рокового вечера тоже уже изрядно подзабылись: никто даже не мог толком вспомнить, чем конкретно он или она занимались в ту или иную минуту. Ваши коллеги, криминальная полиция, ну что ж! Они были похожи на ищеек, которые никак не могут взять верный след. Бегают вокруг, словно стая гончих, а все впустую. Правда, они регулярно наведывались к нам и по сто раз задавали одни и те же вопросы. Но этим их розыскные мероприятия, пожалуй, и ограничивались. Вот и все, что я имею сообщить вам, мистер Аллен.

— Благодарю вас! Очень подробный отчет! — похвалил рассказчика Аллен. — Увы, вынужден вас разочаровать. Мне тоже придется уподобиться на какое-то время тем самым служакам, о которых вы только что отозвались в столь нелицеприятном тоне. Короче, у меня к вам тьма вопросов.

— Да ради бога! Извольте! Весь к вашим услугам!

— Прекрасно! Итак, мой первый вопрос. Скажите мне, мистер Лосси, что изменилось в вашем доме после смерти миссис Рубрик?

— Ну, во-первых, спустя три месяца после исчезновения тети Флосси умер дядя Артур. Мистер Рубрик скончался от острого сердечного приступа. В доме появился новый человек: мы наняли экономку. Это миссис Эйсворт, уже немолодая женщина, дальняя родственница мистера Рубрика. Она, правда, уже успела перессориться со всеми, с кем только смогла. Но служит нам верой и правдой и стоит насмерть, защищая собственность Рубриков, завещанную Дугласу и мне. Во всем же остальном — никаких перемен.

— Следовательно, в доме по-прежнему обитают племянник миссис Рубрик капитан Грейс, — Аллен загнул первый палец, — ее воспитанница мисс Урсула Харм, ее личный секретарь мисс Теренс Лин и вы. А что скажете о слугах?

— В доме их двое. Кухарка миссис Дак, которая, если мне не изменяет память, служит у Рубриков уже лет пятнадцать, и один лакей по имени Маркинс. О, его наша Флосси раздобыла при весьма забавных обстоятельствах, но об этом как-нибудь в другой раз. Впрочем, сыскать в Новой Зеландии приличного лакея — задача практически неразрешимая.

— А приходящая прислуга? Помнится, в деле фигурирует целый перечень имен. Управляющий мистер Томас Джонс, его супруга и их сын по имени Клиф. Еще какой-то пожилой человек с репутацией вечного скандалиста и, как бы это помягче выразиться, пропойцы. Кажется, его зовут Альберт Блек. Потом три стригальщика, из местных, и еще пятеро, приехавших на заработки издалека, один сортировщик шерсти, трое мальчишек-посыльных, два садовника, скотник, повар, который обслуживает пастухов на пастбище. Всех перечислил?

— Да, всех. Даже про скотника не забыли. К вашему списку мне добавить нечего.

— В ночь, когда пропала миссис Рубрик, весь этот люд, согласно протоколам, в имении отсутствовал. Поехали на вечеринку на соседнее ранчо, в пятнадцати милях от Маунт-Мун. Так?

— Да. Поехали в Лейк-Сайд. Это на другом конце плато, если добираться туда по главной трассе, — Фабиан кивком головы показал, в какую именно сторону следует ехать, словно хотел еще раз продемонстрировать всю необъятность окружающих их просторов. — Дядя Артур даже разрешил взять для поездки грузовик с пастбища. Тогда у нас с бензином было получше, чем сейчас. Вот они и загрузились в машину все как один: и стригальщики, и мальчишки, и сортировщик, и наши садовники, и скотник, и пастухи, и повар.

Следовательно, в усадьбе на тот момент оставались семейство Джонсов, миссис Дак, местный дебошир Альберт Блек и Маркинс.

— Совершенно точно.

Аллен обхватил худыми руками колени и некоторое время сидел молча, словно что-то обдумывал. Потом он повернулся к своему собеседнику.

— Скажите мне честно, мистер Лосси, — начал он с почти детским простодушием, — какого черта вы меня заманивали к себе, а?

Фабиан слегка ударил открытой ладонью по баранке.

— Да я же вам все объяснил в письме! У нас тут не жизнь, а сплошной кошмар. Оглянитесь по сторонам и сами все поймете! Ближайшие соседи в десяти милях от трассы. Каково это жить одним, словно в пустыне? В январе, когда начался сезон стрижки овец, в имение съехались те же самые поденщики. И все было точно так же, как тогда. Та же бесконечная круговерть на ферме, долгие вечера на лужайке, море лоснящейся, пахнущей медом шерсти вокруг и тот же запах лаванды, который буквально преследует меня повсюду. Все, как тогда, и все разговоры вертятся только вокруг того, что случилось в тот вечер. У стригальщиков так и тем для разговоров других нет. Правда, стоит кому-нибудь из нас заглянуть в загон, тотчас же умолкают. Но как только они собираются на перекур, то слово «убийство» моментально повисает в воздухе вместе с клубами табачного дыма. Даже удивительно, до чего разрушительным может быть воздействие на окружающих самого обычного слова. Потом нашлись умельцы, которые решили проверить на практике, как это можно задавить человека с помощью пресса. На днях я лично гонял мальчишек из сарая, которые уже почти подготовили агрегат к испытанию. И даже нашелся один смельчак, который, обмотав себя клоками шерсти, вызвался испытать на себе действие пресса. Чертовы экспериментаторы! Разумеется, я им такую трепку задал, что надолго запомнят, негодники! — Фабиан поднял голову и повернулся к Аллену. — Знаете, что самое страшное? Мы, все четверо, никогда не говорим об этом! Вот уже скоро полгода, как мы молчим, словно воды в рот набрали. И это очень нервирует. Сказывается, кстати, на моей работе. Впрочем, если честно, то я уже давно забросил ее.

— Свою работу? Вот мы, наконец, дошли и до нее.

— Думаю, полиция уже проинформировала вас на мой счет.

— Я навел о вас справки у армейских чинов. Получается, что мы, в общем-то, занимаемся одним и тем же делом.

— Получается, что так.

— Думаю, вы понимаете, что основная цель моей командировки в Новую Зеландию — это определить и выявить возможные каналы утечки секретной информации к противнику. В мирное время я работал в отделе уголовного розыска, но то было до войны. Моя нынешняя работа имеет мало общего с обычным уголовным сыском. Скажу честно, если бы у меня не было ощущения, что исчезновение миссис Рубрик каким-то образом связано со всем тем, чем я сегодня занимаюсь, я бы ни за что не поехал к вам. Именно эти неясные подозрения плюс приглашение коллег, и вот я здесь.

— А что скажете о моей работе?

— Меня ознакомили с ней, правда, не вдаваясь в излишние подробности. И саму схему вашего изобретения продемонстрировали, опять же, на изрядном расстоянии от меня. Видите ли, я плохо разбираюсь в артиллерии, а потому могу оценить важность ваших исследований лишь в самых общих чертах. Одно знаю точно: подобная работа требует сверхсекретности. Думаю, именно поэтому и возникли все эти подозрения в шпионаже.

— Скорее всего, вы правы! Хотя мне трудно представить себе шпионов в нашей глухомани. Абсурд! Какие тут могут быть шпионы? К тому же, мы всегда работаем в запертой комнате, а когда уходим, то закрываем помещение на замок, предварительно упрятав все документы в сейф. Там же храним и опытную модель самого приводного механизма.

— А кто это «мы»?

— Я и Дуглас Грейс. Он как раз занимается практической частью проекта. А за мной — все теоретические расчеты. Война застала меня в Англии, если вы не знаете. Вся эта бесславная Норвежская кампания, к счастью, уже полностью забытая на сегодняшний день. Но мне она стоила тяжелой формы ревматизма в результате сильнейшего переохлаждения в холодном море. Оклемался я только спустя несколько месяцев после болезни, и как раз вовремя, чтобы попасть в следующую мясорубку под Дюнкерком. Там я получил хорошенький удар по голове, в прямом смысле этого слова, — Фабиан замолчал, словно собираясь с мыслями. — Впрочем, что об этом сегодня говорить? Кое-как я подлечился и даже принял участие в одной специализированной выставке военной техники в Англии. Именно там у меня и возникла идея моего детища. А потом меня снова ранили, и на сей раз меня комиссовали окончательно, списали из армии подчистую. Я был слишком слаб, чтобы протестовать. А тут как раз Флосси подвернулась: она приехала в Англию к своим родственникам, увидела меня и немедленно загорелась желанием помочь дорогому английскому племянничку снова обрести желание жить и творить. И буквально силком увезла в Новую Зеландию: дескать, я быстро пойду на поправку у них на природе. К тому же, как она сказала, у нее лично есть опыт по уходу за больными. Ведь у бедняги Артура постоянно были проблемы с сердцем. Вот так я оказался в Маунт-Мун и почти сразу же стал заниматься своим изобретением.

— А ее племянник? То есть я, хочу спросить, с какой стати вы подключили к своей работе капитана Грейса?

— Вообще-то, он технарь по образованию. До войны Дуглас учился в Гейдельбергском университете, на инженерном факультете, но в 1939 году, по совету своих немецких друзей, покинул Германию и вернулся в Англию. Так! Сразу же хочу расставить все точки над «i», воспользовавшись представившейся возможностью заверить вас со всем пылом и жаром, на которые я способен, что капитан Грейс не является платным агентом Гит-

лера или его ближайших приспешников. Ибо именно такую точку зрения на племянника миссис Рубрик лелеет в глубине души достопочтенный помощник инспектора мистер Джексон. По возвращении на родину капитан Грейс был почти сразу же мобилизован и в составе своего авиаполка переброшен в Новую Зеландию. Ему тоже крепко досталось от фашистских асов: его самолет был сбит над Грецией, а его самого тяжело ранило. Флосси буквально выхватила любимого племянника из этого пекла и сразу же после его демобилизации переправила в райский уголок под названием Маунт-Мун. Когда-то в юности, еще курсантом военного училища, Дуглас проводил в имении все свои летние каникулы, работая на равных с остальными овчарами. К тому же, у него золотые руки, и он может смастерить что угодно. Кстати, в доме имеется отличный прецизионный токарный станок и полно других инструментов. А потому очень скоро я привлек его к своей работе. Можно сказать, силком втянул его во все это. Между прочим, именно Дуглас первым заговорил о том, что смерть тети Флосси каким-то непонятным образом связана с нашей работой. Дескать, стрелялка явно не дает кому-то покоя.

— С чего он так решил?

Фабиан ничего не ответил.

— Вот если бы он располагал какими-то конкретными фактами, — начал Аллен, но Лосси почти грубо перебил его.

— Минуточку внимания, сэр. Я ведь смотрю на ваш приезд сюда вполне определенно. Вполне возможно, это придется вам не по душе. Вы можете отнестись к моей версии как к абсолютной чуши, но, тем не менее, она имеет право на жизнь. Понятное дело, официальной информации у вас выше крыши, и вам не нужны наши дилетантские домыслы. Вы проштудировали все протоколы допросов, просмотрели все бумаги, относящиеся к делу, и прекрасно отдаете себе отчет в том, что любой из нас мог убить тетю Флосси. Невелика проблема: незаметно отлучиться из сада и сбегать на пару минут в этот проклятый сарай. Да, Флосси довольно часто донимала всех нас, а меня так откровенно раздражала. Но одного раздражения, каким бы сильным оно ни было, едва ли достаточно для убийства. Других же мотивов ни у кого из нас попросту не было! Все вместе мы являли собой вполне счастливое семейство и чувствовали себя более чем комфортно в обществе друг друга. — Фабиан перевел дыхание и неожиданно добавил: — По крайней мере, большинство из нас. Мне кажется, в убийстве Флосси есть нечто такое, что касается только ее и ее прошлой жизни, то, чего никто из нас не знал. Вот в чем вопрос! Точнее, знал кто-то один, тот, кто ее и убил. И это «нечто» представляется мне чем-то ужасным, чем-то из ряда вон, чем-то таким, что не укладывается в общепринятые рамки и никак не совместимо с образом той Флосси Рубрик, которую все мы знали. И которую, как оказалось, нужно было убить именно за это «нечто». Разумеется, каждый из нас по-своему представлял себе Флосси. Можно сказать, у нас был целый букет из самых разных Флосси Рубрик. Но если сложить все наши представления воедино, то, уверяю вас, любой профессиональный эксперт с легкостью вычленит из этого вороха наблюдений и зарисовок все то главное, что и составляло суть ее натуры. Вам понятен ход моих мыслей? Или, по-вашему, я снова несу чушь?

— Бедняжку, скорее всего, убили за то, — начал Аллен, тщательно подбирая слова, — что она сунула нос в чужие дела. То есть, совершила грубейшую ошибку, стоившую ей жизни. Но к характеру покойной миссис Рубрик это вряд ли имеет какое-то отношение.

— Согласен! Но не забывайте и о психологии убийцы. В его памяти жертва навсегда сохранилась под каким-нибудь кодовым названием типа «назойливая муха» или «незваный гость». А потому, если заставить его

говорить об убитой, если вы сумеете «разговорить» его или ее, то тогда, возможно, вам откроется какая-то очень важная грань в характере Флосси Рубрик. То, что навечно запечатлелось в памяти убийцы и что, собственно, и стало мотивом для убийства. Мне кажется, от внимательного глаза эксперта подобные мелочи не должны ускользнуть.

— Не стоит преувеличивать мои возможности. Я всего лишь обычный полицейский, которого на короткое время откомандировали в чужую страну.

— Что не помешало вам самым внимательным образом выслушать весь мой бред, и вы даже не стали над ним смеяться. А это совсем не так уж и мало! — с явным облегчением в голосе признался Фабиан, и в эту минуту он показался Аллену скорее наивным юношей, чем многоопытным спецом, колдующим над каким-то секретным изобретением.

— Верно, я не смеялся! Но утверждать, что мне полностью понятен ход ваших мыслей, было бы сильным преувеличением.

— Да все предельно просто! Официальные власти продемонстрировали свою полнейшую беспомощность в расследовании убийства Флоренс Рубрик. Прошел уже год, и ныне полиция располагает лишь весьма хаотичным набором незначительных деталей и мелких фактов. Цена им всем — ноль, в чем вы и сами могли убедиться, когда погрузились в изучение всех этих «строго секретных» бумаг. Ибо ни один из документов, хранящихся в деле, не проливает свет на покойную миссис Рубрик как на личность, заслуживающую того (или достойную того), чтобы ее убили.

— Собственно, вы только что, правда, другими словами, повторили то, что я говорил чуть ранее: внятный мотив совершения преступления в этом деле отсутствует.

— Да, так! А потому, что мешает лично вам заняться проверкой уже исключительно моих домыслов? Коль скоро все фактические данные, собранные воедино, не выводят профессиональных сыщиков на определенный мотив убийства, то, быть может, коллективный портрет Флосси Рубрик, воссозданный ее домочадцами, и даст вам ту ниточку, потянув за которую, вы размотаете весь клубок.

— Вопрос в том, сумеем ли мы своевременно заметить эту самую ниточку.

— Обязательно сумеем! — убежденно произнес Лосси, и Аллен подумал, что в этот момент молодой человек не кривит душой. Но почти одновременно появились и новые сомнения. А не переигрывает ли молодой хозяин Маунт-Мун со своей чрезмерной озабоченностью по делу об убийстве, мелькнуло у него. И так ли уж велик тот нервный стресс, в котором он, по его словам, пребывает все последние месяцы?

— Если мы соберемся все вместе, — продолжал между тем витийствовать Фабиан, — если сумеем заставить каждого из нас говорить, а вы, как профессионал экстра-класса, наверняка сумеете это сделать, то обязательно получите взамен ценную информацию. К тому же, вы человек новый, и глаз у вас еще пока «не замылился» на все наши события. А свежесть впечатлений тоже много значит в таком расследовании. А потому я просто уверен, подобные собеседования в узком кругу помогут вам понять многое, причем сгодится любая мелочь: интонация человека, уклончивость оценок, нежелание обсуждать какие-то конкретные темы, и прочее, и прочее. Ибо даже пустяк может стать ключом к разгадке той трагедии, которая разыгралась у нас год назад. Разве я не прав?

— Увы! Снова вынужден вас разочаровать. Все эти «мелочи», как вы изволили выразиться, — старший инспектор постарался придать своему голосу как можно больше официальности, — не имеют непосредственного отношения к расследуемому убийству. Вот в чем беда! Любой профессио-

онал моего уровня скажет вам то же самое. Наши догадки, даже самые гениальные, не могут рассматриваться в качестве полноценных улик.

— Конечно, не могут! Но зато они могут вывести нас на эти самые улики, дополнить их и даже каким-то образом воссоздать всю картину преступления.

— Возможно, возможно! — пробормотал Аллен, впрочем, без особого энтузиазма.

— Я добиваюсь одного! — воскликнул Фабиан с горячностью. — Чтобы у вас сложилось целостное представление о личности убитой. Я не хочу, чтобы решающим аргументом стал именно мой рассказ о тете Флосси. Кстати, лично я считал ее самоуверенной особой, могущей кого угодно довести до белого каления. Но вот, к примеру, для Урсулы она — самая замечательная женщина на свете, а Дуглас находит свою покойную тетку весьма предприимчивым человеком, умевшим извлекать неплохую прибыль из всего, чем она занималась. Для Теренс она прежде всего строгий, но справедливый начальник. Вот такой разброс мнений уже в самом начале. И заметьте, я ни на что не намекаю. Просто предлагаю внимательно выслушать каждого из нас и сделать собственные выводы.

— Да, но вы же сами сказали мне, что вот уже полгода боитесь даже произносить ее имя вслух. Так неужели же я сумею за пару вечеров разрушить злые чары, витающие над вашим домом?

— О! Вот это как раз и есть часть вашей профессии! Станьте на какое-то время штопором и откупорьте, наконец, залежалую бутылку!

— Да поможет мне бог! — рассмеялся Аллен. — Право же, в роли штопора мне выступать еще не приходилось. Рискнем!

— Вот и отлично! — торжествующим голосом воскликнул Фабиан. — А я, со своей стороны, обещаю, что помогу вам всем, чем смогу. Вот увидите, на практике все окажется не столь уж и трудным. Как говорят, лиха беда начало. Возьмите, к примеру, меня. Боже! Каких титанических усилий стоило мне сесть и написать вам письмо. Не успел отправить, как тут же стал жалеть, что сделал это. Но результат есть: вы здесь, и это главное. А думаете, мне просто было начать разговор с вами? Но я переселил себя, и результат снова есть: вы уже почти согласны со мной.

— А вашим домашним известно о моем приезде?

— Еще как известно! Я с придыханием в голосе сообщил им, какой вы выдающийся специалист и какое высокое положение занимаете у себя на родине. И о том, какая это честь для нашей страны, что такой высокопоставленный чиновник прибыл в Новую Зеландию для оказания помощи здешним властям. Так что они в курсе того, что вы — лицо официальное, что у вас — прямые контакты и с полицией, и с нашими секретными службами. Если честно, то все это не очень их впечатлило. Знаете, мы все здесь немного заторможенные. Поначалу мне казалось, что мы снедаемы самым обычным страхом, то есть боимся, что любой из нас может попасть под подозрение. Хотя наша четверка едва ли подозревает друг друга. Вот здесь я могу утверждать с полной уверенностью: никто не верит, что это мог сделать кто-то из нас. Правда, со временем страхи притупились, и ныне вся эта возня вокруг убийства годичной давности вызывает скорее раздражение и скуку, чем страх. Но раздражение на грани нервного срыва, и скуку, готовую в любой момент перерасти в истерику. Быть может, именно поэтому мы и перестали говорить на тему убийства, а потом и вовсе упоминать имя Флосси в наших беседах. Хотя, конечно же, все мы постоянно думаем о ней. Порой мне даже кажется, что мы играем в такую страшную игру: кто не выдержит и первым скажет «тетя Флосси». Забавно было видеть, с каким облегчением они вздохнули, узнав, что я написал вам письмо с приглашением приехать в Маунт-Мун. Разумеется, на словах я обставил свой

шаг несколько иначе: дескать, работа над изобретением и все такое. То, что Дуглас называет «Проектом Х».

— А, так они и о вашей работе осведомлены?

— Весьма смутно. Девушки знают, что я колдую над какой-то там штуковиной чисто технического порядка, и все. По-другому никак было нельзя!

Аллен еще раз окинул взглядом окрестности. Красивый, но суровый пейзаж, не терпящий никаких сантиментов.

— Что ж, пусть будет по-вашему. Запускаем барабан удачи! Но прежде чем сделать это, я еще раз хочу спросить вас. Вы хорошо подумали? Вы отдаете себе отчет в том, что в один прекрасный момент, может статься, вы пожалеете о том, что начали, захотите остановить этот барабан и не сможете?

— А по-моему, я придумал отличное средство, как покончить с нашей тошнотворной неопределенностью!

— Тогда предупреждаю: я всего лишь винтик в сложной государственной машине. Любой может надавить на меня и вынудить включить ее, а вот отключить машину сможет только государство и никто больше. Вам ясно, о чем я?

— Да.

— О’кей! Я вас предупредил о последствиях!

— И это совсем не помешает мне угостить вас хорошим обедом.

— На правах хозяина?

— Да, совсем забыл сообщить вам. Дядя Артур завещал имение Маунт-Мун мне, а Флосси оставила все свои денежные сбережения Дугласу. Так что можно сказать, что хозяев здесь двое.

Имение Маунт-Мун насчитывало уже восемьдесят лет: немалый срок для усадьбы, построенной в другом полушарии и на другом конце света. Дом начал возводить еще дед Артура Рубрика. Лес доставляли в эти труднодоступные места обозами, на волах, переправляя караваны горными тропами через ущелья и перевалы. Вначале соорудили самый обычный четырехкомнатный коттедж, но потом число комнат стало неуклонно увеличиваться одновременно с постоянным прибавлением семейства, которое регулярно обеспечивала к ужасу своего мужа бабушка покойного Артура Рубрика. И сегодня это был огромный дом, насчитывающий целых восемь спален. По своему внешнему облику он очень смахивал на родовое гнездо Рубриков в Сомерсете, которое дедушка Артура оставил своему менее авантюрному брату, с благодарностью принявшему сей щедрый дар. Все в доме, начиная от фронтонов в викторианском стиле, неизменной оранжереи, немногочисленных портретов на стенах, старинной мебели, рачительно приобретенной по случаю, все безошибочно указывало на английские корни поселившихся здесь людей. Даже сад, разбитый перед домом, нес на себе отпечаток ностальгии хозяев по далекой родине. Чтобы заложить сад в Маунт-Мун, посреди голого плато, в столь суровом климате, потребовались немалые средства. Из тех деревьев, которые насадил в свое время старый Рубрик, сохранилось немногое. Прижились лишь пирамидальные тополя да несколько сосен. Вся же остальная растительность была сугубо местной. С теннисной площадкой, оборудованной на склоне холма, предварительно очищенном от зарослей луговика, тоже пришлось изрядно повозиться. Каждое лето газон на площадке стремительно превращался в пожухлую траву и покрывался толстым слоем пыли. Вместо вечерних променадов по выбеленным известкой тротуарам Сомерсета пришлось довольствоваться прогулками по горным склонам, используя в качестве ориентира на местности верхушки тех самых пирамидальных тополей, которые в изобилии насадил вокруг дедушка Артура Рубрика. Окна столовой выходили в сад,

являющий собой — увы! — весьма несовершенную копию оригинала, в которой с большим трудом можно было распознать черты того, что принято называть настоящим английским парком со всеми особенностями, присущими таким садам. Нынешний же сад в Маунт-Мун и вовсе являл собой полнейшее смешение всех стилей, этакое ботаническое попурри на тему «Классический английский парк». Зато дальше, прямо за ним, открывались такие необъятные просторы, что просто дух захватывало. Сверкающее на солнце пурпурными красками цветущего луговика плато простиралось до самого горизонта, сливаясь с нависшими над землей облаками. А чуть выше облаков, подсвеченные розоватыми бликами заходящего солнца, величаво плыли в воздухе горы, похожие издали на старинные каравеллы.

За ужином, в первый же вечер своего пребывания в имении, Родерик Аллен собственными глазами лицезрел пышное и красочное представление под названием «Наступление ночи на горном плато». Вот верхушка самой высокой горы позолотилась вечерними лучами и почти мгновенно стала пурпурно-алой, более низкие соседние вершины окрасились в темный багрец и стали похожими на бокалы, наполненные выдержанным бордо. Но постепенно тени становились все глубже и темнее, потянуло ночной свежестью с гор, и почти сразу же на все вокруг пала тьма. Как хорошо, что в столовой горит камин, подумал Аллен, пристраиваясь поближе к огню, иначе было бы даже холодно.

Он еще раз украдкой оглядел собравшихся за обеденным столом обитателей Маунт-Мун.

В неровном свете свечей их лица казались странно моложавыми, почти юными. Разве что экономка и в полумраке оставалась той, кем была на самом деле, то есть весьма и весьма пожилой особой. Теренс Лин, бывшая секретарша миссис Рубрик, типичная английская мисс, пожалуй, она тоже будет постарше всех остальных. Впрочем, вполне возможно, ее старит прическа: гладкие, расчесанные на прямой пробор волосы, собранные на затылке в тяжелый узел. С такой прической она похожа на дирижера хора. Кстати, и наряд под стать: строгое черное платье с накрахмаленными кружевными манжетами и воротничком. Не вполне вечернее платье, подумал Аллен. Но с другой стороны, наверняка мисс Лин, в отличие, скажем, от молодых хозяев имения, в обязательном порядке переодевается к вечерней трапезе. И руки у нее ухоженные, с красивыми длинными пальцами. А между тем для него стало настоящим открытием, что после смерти хозяйки девушка пребывает в Маунт-Мун почти на положении прислуги, точнее, она стала выполнять функции садовника. Впрочем, прежняя должность все еще давала о себе знать. Все в облике бывшей секретарши свидетельствовало о том, что она — девушка в высшей степени ответственная и сугубо положительная, эдакая серая мышка, которая все и про всех знает.

Что же до Урсулы Харм, то это была обворожительная английская мисс, высокая, грациозная, с рыжими, как медь, кудрями и необыкновенно разговорчивая. По прибытии в имение Аллен обнаружил ее загорающей на лужайке теннисного корта в белых шортах и темных очках. Она сразу же стала расспрашивать его об Англии: с детской непосредственностью и уже подзабытой довоенной веселостью начала интересоваться, много ли ночных клубов уцелело в Лондоне после бомбежек города. Как выяснилось из разговора, начало войны она встретила именно на Британских островах, куда приехала вместе со своей опекуншей миссис Рубрик. Ее родной дядя в настоящее время воюет на Ближнем Востоке. Именно он и настоял на том, чтобы она снова вернулась вместе с миссис Рубрик в Новую Зеландию и пожила у нее в имении.

— Можно считать, что я коренная жительница Новой Зеландии, — щебетала мисс Харм, — и в Англии у меня не осталось никого из близкой

родни, кроме дяди. А здесь тетя Флоренс, хотя она и не приходится мне родной тетей, с успехом заменила всех моих родственников.

Да, мисс Харм, легкая, порывистая, изящная, несомненно, могла быть отнесена к категории очень привлекательных девушек. Впрочем, от внимания Аллена не ускользнуло, что юная леди немного взвинчена и есть что-то наигранное в ее чрезмерной веселости. А стоило ей замолчать, и ее лицо моментально становилось задумчиво-грустным. Он также обратил внимание на еще одну малозаметную деталь: за ужином она говорила главным образом с Дугласом Грейсом, а вот взгляд ее чаще всего останавливался на Фабиане Лосси.

Что же до молодых людей, то они были полной противоположностью друг другу. Все в облике Фабиана Лосси — запавшие виски, нервные худые руки, светлые, слегка вьющиеся волосы — несло на себе отпечаток изящества и той законченности, какая бывает в портретах, выполненных тонким карандашом. А капитан Грейс, напротив, был широкоплеч, с роскошными усами, гладко прилизанными волосами и глубоко посаженными глазами. Он говорил с легким местным акцентом, но его манеры были безупречны. К Аллену он обращался исключительно и только как «сэр». Еще удивила одна странная особенность его речи. Каждую фразу он в обязательном порядке заканчивал коротким смешком, не всегда понятным и довольно часто неуместным. В целом же он производил впечатление вполне заурядного человека, но, безусловно, джентльмена.

Миссис Эйсворт, дальняя родственница покойного Артура Рубрика, перебравшаяся к Маунт-Мун после смерти его жены, была крупной и немного рыхлой матроной, судя по всему, властной и несговорчивой дамой. По всему было видно, что ей откровенно нравится командовать людьми. К старшему инспектору она с самого начала отнеслась крайне настороженно. Его появление в доме не вызвало у нее восторга, это уж точно. Впрочем, речь ее была полна шутливых намеков и перифраз. Оставалось только гадать, что именно счел необходимым сообщить ей Фабиан о своем госте. Обитателей дома она называла не иначе, как «моя семья», причем наличие кавычек чувствовалось уже по самой интонации, с которой произносились эти слова. Сразу же бросилось в глаза, что миссис Эйсворт отдает предпочтение местным членам «семьи». Впрочем, она и сама не особенно скрывала, что благоволит к Дугласу Грею и Урсуле Харм.

За окнами столовой с раздвинутыми шторами открывался потрясающий вид на горы: величественную красоту пейзажа не скрадывала даже темнота. Более того, горящие на столе свечи придавали всей картине какую-то особую, почти мистическую таинственность. После ужина все переместились в кабинет Артура Рубрика: уютная комната, прилепившаяся рядом со столовой, все стены которой были сплошь увешаны выцветшими от времени фотографиями молодых людей, запечатленных на пастбищах в окружении овец. Керосиновая лампа, горевшая на столе, создавала атмосферу особого уюта и покоя. Миссис Эйсворт, сославшись на то, что ей нужно еще раз наведаться в кухню и проверить, все ли там в порядке, ушла, оставив остальных домочадцев допивать свой кофе в полном молчании.

Аллен подошел к камину, над которым висел портрет дамы в полный рост. Это наверняка был парадный портрет, о чем свидетельствовал декольтированный наряд из атласа красивого горчичного цвета, обнажавший шею и руки, которые были выписаны с особой тщательностью, от самых плеч и до кончиков пальцев сведенных воедино кистей. Коричневато-бронзовая гамма материи как нельзя лучше гармонировала с золотистыми кудрями миссис Рубрик. Высоко взбитые волосы отдавали латунным блеском и казались немного неестественными, словно женщина напялила на себя парик. Портрет был написан в лучших академических традициях. Да и сам

художник, судя по всему, был профессионалом высокого класса. Однако в случае с Флоренс Рубрик он потерпел сокрушительное фиаско. Можно даже сказать, пережил собственное Ватерлоо, ибо присущая всем академистам льстивая манера изображения своих моделей с Флосси категорически не сработала. Тщетными оказались все усилия художника как-то смягчить и приукрасить резкие черты ее лица. Твердый рот с плотно поджатыми губами, явно, чтобы скрыть выпирающие вперед зубы, непреклонный взгляд светлых, слегка навыкате глаз, всецело сконцентрированный на самом художнике. Воистину, от такого взгляда как-то сразу делается не по себе. Наверняка художника мороз пробирал, пока его модель рассматривала его вот так, в упор. Самое любопытное, что колючий взгляд Флосси Рубрик буквально вонзался в любого, кто оказывался в комнате. Вот и сейчас все пятеро немного поеживались под пристальным прицелом глаз покойной хозяйки дома, и каждому казалось, что она смотрит именно на него или на нее.

Других портретов в кабинете не было. Аллен скользнул взглядом по стенам в надежде отыскать среди фотографий изображение самого Артура Рубрика, но не нашел ни одного подходящего.

Плавное течение разговора за обеденным столом, которое с немалыми усилиями поддерживал хозяин дома, было окончательно нарушено. В комнате воцарилось тягостное молчание, грозившее стать вечным. Короткие реплики, которые изредка бросал кто-то из присутствующих, немедленно повисали в воздухе, часто оставаясь безответными. Фабиан Лосси бросил умоляющий взгляд на Аллена: нужно было немедленно спасать положение. Дуглас Грейс, усевшись возле камина, стал что-то тихо напевать себе под нос. Девушки недоуменно переглянулись между собой и снова уставились каждая в свою точку. Фигура Аллена, устроившегося в кресле в дальнем углу комнаты, утопала в полумраке, что давало определенные преимущества, ибо разглядеть выражение его лица было невозможно.

— Это портрет миссис Рубрик? — спросил он, подбадриваемый выразительным взглядом хозяина. И в ту же минуту почувствовал себя кучером, туго натянувшим поводья впряженных в экипаж лошадей, которые упираются изо всех сил, отказываясь стронуться с места. Все ошарашенно уставились на него: было видно, что вопрос застал их врасплох. Портрет висел в этой комнате с незапамятных времен: к нему настолько привыкли, что уже давно воспринимали его как обязательную часть интерьера. А ведь это на самом деле было живописное изображение Флосси Рубрик! В глазах молодых людей мелькнула паника, словно их страшно напугала перспектива того, что покойная хозяйка дома может немедленно материализоваться и предстать перед ними живой и невредимой, так сказать, из плоти и крови.

— Да! — после некоторой паузы откликнулся Фабиан. — Портрет был написан десять лет тому назад. Типично академическая манера, не правда ли? И это досадно! Если бы портрет рисовал Джонс, то он бы сделал из тети Флосси настоящую бомбу! Или та же Агата Трой.

Известная художница была женой старшего инспектора, но Родерик Аллен никак не прокомментировал последнюю реплику. Вместо этого он задал свой следующий вопрос:

— Но ведь сходство с оригиналом наверняка есть? К сожалению, я видел миссис Рубрик лишь мельком, а потому не могу оценить в полной мере мастерство живописца.

— Нет! — воскликнули одновременно Фабиан и Урсула Харм.

— Да! — тоже хором сказали Дуглас Грейс и Теренс Лин.

— Даже так? — рассмеялся Аллен. — Налицо самый настоящий разброс мнений. Итак, в чем корень разногласий?

— Портрет даже отдаленно не передает всей хрупкости ее облика, —

начал Дуглас, — и тем не менее, характер схвачен весьма точно.

— Художник добросовестно изобразил лишь черты ее лица, но само лицо похоже скорее на маску, чем на лицо живого человека, — возразил ему Фабиан.

— Да это не портрет, а самая настоящая карикатура! — с негодованием воскликнула Урсула Харм, вперив возмущенный взор в живописное полотно.

— Бессовестное вранье, вот что это! — согласился с ней Фабиан. — Художник явно принизил и даже унизил свою модель!

Фабиан стоял возле самого камина, положив руки на каминную полку. Урсула Харм бросила на него несколько удивленный взгляд, сдвинув брови в одну ниточку. Аллен расслышал ее слабый вздох, словно своей репликой Фабиан напомнил ей о каком-то их застарелом споре.

— Да! Изображение совершенно безжизненное! Правда, Фабиан? — проговорила она с некоторой запальчивостью. — Думаю, с этим согласятся все. В действительности тетя Флоренс была гораздо более значительной личностью, чем женщина, изображенная на портрете. И потом, она была такая живая! Такая жизнерадостная! — тут же поправила она себя, почувствовав некоторую двусмысленность последнего определения. — Жизнь била в ней ключом, и это ощущал каждый, оказавшись рядом с ней. Все это безвозвратно утеряно на портрете.

— Конечно, я не очень разбираюсь в живописи, — сказал Дуглас Грейс, — но портрет мне определенно нравится.

— Ты находишь его достоверным? В чем? — тихо, почти про себя обронил Фабиан и добавил уже громко: — Послушай, Урси, неужели быть чрезмерно жизнерадостной — это такое уж великое достоинство, а? Иногда бьющая через край энергия действует на нервы тем, кто находится рядом с таким человеком.

— Ну, если направить энергию в нужное русло, тогда еще ничего! Жить можно! — иронично улыбнулся Грейс.

— Ее энергия всегда тратилась в правильном направлении! Вы только подумайте, сколько тетя Флоренс успела всего сделать! — с энтузиазмом воскликнула Урсула.

— Да, бесспорно! — согласился с ней капитан Грейс. — У тети Флосси был ярко выраженный темперамент общественного деятеля. Я всегда говорил и снова повторюсь, что готов снять перед ней шляпу за все то, что она сделала для страны и для своих избирателей. И вообще, несмотря на всю свою субтильность, тетушка обладала настоящей мужской хваткой, — он полез в карман и извлек оттуда портсигар. — Не то чтобы я большой поклонник властных дам, да еще с замашками руководителей, — продолжил он, присаживаясь подле мисс Лин. — Но ей-богу, тетя Флосси была приятным исключением из правил. Тут ей надо отдать должное.

— Именно это и позволило ей стать полноценным членом парламента и вырасти в политика общенационального масштаба, — заметил Аллен.

— Все так! — меланхолично обронила Урсула, не отводя взгляда от Фабиана. — Но я не вполне понимаю тебя, Фабиан! Зачем ты вообще затеял этот разговор. Хочешь проинформировать мистера Аллена о том, что у нас стряслось?

— Отчасти так.

— Тогда ему надо прежде всего рассказать о том, каким замечательным человеком была тетя Флоренс.

Неожиданно Фабиан оторвал руку от каминной полки и ласково потрепал девушку по щеке.

— Вот ты и расскажи, Урси! А я буду только рад вместе со всеми послушать твой панегирик.

— Да, ты-то послушаешь, но ни за что не поверишь мне! Вот в чем беда! — с досадой возразила ему Урсула.

— Ну, и что из того? Ты ведь станешь рассказывать мистеру Аллену, а не мне.

— А я думал, — вмешался в их пикировку Дуглас, — что мистер Аллен здесь для того, чтобы вести официальное расследование. Не понимаю, какой ему прок от наших воспоминаний о тете Флосси. Ему нужны факты, факты и еще раз факты!

Аллен слегка пошевелился в кресле и пожал плечами.

— Факты фактами, но я был бы весьма признателен вам, мисс Харм, если бы вы согласились рассказать мне о миссис Рубрик. Прошу вас!

— Да, Урсула! Соглашайся! Мы тоже просим тебя! — воскликнул Фабиан.

Девушка обвела взглядом собравшихся.

— Странная мысль пришла вам в голову. Честное слово! — начала она нерешительно. — Мы ведь не говорили о тете Флоренс уже целую вечность. И потом, честно признаюсь, рассказчик из меня никудышный. Ты серьезно хочешь, Фабиан, чтобы я рассказала мистеру Аллену о тете? Это так важно для тебя?

— Да, дорогая.

— И вы, мистер Аллен, тоже хотите этого?

—Да! Я очень хочу составить себе точное представление о вашей опекунше. Ведь официально вы числились ее воспитанницей, не так ли?

— Да.

— Следовательно, у вас была отличная возможность познакомиться с ней как следует.

— Пожалуй, вы правы. Хотя впервые я увидела Флоренс Рубрик только в тринадцать лет.

— При каких обстоятельствах?

Урсула подалась вперед, обхватив руками колени. Она зябко повела плечами и придвинулась поближе к огню.

— Видите ли… — начала она.

Глава II

Версия Урсулы Харм

Поначалу Урсула говорила сбивчиво и немного бессвязно, то и дело замолкала, глядя в пустое пространство перед собой. Правда, в ее голосе не чувствовалось робости или страха сболтнуть что-то лишнее. На первых порах Фабиан ненавязчиво ассистировал девушке, превращая монолог в некое подобие разговора. Дуглас Грейс, устроившись рядом с Теренс Лин, время от времени обменивался с соседкой негромкими репликами. Теренс прихватила с собой вязание, и мелодичное позвякивание спиц создавало атмосферу почти домашнего уюта. Впрочем, это традиционно старушечье занятие никак не вязалось с ее горящим от возбуждения лицом.

Постепенно Урсула раскрепостилась, речь ее полилась свободно, и необходимость в наводящих вопросах Родерика Аллена отпала сама собой. Чувствовалось, что девушка уже вся во власти своих воспоминаний и горит желанием нарисовать портрет настоящей Флоренс Рубрик.

Итак, первые мазки легко легли на воображаемое полотно. Школьница, совсем еще ребенок, убитая горем от полученного известия: ее мама умерла. Вот она потерянно сидит в огромном, несколько помпезном кабинете директрисы школы и молча слушает то, что ей говорят взрослые.

— Они все говорили со мной так ласково, были так заботливы и так внимательны. Они предусмотрели буквально все: даже купили мне билет на вечерний поезд. Но никому из них не пришла в голову простая мысль. Ребенку, только что узнавшему о смерти матери, не предупредительность нужна, а самое обыкновенное человеческое участие и тепло. Причем тепло в прямом смысле этого слова, потому что меня буквально сотрясало от озноба. И в этот момент я услышала звуки рожка. Они были очень похожи на перезвон колокольчиков. Позже я узнала, что тетя Флоренс привезла этот рожок из Англии. А потом я увидела в окно машину, подъехавшую прямо к парадному крыльцу. В следующую минуту чей-то голос в холле спросил меня. Прошло столько лет, а я помню все, словно это было вчера. И она сама стоит перед моими глазами, словно живая. На тете был меховой берет, и от нее так вкусно пахло! Она тут же схватила меня в охапку, обняла, прижала к себе и стала говорить громко, радостно, возбужденно. Она сказала, что является моей опекуншей, что приехала, чтобы забрать меня к себе, что она была лучшей подругой моей мамы и оставалась рядом с ней до самого ее конца. Разумеется, я много слышала про эту женщину. Ведь миссис Рубрик была моей крестной матерью. Но когда она сразу же после той еще войны вышла замуж за мистера Рубрика, то они с мужем на несколько лет уехали в Англию. Потом вернулись на родину, но тут оказалось, что Маунт-Мун находится слишком далеко от нас, на другом конце страны. Вот мы и не встречались с крестной матерью до того страшного дня. Итак, я приехала вместе с ней в Маунт-Мун. Моим вторым опекуном является родной дядя, брат мамы. Он — англичанин, к тому же, человек военный со всем тем, что из этого вытекает. Как говорится, труба зовет и барабаны бьют. Он, по-моему, даже обрадовался, когда тетя Флоренс (так я стала называть ее) взвалила все заботы обо мне на себя. Я оставалась в имении все время, пока не пришла пора снова возвращаться в школу. Она же регулярно навещала меня и во время учебного года, и всегда ее приезды дарили мне море радости.

И вот уже за первыми неуверенными мазками стал проступать образ женщины, которую рассказчица не просто любила, но обожала со всем пылом своего юного сердца. Потом тетя Флоренс снова уехала в Англию и провела там целый год. Все это время она регулярно писала своей воспитаннице пространные письма и засыпала ее роскошными подарками, которые приобретались в лучших магазинах Лондона. Миссис Рубрик вернулась в Новую Зеландию как раз накануне окончания Урсулой школы: приехала, чтобы забрать девочку, которой едва минуло шестнадцать лет, с собой.

— Какое это было замечательное время! Для меня наступила просто райская жизнь! — мечтательно воскликнула Урсула. — Мы снова вернулись в Англию. Тетя сразу же стала вывозить меня в свет: куча новых знакомых, балы, званые вечера. Она, словно фея, распахнула передо мной дверь в совершенно иной, сказочный мир. Она даже специально устроила бал в мою честь. Кстати, именно на нем мы ведь и познакомились с тобой, Фабиан. Помнишь?

— Да! Незабываемый был вечер! — Фабиан Лосси уселся прямо на пол и прижался спиной к спинке стула, на котором сидела Урсула, после чего, подперев подбородок острыми коленями, стал молча раскуривать трубку.

— А потом наступил этот ужасный сентябрь 1939 года. Дядя Артур написал жене, что в сложившихся обстоятельствах не стоит тянуть с возвращением домой. На первых порах тетя Флоренс хотела остаться в Англии и даже начала подыскивать нам обеим работу по военной части. Но дядя постоянно бомбардировал ее телеграммами, настаивая на немедленном возвращении домой.

— И имел на это полное право. В конце концов, он ее муж, — ровным голосом отчеканила Теренс Лин, не отрывая глаз от вязания.

— Пожалуйста, не перебивай ее! — ласково попенял ей Дуглас Грей и шутливо хлопнул девушку по коленке.

— А я думаю, тетя принесла бы гораздо больше пользы, если бы осталась в Лондоне и продолжила работать на какое-нибудь военное ведомство! — запальчиво возразила ей Урсула. — Напрасно дядя принудил ее бросить все и ехать сюда. Мне кажется, он проявил обычный мужской эгоизм. Мог бы пожить какое-то время и без жены: это был бы его вклад в общее дело борьбы с врагом.

— Не забывай, он до этого три месяца провалялся в госпитале, — прежним бесстрастным тоном отозвалась со своего места мисс Лин.

— Да все я помню, Терри, и тем не менее! Но как бы то ни было, а вскоре после Дюнкерка мы получили очередную телеграмму из Маунт-Мун, последнюю, ибо тянуть с отъездом было уже действительно нельзя. Итак, мы двинулись в обратный путь. Я, правда, хотела остаться и самостоятельно устроиться на работу, но тетя категорически была против. Говорила, что я еще слишком молода для военной службы, что она не может бросить меня в Лондоне одну и что будет сильно скучать в разлуке со мной. Словом, я уступила, и мы вместе покинули Англию. Нет-нет, не подумайте! Отчасти я была даже рада нашему возвращению в Новую Зеландию. Честное слово!

— Верим-верим! — тихо промурлыкал Фабиан.

— И потом, надо же было кому-то ухаживать за тобой всю дорогу сюда, разве не так?

— Я как раз приходил в себя после очередного ранения, — пояснил Фабиан, обращаясь к Аллену. — Урсула стала для меня настоящим ангелом-хранителем. Я ведь был абсолютно беспомощен, а тетя Флосси была снедаема неуемным желанием именно на мне продемонстрировать все свои умения и навыки, приобретенные еще в годы минувшей войны, когда она трудилась в каком-то добровольческом медицинском отряде, оказывая помощь раненым. Надо сказать, она всегда напускала столько тумана вокруг этой страницы своей биографии. Но ясно одно: после двадцати лет вынужденного простоя тетушка снова была готова ринуться в бой и на практике приступить к реабилитации очередного инвалида войны. Так что можно сказать, что Урсуле я обязан всем: и тем, что остался жив, и тем, что окончательно не лишился разума в неравной борьбе с тетей Флосси.

— Какой же ты бессовестный, Фабиан! — укоризненно попеняла ему Урсула, но голос ее звучал на удивление ласково. — Ну скажи мне, разве можно быть таким неблагодарным, а?

— Неблагодарным по отношению к Флосси, хочешь сказать? За то, что она готова была довести меня до самоубийства своей неуемной заботой, и все в обмен на сыновью любовь. Так, что ли? Но ты продолжай, Урси! Не обращай внимания на мои колкости!

— Интересно знать, располагает ли мистер Аллен достаточным временем для того, чтобы выслушивать наши бесконечные медитации о прошлом, да плюс еще и комментарии к ним? — неуверенно проронил Дуглас Грейс, словно размышляя вслух. — В любом случае, мне уже сейчас искренне жаль и его, и его время.

— О, с этим нет проблем! — поспешил успокоить его Аллен. — Времени у меня более чем достаточно. — И потом, все, что я слышу, и в самом деле очень интересно. Итак, мисс Харм, вы трое прибыли в Новую Зеландию в 1940 году. Что дальше?

— Мы вернулись в Маунт-Мун. Представляете, каково это после Лондона! Чувствуете разницу? — несколько шутливым тоном возобновила

свое повествование Урсула. — Впрочем, все было не так уж и плохо. Жизнь на природе, простые радости деревенской жизни во всей их красе, милые, сердечные люди вокруг. Но вскоре нашему размеренному существованию снова пришел конец. Скончался какой-то депутат, член парламента от нашего округа, и тете предложили выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах. И тут все закрутилось, завертелось и понеслось. Кстати, именно в этот момент, Терри, ты к нам и приехала.

— Да! — безучастным голосом отозвалась мисс Лин, ритмично постукивая спицами. — Я приступила к работе у миссис Рубрик именно в это время.

— Тетя Флоренс была со мной сама нежность. Можно сказать, что она меня обожала. Своих детей у них с мистером Рубриком не было, а потому всю свою неизрасходованную материнскую любовь она изливала на меня. Говорила, что я ей как родная дочь. Ах, мистер Аллен, если бы вы только видели ее во время самой предвыборной кампании! Бесконечная череда митингов и встреч, постоянные разъезды по всему округу, но тетя была неутомима. Ей даже нравился такой бешеный ритм жизни, нравилось, когда во время встреч ее засыпали вопросами или начинали критиковать. Ее реакция была в таких случаях мгновенной. Она бросалась в бой с открытым забралом, никого и ничего не страшась. Правда ведь, Дуглас?

— Это точно! Она могла совладать с любой аудиторией! — с готовностью поддакнул капитан Грейс. — Когда я приехал в Маунт-Мун, тетя уже с головой ушла в избирательную кампанию. Помню, на одной встрече какая-то женщина стала злобно кричать ей с места: «Думаете, я стану голосовать за таких, как вы? Развлекаетесь тут, пьете каждый день шампанское, а я в это время не имею денег, чтобы купить своей ребятне десяток яиц». И тетя мгновенно парировала: «Я готова тут же рассчитаться с вами! Даю по дюжине яиц за каждый выпитый мною бокал шампанского!»

— Да, это было очень смешно! — подхватила Урсула. — Весь фокус состоял в том, что тетя вообще не пьет. И большинство людей, присутствовавших на той встрече, хорошо это знали. А потому в ответ раздались аплодисменты и смех. Но тетя жестом остановила всеобщее веселье и снова обратилась к обидчице: «Боюсь, я поступила нечестно, предложив вам такую сделку. Вы ведь ничего не знаете о моих вредных привычках. А потому, если дела в вашей семье и в самом деле обстоят так плохо, обратитесь в наш фонд помощи обездоленным. Уверяю вас, из Маунт-Мун каждый день туда посылаются сотни свежайших яиц».

Урсула замолчала, видно, не зная, чем лучше закончить рассказ об этом эпизоде. На помощь ей снова пришел Дуглас Грейс. Он громко рассмеялся и сказал.

— А женщина начала истошно вопить: «Не нужны мне ваши поганые яйца! Как-нибудь обойдусь и без них!» На что тетя тут же ответила ей: «Ну да! Пока я здесь, на трибуне, может, и обойдетесь!» И зал снова разразился хохотом.

— Вот это и есть истинное искусство фехтования! — вполголоса прокомментировал Фабиан. — Вовремя уклониться от укола и мгновенно нанести свой.

— О, на счет уколов равных ей не было! — иронично заметил капитан Грейс.

— Зато яиц у детей тоже как не было, так и не было.

— Но уж в этом-то тетя Флоренс совсем не виновата! — запальчиво возразила Фабиану Урсула.

— Увы, дорогая, но в данном конкретном случае мои симпатии всецело на стороне той женщины. Однако не отвлекайся от темы! Тем более что в

общем и целом избирательная кампания Флосси оставила у меня приятное впечатление и даже в чем-то понравилась.

— Ты просто еще плохо разбираешься в местных нравах! — снисходительно заметил ему капитан Грейс. — Наши люди всегда привыкли рубить сплеча, мы не очень стесняемся в выражениях, когда доходит до дела. Тетя Флосси продемонстрировала свои умения по этой части в полном блеске. К концу кампании все ее избиратели стали ручными. Правда, Терри?

— Ее популярность действительно была высока, — коротко ответила мисс Лин.

— А ее муж принимал участие в избирательной кампании?

— Да она его практически доконала, эта кампания! — воскликнула мисс Лин, и спицы неожиданно громко звякнули в ее руках.

В комнате повисло неловкое молчание, словно бывшая секретарша миссис Рубрик только что сказала вслух бестактность. Однако девушка принялась развивать свою мысль.

— Разумеется, он участвовал вместе с женой почти во всех встречах с избирателями. Эти долгие и утомительные поездки, да еще на такие дальние расстояния! А там часами надо было высиживать на трибуне рядом с ней под прицелом сотен глаз. Встречи, собрания, митинги сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. То была воистину работа на износ. Возвращались домой, и что творилось здесь? Настоящий бедлам! Ни минуты покоя. То очередное заседание Общества Красного Креста, то «круглый стол», организованный институтом по правам женщин, то встреча с членами комитета по охране окружающей среды, то очередной партийный сбор. И так каждый день, с утра до самой поздней ночи. Даже у себя в кабинете, даже здесь ему не было места, и вокруг постоянно толклись посторонние люди.

— Ты не права, Терри! — воскликнула Урсула протестующим тоном. — Тетя Флоренс всегда пеклась о здоровье дяди Артура. Она заботилась о нем! И вообще…

— Ну да! Как заботится ураган, обрушившийся на тебя прямо на пляже, когда ты принимал там солнечную ванну! — тут же отбила подачу мисс Лин.

Мужчины весело рассмеялись

— Какие же вы противные! — вспыхнула Урсула, обращаясь ко всей троице. — Вы прекрасно знаете, что несправедливо так говорить о тете Флоренс. И нечестно! А уж превращать ее в объект для своих примитивных шуток! Как вы можете? Тем более что каждый из вас столь многим обязан тете!

Дуглас Грей стал возражать и говорить, что Урсула просто неправильно истолковала их смех. А что касается его, так он любил тетю Флосси всем сердцем, горячо и нежно, как никто и никогда ее не любил.

— Вы же помните, как ей нравились мои розыгрыши, как она всегда смеялась моим шуткам! Никто из вас не умел развеселить тетю Флосси так, как это делал я!

Девушки и Фабиан промолчали, но по выражению их лиц было видно, что всем немного неловко за чрезмерную запальчивость Дугласа.

— И уж коль скоро мы взялись обсуждать тетю Флосси, — продолжал кипятиться племянник покойной миссис Рубрик, — то, ради всех святых, будьте же честными по отношению к ней и ее памяти! В конце концов, все мы ее любили! — Фабиан слегка пожал плечами, но снова не проронил ни слова. — А когда ее убили, то и вообще мы пережили самый настоящий шок. А что теперь? Мы не возражали, когда Фабиан сообщил нам, что хочет пригласить в имение мистера Аллена. Прекрасно! Раз мы решились составить посмертный портрет миссис Рубрик, что лично мне

представляется пустой тратой времени, так почему каждый из нас не может говорить сейчас то, что считает нужным? Я лично скажу все, что думаю, ничего не тая.

— Вот и замечательно! Облегчишь свою душу, наконец! — саркастически бросил ему Фабиан. — Сбросишь, так сказать, груз неприятных воспоминаний со своих плеч. Но всему свое время. А пока же мы слушаем откровения Урсулы.

— Ты сам ее все время перебиваешь!

— В самом деле? Ну, раз так, то приношу свои извинения, Урсула. Больше не буду, честное слово! — Фабиан Лосси стремительно крутанулся на полу и, положив подбородок на подлокотник стула, вперил нарочито умоляющий взгляд в Урсулу.

— Право же, как тебе не стыдно, Фабиан? — девушка изо всех сил старалась сохранить строгость.

— Пожалуйста, продолжай свою историю и не обращай на меня ни малейшего внимания! Итак, мы уже доковыляли до 1941 года: Флосси всецело поглощена своей парламентской карьерой. Так оно и было, мистер Аллен, уверяю вас! Дуглас, оправившись после ранения, тем не менее, был признан негодным к строевой и демобилизован из армии. На гражданке он занялся тем, что замыслил выпускать всякую пасторальную литературу. А если серьезно, то подготовил серию справочников по проблемам овцеводства в форме ежемесячных альманахов. Терри, аки пчелка, трудилась изо всех сил над укреплением престижа своей начальницы, сопровождала ее на все публичные мероприятия, стенографировала ее выступления и пресс-конференции, а потом перепечатывала стенографические записи для истории. Урсула, — Фабиан умолк. Видно, искал подходящие слова для описания того, чем именно занималась воспитанница миссис Рубрик. — Ну, Урсула по своему обыкновению украшала наш маленький коллектив своим присутствием, придавая ему особый шарм и изысканность. А я, как всегда, веселил всех, подвизаясь в роли комедианта. То неудачно упаду с лошади, причем обязательно в полный рост, то ввалюсь в раствор для купания овец, то еще что-нибудь сотворю. Но все эти чудачества, как ни странно, очень сблизили меня с несчастным дядюшкой Артуром, который отчаянно боролся со своим сердечным недугом. Ну, продолжай же, Урси! Сколько мне еще говорить вместо тебя?

— Продолжать? Зачем? Какой смысл мне пытаться реконструировать образ тети Флоренс, если вы все, если вы, — внезапно голос ее сорвался на крик, и она умолкла. — Хорошо! Я доведу свой рассказ до конца, — проговорила девушка решительным тоном после некоторой паузы. — Ведь насколько я понимаю, цель мистера Аллена — выслушать каждого из нас. Нечто подобное мне уже пришлось рассказывать, когда какой-то верзила методично, словно он писал контрольный диктант, а не протокол допроса, записывал мои показания в полицейском участке. Вот я сейчас и озвучу их еще раз.

— Минуточку! — раздался голос Аллена из темноты. Все четверо оторвались от созерцания камина и повернулись к нему. — Одну минутку! — снова повторил Аллен. — Прошу учесть, что допрос в полицейском участке существенно отличается от того, чем мы сейчас занимаемся. На допросе, как известно, вам задают вопросы, а вы на них отвечаете. Мне не хотелось бы снова загонять вас в такие узкопротокольные рамки «вопрос-ответ». Напротив! Я хотел бы услышать от каждого из вас именно рассказ, а не развернутый ответ на мой очередной вопрос. Постарайтесь рассказать мне о случившейся трагедии так, словно вы рассказываете о ней впервые. Мне нужно от вас только одно! Свежесть ощущений. Вы же понимаете, что я приехал сюда не для того, чтобы аре-

стовать убийцу. Мне крайне важно прояснить одну, но очень важную вещь: имеет ли это конкретное преступление хоть малейшее отношение к тому, что в военное время квалифицируется как шпионаж в пользу противника.

— Еще как имеет! — воскликнул Дуглас Грейс, слегка поглаживая затылок. — По моему скромному разумению, именно из-за этого ее и убили, сэр.

— Хорошо! Но об этом мы поговорим с вами позднее, когда настанет ваш черед. А пока... Мисс Харм, вы нарисовали нам очень яркую и достоверную картину того, как жила ваша крохотная коммуна в Маунт-Мун в этом затерянном в горах месте год с лишним тому назад. Прекрасная работа! Но сейчас давайте перейдем непосредственно к событиям той годичной давности. Итак, конец 1941 года. Каждый из вас занят своим делом. Миссис Рубрик с головой ушла в общественную работу, мисс Лин всемерно помогает ей в качестве ее личного секретаря, капитан Грейс продолжает осваивать премудрости разведения овец непосредственно на пастбищах. Мистер Лосси восстанавливается после тяжелейших ранений и начинает совместно с капитаном Грейсом заниматься изобретательством. Мистер Рубрик постоянно болеет. Миссис Дак, кухарка, занята тем, что кормит вашу семью. А Маркинс выполняет в доме функции лакея. Чем конкретно занимались в это время вы, мисс Харм?

— Я? — страшно удивилась Урсула. — Да, пожалуй, ничем! Тетя все время повторяла, что я должна быть постоянно при ней, как еще один дополнительный канал для связей с общественностью. Разумеется, я помогала ей во всем, что было в моих силах. А в свободное время посещала еще курсы при Обществе Красного Креста, чтобы получить право работать в добровольческом медицинском отряде. Но все дни были постоянно чем-то заняты. Ни минуты свободного времени. И все было так интересно! Мне ужасно нравилась наша жизнь. Каждое утро что-то новое, необычное. Встаешь и думаешь: и какой же сюрприз приготовила для меня тетя Флоренс на сегодня? Она была большим мастером на сюрпризы! Умела даже самое заурядное мероприятие превратить в праздник. Любое задание от нее казалось подарком, перевязанным роскошной лентой с бантом. Работать с ней было одно удовольствие! Я бы даже сказала, райское наслаждение.

— Так вот с каким настроением вы готовились к этому сборищу в нашем сарае, — едко прокомментировал последние слова девушки Фабиан.

— Ах, боже мой! — вспыхнула Урсула. — Да, мы готовились к этому событию именно так, с большой радостью. Помню…

Урсула говорила, а перед глазами Аллена воочию вставала картина теплого летнего вечера. Он почти зримо видел перед собой небольшую компанию людей, прогуливающуюся по двору. Потом все рассаживаются на лужайке, и в сгущающихся сумерках легкие платья дам смотрятся особенно нарядно и по-летнему ярко. Огоньки пламени, похожие на острые копья, вспыхивают всякий раз, когда мужчины раскуривают очередную сигарету. Но вот стулья сдвинуты ближе друг к другу. Одна из женщин сбросила с плеч полупрозрачную накидку и небрежно швырнула ее на спинку стула. Высокий представительный молодой человек склонился над ней в несколько заученной галантной позе. Запах дорогого табака смешивается с ароматами наступающей ночи и с запахами земли, щедро отдающей накопленное за день тепло. С дальних пастбищ волнами наплывают ароматы луговых трав, и цветущий луговик, вдоволь напитавшись летним солнцем, благоухает медом. В такой час все вокруг приобретает особую прозрачность и четкость, звуки чисты, а все чувства обострены до предела. Негромкие голоса плывут над садом, и Урсула отчетливо слышит каждый из них.

— Устали, тетя Флоренс, да? — участливо спрашивает она у миссис Рубрик.

— Ничуть! Я не позволяю себе расслабиться ни на минуту, и впредь не позволю! — бодро отвечает та. — Разве время думать сейчас об усталости? Надо, Урси, искать и открывать в себе внутренние источники энергии, которые смогут подпитывать наш организм.

И тетя Флоренс немедленно погружается в пространную лекцию о том, как именно подпитывали себя энергией древние ацтеки. А потом она начинает говорить о тех, кто остался в Англии и денно и нощно трудится на заводах и фабриках или несет службу в противовоздушной обороне, каждую ночь отбивая атаки немецких асов.

— Раз это под силу всем этим людям, — подводит она черту под своим экскурсом, — то, значит, справлюсь и я. У меня ведь устоявшийся круг обязанностей, и все их можно легко переделать бегом и вприпрыжку! — Флосси протянула к девушке обнаженные руки и обхватила ее за плечи. — А уж с такой замечательной помощницей, как ты, моя дорогая, мне и вовсе не грозит усталость. Вместе мы с тобой горы перевернем, девочка! — восклицает она жизнерадостным тоном.

Урсула опустилась на сухую, еще теплую траву и прижалась щекой к коленям тети Флоренс, а та стала ласково перебирать ее волосы, словно хотела подправить прическу, которую воспитаннице делает на дому специально приезжающий для этой цели раз в три дня парикмахер из города.

— Ну-с, продумаем наш план на завтра! — заговорщицким тоном объявляет Флосси.

Как же любила Урсула, когда тетя Флоренс произносила именно эту фразу. Ее слова были похожи на страстную увертюру, предваряющую нечто волнующее и пока еще неизвестное, но обязательно полное приключений и новых встреч. Впрочем, сейчас все их планы на ближайшие дни были так или иначе связаны с намеченным митингом, который должен состояться у них на ранчо. На это собрание съедутся со всей округи фермеры, их жены, поденщики и наемные рабочие. Урсула тут же представила себе местный люд в выходных платьях и костюмах, купленных в отделе готовой одежды в ближайшем кооперативном магазине. Подтянутся, конечно, и сами владельцы крупных ранчо, не поскупившиеся на бензин и транспорт, чтобы привезти своих работников в Маунт-Мун. Тете Флоренс предстоящее событие рисовалось исключительно в розовых тонах: она пребывала в самом приподнятом настроении и была полна энтузиазма. Даже Дуглас приободрился, заразившись ее оптимизмом. Склонившись над Флосси, он стал вносить предложения, как следует разнообразить программу мероприятия. Например, можно устроить танцы, сказал он, бросив насмешливый взгляд на Теренс Лин. А почему бы и нет, мгновенно согласилась Флосси. Старый Джимми Уайк и его братья — отличные аккордеонисты. Пусть прорепетируют немного все вместе, вот вам и готовый оркестр! И надо распорядиться, чтобы из дома принесли в сарай проигрыватель. Тогда молодежь сможет потанцевать и под пластинки.

— Пусть из барака перенесут в сарай старое пианино, — подал безжизненный голос Артур Рубрик, внося свою лепту в подготовку собрания. — И не забыть пригласить молодого Клифа Джонса. Вот он уж точно украсит их ансамбль своей игрой. Он ведь прекрасный пианист. Сымпровизирует что угодно. Вы только прислушайтесь! Он играет сейчас, и как хорошо играет!

Предложение дяди Артура показалось Урсуле крайне неуместным. Она почувствовала, как замерли пальцы тети Флоренс, ласково перебиравшие ее волосы.

Старший инспектор видел, что мисс Харм уже целиком погрузилась в прошлое и даже на какое-то мгновение растворилась в нем. Наверное, подумал он, бросив взгляд на остальных слушателей, так будет с каждым из них. Они начнут копаться в завалах собственной памяти, пытаясь вспомнить какие-то мелкие подробности того давнего вечера, которые, быть может, даже несли в себе некое предзнаменование. А они тогда не обратили на это внимания.

Урсуле было известно, что тетя Флоренс ничего не рассказала мужу о позорном поведении юного Клифа. Миссис Рубрик не хотела лишний раз расстраивать дядю Артура. Мальчишка отплатил Флосси Рубрик черной неблагодарностью за то добро, которое она делала ему на протяжении стольких лет, и это огорчило всех, кто его знал. Сын управляющего Томми Джонса с раннего детства был не похож на сверстников. Он приводил родителей в замешательство своими странными пристрастиями и совершенно не типичными для их среды вкусами. Так, стоило матери начать мурлыкать какую-нибудь колыбельную песенку, как малыш тут же разражался громким ревом. Но когда по радио звучала классическая музыка, то ребенок мог часами молча слушать оркестр или внимать звукам фортепьяно. Такой же рафинированный вкус мальчик демонстрировал и по части литературы и живописи. Уже в начальной школе он поражал учителей необыкновенно яркими и красочными рисунками, которыми он иллюстрировал прочитанные книги, причем каждый раз стилистика иллюстраций Клифа была принципиально новой, не имеющей ничего общего с его предыдущими работами. Ну, а его страсть к музыке и вовсе превратилась в наваждение. Директриса школы даже написала письмо родителям Клифа, в котором сообщала им, что у их сына, судя по всему, феноменальный музыкальный талант. Пожалуй, эмоции тут перехлестнули через край. Но факт остается фактом, у мальчишки действительно оказались незаурядные музыкальные способности. Чего никак нельзя было сказать о точных науках или о спорте. Его успехи по арифметике и достижения в области физкультуры были весьма скромными, если вообще можно было говорить в данном случае об успехах и достижениях.

Разумеется, узнав о столь многосторонних дарованиях Клифа, Флоренс Рубрик никак не могла остаться в стороне. Она стала с жаром внушать изрядно перепуганным родителям мальчика, что, вполне возможно, их сын — гений. И уж во всяком случае, человек с ярко выраженным артистическим темпераментом.

— Вот что я вам скажу, миссис Джонс! — заявила она матери. — Перестаньте ругать сына за то, что он не такой, как все! Ребенку нужен особый подход и много-много ласки. Я лично позабочусь о его будущем.

Флосси стала регулярно приглашать Клифа к себе в дом. Ему разрешили брать книги из домашней библиотеки и граммофонные пластинки с записями классической музыки. Словом, очень скоро хозяйка ранчо полностью покорила сердце мальчишки. Когда Клифу исполнилось тринадцать, миссис Рубрик объявила ошарашенным родителям подростка, что намеревается послать его в закрытую частную школу, устроенную по образцу лучших английских школ. Томми Джонс высказался категорически против. Он являлся активным членом профсоюза, несмотря на должность управляющего, пахал как вол, и скорее всего, в глубине души придерживался левых взглядов. Но его жена оказалась более сговорчивой. Флосси уже успела нарисовать перед женщиной благостные картины того светлого будущего, которое ждет Клифа. В результате и здесь все получилось так, как того хотела миссис Рубрик: жена надавила на мужа, тот, в конце концов, сдался, и мальчика отправили в закрытую школу с полным пансионом, где он учился в одном классе с еще шестью подростками, все — дети владельцев крупных ранчо.

Клиф не просто любил свою благодетельницу. По словам Урсулы, он ее обожал. Большую часть летних каникул он проводил в обществе Флоренс Рубрик, радовал ее игрой на дорогом рояле фирмы «Бехштейн», который стоял в гостиной хозяйского дома. А еще брал дополнительные уроки музыки, за которые щедрой рукой платила все та же тетя Флоренс. В этом месте повествования Фабиан издал короткий смешок.

— Но ведь Клиф и в самом деле хорошо играл на фортепьяно, разве я не права? — непонимающе уставилась на него Урсула.

— Замечательно играл! — согласился с ней Лосси.

— А тетя очень любила музыку.

— Да, она, как и Дуглас, прекрасно знала, что ей нравится, но в отличие от своего племянника, она ни за что не призналась бы в том, что ей не нравится, — пробормотал, скорее про себя, Фабиан.

— Не понимаю, о чем ты! — сухо оборвала его Урсула, возобновляя свой рассказ.

Когда миссис Рубрик уехала в Англию, Клиф еще учился в школе. Разумеется, хозяйский рояль был в полном его распоряжении, и мальчуган, приезжая домой на выходные, мог упражняться на нем сколько его душе угодно. Вернувшись на родину, Флосси обнаружила, что ее любимчик повзрослел, но по-прежнему плавился в ее руках, словно воск. Однако когда он приехал в конце 1941 года на летние каникулы, то все заметили в парнишке существенные перемены, причем, как подчеркнула Урсула, далеко не в лучшую сторону. У него обнаружились какие-то проблемы со зрением, и школьный врач-окулист сказал, что его вряд ли возьмут на военную службу. Это страшно раздосадовало юного патриота, горевшего желанием немедленно отправиться на фронт. Само собой, все его попытки ничем не кончились: ведь Клифу было всего лишь шестнадцать лет. Он написал Флоренс письмо, в котором сообщал ей, что решил бросить школу, вернуться на ранчо и поработать простым пастухом, пока ему не исполнится восемнадцать лет. После чего он предпримет еще одну попытку попасть в действующую армию. Если же его снова забракуют, то он отправится на войну в качестве вольнонаемного рабочего. Естественно, письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы. Флосси мечтала исключительно об университетской карьере для Клифа. А после войны она даже планировала отправить его в Лондон для продолжения учебы в Королевском музыкальном колледже с последующим получением степени и всем тем, что открывает это звание для музыканта. Зажав письмо в руке, она ринулась в дом к своему управляющему и обнаружила Томми Джонса, который тоже получил письмо от сына, в самом благодушном настроении.

— Очень разумно! — прокомментировал он решение Клифа. — В скором времени, миссис Рубрик, нам понадобятся дополнительные рабочие руки. Я бы даже сказал, много рук. А потому я всей душой приветствую выбор своего сына. Вы ведь знаете, что все эти годы я очень боялся, что, получив такое изысканное образование, мой мальчишка превратится в заурядного сноба, презирающего людей своего круга. К счастью, насколько могу судить по его теперешним взглядам, все обстоит с точностью до наоборот. И я этому страшно рад!

Как выяснилось, к вящему ужасу миссис Рубрик, Клиф стал коммунистом, а это было уже самым настоящим крахом всех ее планов в отношении парня.

Когда Клиф вернулся домой, она сперва пыталась урезонить его. Он же, в свою очередь, вполне искренне полагал, что она, как никто другой, сумеет правильно оценить перемены в его мировоззрении и даже поддержать его. Он никак не мог понять причины ее разочарования, и чем дальше, тем больше их отношения стали накаляться. Шестнадцатилетний

подросток упрямо стоял на своем, а сорокасемилетняя женщина злилась и впадала в неистовство в своем бессилии переубедить того, кого она считала еще ребенком. Немного странно выглядело все это со стороны. Они ругались отчаянно, жестко, обидно. Конечно же, говорила Урсула, Клиф не должен был так себя вести по отношению к тете Флоренс. Разве он не видел, сколько она делает для фронта. Уж если кого из них двоих и можно было назвать патриотом в истинном понимании слова, то, конечно, тетю Флоренс, а не этого грубияна, у которого, к тому же, еще и возраст не вышел для того, чтобы участвовать в военных действиях. А потому единственно достойный выбор для него в такое непростое время — это не перечить тете, не срывать ее планы, а завершить образование, за которое, между прочим, уплачено не из его кармана, и в полной мере реализовать все свои творческие способности.

После очередного шумного скандала они и вовсе перестали видеться. Клиф перебрался к пастухам на горные пастбища, да и потом, когда стада овец спустились с гор, предпочитал проводить все свободное время в обществе простых поденщиков. На удивление всем, он близко сошелся с местным забулдыгой и дебоширом Альбертом Блеком, которого на ранчо звали просто Олби. В пристройке барака, где жили поденщики, стояло старое, расстроенное вдрызг пианино, и по вечерам Клиф развлекал рабочих своей игрой. Их громкие голоса, горланящие хором какую-нибудь народную мелодию или современную песенку типа «Танцующая Матильда», разносились далеко за пределы барака. Долетали они и до лужайки, на которой обычно Флосси в окружении своих домочадцев любила коротать время после ужина. Но в тот вечер, когда она исчезла, дружки Клифа отправились на танцы на соседнее ранчо, и Клиф предавался музицированию в полном одиночестве, извлекая из старого инструмента звуки, о существовании которых сам инструмент уже успел давно забыть.

— Вы только послушайте, как он играет! — снова повторил Артур Рубрик. — Замечательная игра! И мальчишка чертовски талантлив. Кто бы мог подумать, что на подобной развалине можно так играть! Под его руками расстроенное фоно звучит, как самый настоящий концертный рояль. Поразительно!

— Да! — поддержал его Фабиан после некоторой паузы. — Превосходная игра.

И что они прицепились к этому Клифу, раздосадованно подумала Урсула. Еще вопрос, захотел ли бы дядя Артур иметь с ним дело, если бы знал о том, что произошло у них в доме вчера поздно вечером. Тетя Флоренс так расстроилась тогда. Да и кто бы не переживал на ее месте?

А случилось вот что. Накануне вечером Маркинс услышал подозрительный шум в старой маслодельне, которую с недавних пор стали использовать вместо винного погреба. Лакей решил, что туда забралась крыса. Он приставил к окну лестницу, взобрался по ней и стал светить фонариком внутрь. Тусклый свет лампочки выхватывал из темноты ряды бутылок, покрытых пылью. Но тут снова раздалось какое-то странное шевеление. Маркинс посветил в тот угол, из которого доносился шум, и к своему удивлению, увидел физиономию Клифа Джонса, который мгновенно забился в темный угол. Маркинс потом красочно и во всех подробностях живописал всю сцену: какой безумный взгляд был у парня, и рот полураскрыт, а руками, красивыми и сильными руками пианиста, он сжимал бутылку коллекционного виски двадцатилетней выдержки из запасов Артура Рубрика. Застигнутый на месте преступления и ослепленный светом фонаря, парень от неожиданности выпустил бутылку из рук, и та, упав на цементный пол, разлетелась на мелкие осколки. Лакей, никогда не отличавшийся особой разговорчивостью, без лишних слов открыл дверь в маслодельню, зашел

в помещение и схватил воришку за шиворот. После чего приволок его в кухню. Правда, справедливости ради стоит сказать, что парень не оказал ни малейшего сопротивления и не попытался вырваться из рук Маркинса и убежать прочь. Кухарка, которая все еще возилась в кухне, пришла от услышанного рассказа в неописуемую ярость и тут же побежала за хозяйкой. Допрос преступника учинили прямо там. По словам Урсулы, миссис Рубрик была вне себя от гнева. От парня сильно несло дорогущим виски, но он упорно отрицал, что хотел украсть бутылку. Хотя дать какие-то внятные объяснения по поводу того, что именно он делал в погребе, Клиф отказался наотрез. Между тем, Маркинс снова сбегал в маслодельню и обнаружил возле самой двери еще одну улику: мешок из-под сахара, в котором были припрятаны четыре бутылки выдержанного виски, явно на вынос. Само собой, Флоренс поверила Маркинсу, а не Клифу, мямлившему что-то маловразумительное. Последовала грандиозная сцена выяснения отношений: Флосси обзывала бывшего любимца мелким воришкой и змеей, которую она пригрела на своей груди, обвиняла его во всех мыслимых и немыслимых пороках, в черной неблагодарности за то добро, которое она для него сделала. Клиф пришел в бешенство от подобных упреков и стал, в свою очередь, выдвигать встречные обвинения. Говорил, что она попросту хотела купить его своими подачками и что он не успокоится до тех пор, пока не вернет ей все, что она потратила на его обучение, все, до последнего пенса. Выяснение отношений приняло такой бурный характер, что миссис Рубрик почла за лучшее выпроводить кухарку и лакея вон из кухни. Далее разговор шел уже без свидетелей, но все закончилось тем, что Клиф как пуля вылетел из кухни, а Флосси, заливаясь слезами и дрожа от обиды и возмущения, прибежала к Урсуле и излила всю свою обиду ей. Артур Рубрик в тот вечер чувствовал себя неважно, а потому было решено не расстраивать его лишний раз и умолчать об инциденте с виски.

На следующее утро, то есть в день своего исчезновения, миссис Рубрик пошла домой к управляющему, но там ей сказали, что Клиф дома не ночевал. Его туалетные принадлежности тоже отсутствовали. Томми, взяв хозяйскую машину, ринулся на поиски сына к перевалу. В полдень он вернулся в имение вместе с Клифом, которого успел перехватить почти у самой развилки. Мальчишка валился с ног от усталости, что и неудивительно, ибо он успел отшагать за ночь более шестнадцати миль в расчете на то, что сумеет самостоятельно добраться до призывного пункта. Флоренс ничего не сообщила Урсуле о своем разговоре с управляющим после его возвращения на ранчо.

— Вот почему предложение дяди Артура о том, чтобы Клиф играл на танцах, — подвела она черту под этой частью своих воспоминаний, — было совсем некстати.

— Да мальчишка просто наглый щенок! А может, и похуже! — воскликнул Дуглас Грейс.

— Он все еще на ранчо? — поинтересовался Аллен, обращаясь к Фабиану.

— Да. В армию его так и не взяли, все из-за тех же проблем со зрением. А здесь он работает, и неплохо работает, надо сказать. Маркинс, само собой, рассказал все полиции, и те даже поначалу ухватились за эту ниточку. Чем не подозреваемый, в конце концов? Думаю, в деле его фамилия фигурирует достаточно часто.

— Да. Но только на начальном этапе следствия. Потом же его имя и вовсе перестает упоминаться.

— Это потому, что у него единственного в доме было более или менее прочное алиби. Все слышали, как он дрынкал на фоно все то время, пока мы сидели на лужайке, а потом искали эту проклятую застежку, то есть при-

близительно до девяти часов. Да и Маркинс собственными глазами видел его за инструментом, когда заглядывал в барак. К тому же, парень играл практически без остановки, лишь изредка делая короткие паузы не более минуты. Кстати, интересная вещь! С тех пор я никогда не слышал, чтобы Клиф играл, и даже не видел, чтобы он близко подходил к инструменту. А про тот вечер добавлю вот что еще: часов около девяти мать пошла за Клифом в барак и уговорила-таки его вернуться домой. Они вместе прослушали девятичасовой выпуск новостей по радио, а потом Клиф продолжил слушать трансляцию какого-то концерта классической музыки.

— Понимаю, со стороны, — продолжил Фабиан развивать тему Клифа, — поведение юного недоросля может показаться даже одиозным. Но уверяю вас, такие перепады настроения вполне в порядке вещей у столь чувствительных натур, как наш артистический гений. Судите сами! Накануне он крупно повздорил со своей благодетельницей, потом отмахал шестнадцать миль пешком, убегая из дому, то есть практически не спал всю ночь. Естественно, он был вымотан и физически, и эмоционально. Ничего удивительного, что он заснул прямо в кресле под звуки столь любимой им симфонической музыки. Мать сама уложила его в постель, а потом они с мужем еще долго, почти за полночь, беседовали о сыне. Когда миссис Джонс снова заглянула в комнату Клифа, он спал как убитый. Следовательно, к смерти Флосси он никак не причастен. Ведь даже инспектор, который вел расследование, сказал, что если бы миссис Рубрик была жива, то она непременно вернулась бы домой до полуночи. Прости меня еще раз, Урсула, за то, что я постоянно вклиниваюсь в твой рассказ. Итак, мы все сидим на лужайке. Клиф играет Баха. Замечательно играет, с учетом того, что из этого расстроенного пианино нельзя и двух аккордов извлечь без того, чтобы не сфальшивить. Флосси говорит исключительно о предстоящем митинге. Что дальше?

А дальше Флосси и Урсула совместными усилиями постарались отвлечь внимание мистера Рубрика от персоны Клифа, несмотря на то, что его игра постоянно напоминала о нем. Флосси начала озвучивать некоторые фрагменты своего будущего выступления, посвященного проблеме послевоенного трудоустройства всех, кто служит в действующей армии. Речь зашла о будущем законе наделения фронтовиков землей. «Мы сейчас как раз работаем над этим законопроектом, вылизываем его до блеска, — вещала она громким голосом. — Мы не имеем права даже на самую малую ошибку или досадный промах! Все должно быть учтено! Огромный комитет экспертов трудится над тем, чтобы… — обрывки фраз летели над погружающимся в вечерние сумерки садом. — Земля в хорошем месте… Весь необходимый инвентарь… Возможность безвозмездных кредитов… Фонд реабилитации раненых… Я планирую свое выступление не более чем на двадцать минут, и все!»

Да, но откуда ей лучше всего выступать? А почему бы не с пресса? Идея! — мгновенно загорается Флосси. В этом есть что-то символическое. Решено! На время митинга пресс превратится в некое подобие платформы для всех ораторов. Разумеется, если она взберется на пресс, то ее будет видно из самых дальних уголков огромного ангара. Нужно только подумать о дополнительном освещении. «Сейчас мы пойдем и все посмотрим прямо на месте!» — подхватывается со стула миссис Рубрик. И в этих словах вся Флосси: сказано — сделано. Такое впечатление, что внутри у нее вечный двигатель: она буквально источала энергию на окружающих. «Да, я сейчас же отправлюсь в сарай и проверю на месте, как звучит мой голос! — объявила она всей компании. — Дуглас, дорогой! Передай мне, пожалуйста, мою накидку!»

Дуглас бросился помочь, и в этот момент выяснилось, что на накидке отсутствует одна бриллиантовая застежка.

Пару бриллиантовых застежек в форме брошек-клипс Флосси подарил ее супруг по случаю их серебряной свадьбы. Второй зажим был на своем месте, переливаясь всеми цветами радуги. Потеря действительно была невосполнимой, а потому миссис Рубрик тут же безапелляционным тоном распорядилась начать поиски, ибо застежку надо во что бы то ни стало найти. Найти, и все тут!

Дуглас немедленно занялся организацией домочадцев на выполнение полученного приказа, а сама Флосси напутствовала их следующими словами.

— Не волнуйтесь! Вы ее быстро отыщете! Она ведь так сверкает: ее просто невозможно не заметить. Сейчас сами убедитесь. Я медленно пойду по дорожке в сторону сарая, а вы смотрите мне вслед. И увидите, как переливается вторая застежка на моей накидке. Итак, я пошла! Раз так получилось, то пойду одна. Проверю, как все это будет уже непосредственно на месте: и мой голос, и этот пресс. Просьба — не беспокоить. Другой возможности прорепетировать у меня не будет. Завтра мне вставать ни свет ни заря, а потому я хочу улечься спать пораньше, никак не позже десяти. А вы все на поиски! И смотрите внимательно под ноги! Не наступите на нее ненароком, иначе сломаете замок. Вперед!

Урсуле достался участок вдоль дорожки, которая огибала теннисную площадку справа между двумя рядами аккуратно подстриженных тополей. От листвы пахло свежестью и летним теплом. Эта дорожка отделяла теннисную лужайку от еще одной лужайки, которая простиралась дальше на юг и окаймляла дом с противоположной стороны. Вторая площадка тоже была со всех сторон окружена пешеходными дорожками. На ближайшей из них копошилась Теренс Лин. За лужайкой начинались овощные грядки — поисковая площадка Фабиана. Слева от Урсулы параллельно с ней вел свои поиски Дуглас. А лавандовые заросли за его спиной тщательно исследовал сам Артур Рубрик. Дорожка, обсаженная с двух сторон кустами лаванды, упиралась в дальнем конце усадьбы, уже ближе к забору, в две огромные клумбы, от которых вымощенная подъездная дорога вела к хозяйственным постройкам, дому управляющего, к сараю и к бараку, в котором квартировали сезонные рабочие.

— И пожалуйста, прошу вас! Никаких разговоров между собой! Будьте внимательны! — еще раз напутствовала их на прощание миссис Рубрик и свернула на тропинку между зарослями лаванды. Какое-то время Урсула молча смотрела ей вслед. Хрупкая фигурка тети Флоренс отчетливо выделялась на фоне вечереющего неба. Горы уже были не розовыми, а пурпурно-алыми, почти черными. Все казалось так близко и так рядом, что создавалось впечатление, будто миссис Рубрик уходит прямиком в горы. Еще какое-то короткое мгновение ее силуэт был виден среди зеленых зарослей, а потом внезапно она исчезла из поля зрения, словно растворилась в сгущающихся сумерках. И как оказалось, навсегда.

Урсула несколько раз внимательнейшим образом осмотрела теннисный корт, обошла со всех сторон площадку и вышла к парадному крыльцу. Ей предстояло еще осмотреть участок двора, расположенный между двумя лужайками. Дорожка петляла между рабатками, густо утыканными цветущими однолетниками. И девушка старательно заглянула под каждый цветок в надежде отыскать там пропажу. Клиф Джонс между тем стал откровенно дурачиться: он играл не просто громко, но с нарочитой бравурностью. Едва заканчивал один пассаж, как тут же начинал новый. Какая-то сплошная какофония звуков. Впрочем, скорее всего, он был просто зол, вот и вкладывал сейчас всю свою злость в исполнение мелодии, очень похожей на полонез. Там-та-там, та-там-та… Надо же, какой твердокожий! Развлекается себе полонезами как ни в чем не бывало. И это после вчерашнего скандала! Урсула даже выпрямилась от возмущения и оглянулась по сторонам.

Справа от нее рыскал по грядкам Фабиан и что-то весело насвистывал себе под нос. Напротив мелькала фигурка Теренс Лин, которая с не меньшим рвением проводила осмотр параллельной дорожки. Тополя, образовавшие своеобразную изгородь, время от времени скрывали участников поисковой операции друг от друга, но они почти каждую минуту перекликались, подбадривая друг друга.

— Ну, как успехи?

— Пока безрезультатно.

— А у тебя?

— Тоже по нулям.

Так продолжалось довольно долго, на улице стало совсем темно. Осмотрев все, что ей было велено осмотреть, Урсула свернула на тропинку, убегающую вглубь сада, и столкнулась с Теренс.

— Здесь искать незачем! — сразу же объявила ей секретарша. — Мы с миссис Рубрик даже близко не подходили к этому месту. На огород мы шли через лужайку.

Но Урсула напомнила ей, что они гуляли здесь с тетей Флоренс еще днем, пока Фабиан и Дуглас упражнялись между собой в теннисном мастерстве.

— Да, но тогда-то застежка точно была на месте! — резонно возразила ей Теренс. — Мы бы сразу ее хватились, если бы она исчезла. И потом, я все уже тут осмотрела, так что тебе делать нечего. Помнишь, о чем предупреждала нас миссис Рубрик? Не болтать, а заниматься делом.

Они еще немного поспорили насчет того, что именно в их случае следует считать делом. А потом каждая вернулась на свой участок, и поиски возобновились с новой силой. Справа от себя Урсула увидела вспыхивающие и тут же исчезающие огоньки.

— Вот вам фонарик, дядя Артур! — услышала она голос Дугласа. А буквально через пару минут нашлась и злополучная застежка. Она преспокойно лежала себе в клумбе с цинниями, почти рядом с зарослями лаванды.

— Дядя Артур рассказывал потом, — Урсула взглянула на Аллена, — что он просто машинально посветил в то место и вдруг увидел вспыхнувшие голубые искорки. Тогда они с Дугласом стали орать как ненормальные: «Мы нашли ее! Ура! Мы нашли!», и мы сбежались на их вопли, а потом все вместе снова вернулись на теннисную площадку. Правда, я еще сбегала на дорогу, которая ведет к сараю. Но даже издалека мне было хорошо видно, что в сарае совершенно темно, ни огонька, и я подумала, что тетя уже наверняка вернулась домой. Мы тоже не замедлили последовать ее примеру. Помню, мы уже вошли в холл, как музыка вдруг прекратилась. У меня еще тогда мелькнуло: с чего бы это Клиф так внезапно перестал играть.

Но мысль мелькнула и тут же пропала бесследно. К тому же, все смертельно устали, и на такую мелочь никто не обратил внимания. Они вошли в столовую как раз тогда, когда начались девятичасовые новости по радио. Но Фабиан почти сразу же выключил радио. Артур Рубрик с трудом уселся за стол, он едва дышал, лицо его было налито кровью, и вид у него был совершенно разбитый. Теренс Лин молча плеснула в стакан немного виски и подала ему. Запах спиртного снова напомнил Урсуле о той безобразной сцене, которая разыгралась накануне. Дядя Артур тихо прошелестел слова благодарности секретарше, потом достал из кармана брошку и протянул ее Урсуле.

— Сейчас же отнесу ее наверх тете Флоренс! — подхватилась она со своего места. — Тетю обрадует известие о том, что пропажа нашлась.

Урсула вышла в холл и направилась к лестнице. И в этот момент она вдруг особенно остро поразилась странной тишине, царившей в доме. Она даже остановилась и прислушалась. Ни звука кругом! Удивительно! Обыч-

но за день старый дом нагревается на солнце, а потом вечерами, и особенно ночью, бревна начинают издавать слабое потрескивание, похожее на легкие вздохи. Но сейчас в доме стояла мертвая тишина. Комната Флосси располагается прямо напротив лестничной площадки. Урсула подошла к двери и снова прислушалась. Тихо, что тоже показалось ей удивительным, ибо за тетей Флоренс водилась одна маленькая слабость. Она сильно храпела по ночам. Собственно, именно по этой причине они с мистером Рубриком и разъехались в последние годы по разным спальням. У дяди Артура был чуткий сон, а Флосси храпела, как паровоз, мешая мужу спать. Но на сей раз, из-за закрытой двери спальни не доносилось ни храпа, ни даже слабого посапывания. Какое-то время Урсула бестолково потопталась возле запертой двери, украшенной тетиным объявлением, которое та написала от руки и прикрепила к дверной ручке.

«Просьба не стучать в дверь, чтобы не услышать в ответ злобное рычание».

Слышать в ответ злобное рычание Урсуле вовсе не хотелось, и все же молчание за дверью ее обеспокоило. Она даже почувствовала, как легкий холодок пробежал по ее спине. Однако просьба есть просьба, а потому девушка пошла в свою комнату, взяла небольшой листок бумаги и написала коротенькую записку. Всего лишь пару фраз. *«Мы нашли ее. Счастливого пути, дорогая тетя Флоренс. Будем слушать тебя по радио. Целую, Урсула».* Потом она вернулась к спальне Флосси и просунула записку под дверь. И снова никаких звуков изнутри.

Урсула спустилась в столовую в некоторой задумчивости. Яркий свет люстры после полумрака, царившего на лестнице, в первую минуту ослепил ее. Секунду, вторую она молча стояла в дверном проеме и разглядывала сидящих вокруг стола домочадцев.

— Удивительно, как порой в памяти откладываются всякие пустяки, которым на тот момент ты не придаешь никакого значения, — задумчиво обронила Урсула и замолчала, словно снова увидела перед глазами картину годичной давности. — Разве могла я знать тогда, насколько важной впоследствии окажется каждая деталь, каждая незначительная, на первый взгляд, подробность? Итак, что я тогда увидела? Терри стояла возле дяди Артура, примостившись за спинкой его стула. Фабиан раскуривал очередную сигарету. Не знаю, почему, но мне вдруг стало тревожно за него. Наверное, я подумала, что он переутомился за день, и вид у него очень усталый. Дуглас, неестественно выпрямившись, сидел на стуле спиной ко мне. Но когда я вошла, они все разом повернулись в мою сторону. Им ведь было интересно, как прореагировала тетя Флоренс на мое известие. Однако сейчас, по прошествии более года с того страшного дня, мне кажется, что на всех лицах застыл немой вопрос: «Она у себя?» Вот я и ответила им так, как они того хотели: «Тетя у себя в комнате. Она уже спит».

— А вам тогда не показалось странным, что миссис Рубрик не спустилась вниз, чтобы поинтересоваться, нашли ли вы ее драгоценность?

— О нет! Ничуть! Это вполне в духе тети Флоренс: все организовать, начать дело и оставить другим доводить его до конца. Она всегда была уверена в том, что все будет сделано так, как надо. Вот за это я ее особенно любила! Она не была занудой! Не стояла у тебя над душой и не мешала работать.

— Да, она была очень эффективным диктатором, — согласился с девушкой Фабиан. — Озвучивала свою волю, а ты уж сам исполняй ее. Прекрасная организация труда!

— А! В тебе просто говорит самая обычная мужская ревность, — беззлобно поддела его Урсула.

— Возможно! — рассмеялся он в ответ.

— Вообще в тот вечер везде было необычно тихо, — возобновила свой рассказ Урсула. — И в столовой тоже. Никаких разговоров. Наверное, мы просто все страшно устали за день. А потом еще эти нудные поиски. Словом, мы еще немного посидели все вместе, помолчали, а потом, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по своим комнатам. У нас ведь здесь настоящая деревня, мистер Аллен, и все мы привыкли вставать засветло. Кстати, завтрак у нас в шесть пятнадцать утра. Как вам такой распорядок дня?

— Вполне устраивает!

— Вот и отлично! Тогда продолжаю. Мы поднялись наверх и, стараясь не шуметь, пошли каждый к себе. Моя комната — в самом конце коридора: окна выходят на боковую лужайку. Комната Терри — напротив спальни тети Флоренс, следом ванная комната, а напротив ванной — спальня дяди Артура. Между спальнями супругов — гардеробная. Однажды ночью у дяди случился острый сердечный приступ, и с тех пор тетя всегда оставляла дверь в гардеробную со своей стороны полуоткрытой, чтобы слышать, что делается в спальне мужа, и в случае чего вовремя прибежать к нему, если он начнет звать ее. Позднее дядя Артур признавался нам: его несколько озадачило тогда, что ее дверь в гардеробную была плотно закрыта. Он не поленился, подошел к двери, чуть приоткрыл ее и прислушался. И тоже удивился, что тетя спит так тихо, без храпа.

В противоположном конце коридора располагаются комнаты Фабиана и Дугласа, а комнаты для прислуги у нас находятся в задней части дома. Когда я, облачившись в халат, направилась в ванную комнату, то столкнулась в коридоре с Терри. И обе мы явственно слышали, как дядя Артур тихо ходил по своей комнате. Я глянула в конец коридора и увидела Дугласа, а рядом Фабиан застыл, словно изваяние, в дверях своей спальни. У каждого из нас была в руке свеча, и оттого мы все казались привидениями. Никто не проронил ни слова, а только напряженно вслушивался в ватную тишину, заполнившую все вокруг. Я часто спрашивала себя, что мы пытались услышать. Думаю, никто из нас не сумел бы внятно объяснить свои тогдашние ощущения. Потом, вспоминая тот вечер, все мы были едины в одном: что-то необычное было и в общей атмосфере в доме, и в состоянии каждого из нас. Не то чтобы атмосфера была гнетущей, нет! Но какая-то всеобщая растерянность витала вокруг, растерянность и беспокойство. Предчувствие, что ли? Когда я улеглась в кровать, то долго лежала без сна. А когда, наконец, уснула, мне снились всякие кошмары. То я как безумная металась в каких-то мрачных подземельях, тщетно пытаясь найти там бриллиантовую застежку. То очутилась в огромном помещении, похожем на тот сарай, где мы храним шерсть. И тут какой-то голос сказал мне, что застежка где-то здесь, среди тюков с шерстью. Но я никак не могла пробиться в тот угол, потому что митинг уже начался, и тетя Флоренс, взобравшись на платформу и стоя у самого края импровизированной трибуны, начала свое выступление. И мне стало ужасно стыдно: дескать, и брошки не нашла, и к началу митинга опоздала. Я снова куда-то побежала, объятая ужасом, как это бывает в страшных снах, помню еще, что за мной гнались. Я бы не стала докучать вам пересказом всей этой галиматьи, если бы не одно обстоятельство. В конце концов я оказалась возле темной лестницы, точно зная, что именно здесь я найду брошь. Лестница слегка поскрипывала, как обычно скрипит наша лестница по ночам, и я поняла, что меня кто-то опередил и сейчас крадучись взбирается наверх, чтобы забрать брошь, но в этот момент я прохватилась, вся в холодном поту. Но вот что меня тогда поразило! — Урсула вперила свой немигающий взор в Аллена. — По нашей лестнице действительно кто-то шел. Я даже слышала, как он поднялся наверх и пересек лестничную площадку.

Все вдруг зашевелились. Фабиан поднялся с пола, подошел к коробу, в котором лежали дрова, и подбросил в огонь новое полено. Дуглас пробормотал что-то нечленораздельное себе под нос. Теренс Лин отложила в сторону вязание и скрестила на коленях свои ухоженные ручки.

— А куда именно шел этот человек? Вы разобрались, в каком направлении он крался? — спросил Аллен.

— Трудно сказать. Вы ведь понимаете, как все было. Реальные звуки наложились на то, что я только что видела во сне. В первую минуту шаги показались мне ирреальными, а когда я окончательно пришла в себя, то они уже затихли. Но я точно знаю, что шаги были, и наяву, а не во сне.

— Наверное, это наша кухарка возвращалась с вечеринки, — предположила Теренс Лин.

— Нет, она сама говорила, что вернулась к себе в начале второго. А я проснулась где-то около трех. Потому что минут через пять я услышала, как часы с боем внизу пробили ровно три раза.

— Ну, вернулась-то она, может быть, и раньше, но пока еще возилась внизу, зашла в кухню, попила воды, мало ли что еще? — прокомментировал услышанное Дуглас.

— Ах, оставь, Дуглас! Она, по-твоему, пила воду полтора часа? И потом, с какой стати миссис Дак стала бы взбираться к себе в комнату по нашей лестнице? Она бы точно вошла в дом с черного входа. Поймите меня правильно, мистер Аллен! Я ничего не утрирую и не хочу сказать, что эта мелочь имеет какое-то принципиальное значение. Тем более сейчас, когда мы точно знаем… знаем, что все случилось не дома… По крайней мере, так утверждают полицейские. Но что бы там ни говорили, я остаюсь при своем мнении! — Урсула резко вскинула вверх подбородок и обвела присутствующих немигающим взглядом. — Без пяти минут три кто-то ходил по нашей лестнице!

— И этим «кем-то» вполне могла быть сама Флосси! — задумчиво обронил Фабиан.

Продолжение следует.

Перевод с английского Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.





Макс ГЕРМАН-НАЙСЕ

Всю жизнь я чуда ждал...

От переводчика

Будущий поэт Макс Герман родился в городе Найсе в Силезии (ныне город Ныса в Польше). С детства страдал особым заболеванием — карликовостью. В 1905—1909 годах изучал литературу в университетах Мюнхена и Бреслау, однако не закончил курса, решив стать свободным писателем. В 1911 году в журнале «Die Aktion» появились его первые публикации, оставшиеся почти незамеченными критикой.

В 1914 году вышел его первый поэтический сборник «Она и город», за который десять лет спустя он был удостоен литературной премии Айхендорфа. В 1916—1917 годах поэт теряет родителей, вскоре женится на своей подруге Лени Гебек. В это время он активно общается с берлинскими литераторами, принадлежащими к социалистическим и анархистским кругам. Тогда же прибавляет к фамилии название своего родного города Найсе.

В 1919—1933 годы ему сопутствует успех. Три книги его стихов и пьеса были встречены литературной общественностью с воодушевлением. В Берлине ставят спектакль по его пьесе. В 1920-е годы он также принимается за прозу: пишет автобиографический роман и новеллы. Эти произведения носят на себе отпечаток явного влияния писателей-экспрессионистов. Сборником рассказов «Встреча» (1925) он намечает поворот к стилистике «новой вещественности». К концу 1920-х годов Герман-Найсе становится одним из самых известных литераторов Берлина; в 1927 году ему присуждают престижную премию Герхарта Гауптмана.

В 1933 году, вскоре после прихода нацистов к власти и поджога Рейхстага, поэт решает эмигрировать. Он уезжает в Швейцарию, а затем через несколько европейских стран перебирается в Лондон. Все это время материальную помощь Герману-Найсе оказывает один из состоятельных ценителей его творчества. В 1936 году он основывает в Лондоне «ПЕН-центр немецких писателей в изгнании», однако поддержки не находит и остается практически в изоляции. Немецкого гражданства он был лишен нацистами, а английского так и не смог добиться, несмотря на неоднократные просьбы. Стихи этого периода его творчества стали классикой немецкой эмигрантской поэзии.

Долгое время творчество Германа-Найсе было мало изучено и почти забыто в Германии. Однако в конце 1980-х годов произошло новое открытие поэта. Были переизданы его произведения, в частности вышло 10-томное полное собрание сочинений. На русский язык произведения Германа-Найсе практически не переводились.

Утро предместья

Я — утро, и предместье мне дарит
дыханье лип средь спящих, онемелых,
безлюдных улиц в виллах ярко-белых,
и пусть чужак путь на вокзал торит!

Где вкруг тележки с молоком толпятся
растрепы-девушки и чей-нибудь сынок
идет от пекаря, и чуть не валят с ног
его собаки с улицы и злятся,

и пареньки скребут гнедых, зевая
и мир зеленым ставнем закрывая,
и весь в цвету пред магазином сад —
где бедный люд спешит на труд фабричный,
и дальние часы бьют семь привычно,
зеленый, красный, белый здесь царят!

Музыка зимней ночи

Герману Гессе

Так полон воздух музыкою мрачной,
я ночью бодр, а двор весь замело.
Бряцая старой крышею чердачной,
вздымает ветер снежное крыло.

Небесным эхом в звонах леденящих
сведен к издевке каждый звук земной.
И ночь роднит всех одиноко спящих,
вздыхающих за тонкою стеной.

И, сердце к сердцу прислонив укромно,
мечтатели дыханьем греют сад.
И эта ночь обвешала все кроны
разлук воспоминаньем и утрат.

И фонари вдоль темного канала
звучаньем озаряют парапет.
И отражает лед, звеня помалу,
луч за лучом неяркий звездный свет.

К самоубийству манит род наш бренный
тоска-колдунья пеньем роковым.
С пропавших кораблей поют сирены,
кружа напрасно над глухонемым.

Он к мерзлой почве жмется, неудачник.
Что скажет ночь ему, не знает он.
И в этих песнях, может, слишком мрачных
смех веселит и ужасает стон.

Мое сердце сожжено

Да, сердце сожжено. Тропа пряма.
Гоним осенним ветром и тоскою,
теперь я знаю — впереди не тьма,
куда клонюсь я к вечному покою.

Бог, ты молчишь. О, если б в день былой
Ты мне из леса райского ответил!
Да, сердце сожжено. Его золой
играет, вороша, осенний ветер.

Что мне трудиться, тосковать о чем?
Что ночь таращится с небесной тверди?
На сердце пепел. И Харона челн
несет меня лишь к пробужденью в смерти.

Только любовь может быть вечной

Свод небес над улицей презренной
расцарапывает ночью Бог,
с вянущих розариев вселенной
стряхивая лунный лепесток.

Кулаками, кровью налитыми,
снизу бьет Его свет фонарей,
прячутся потемки в золотые
очи древних башен и церквей.

Свет слепит дворцы, скользя по липам,
и шатает тени от дерев,
испаряется с предсмертным хрипом
площадей раздробленных напев.

Из подвалов, спящих беспокоя,
льются хрипы пьяных и калек —
Бог накрыл спасительной рукою
с краткой лаской их ночной ковчег.

Будет гладить Он дворцов руины,
пятна голых, словно череп, мест,
чтобы вставшим — с любящею миной
показать благословенья жест.

Бездыханная ночь

Отче, Ты моей работы скудной
тишину смог небом превзойти,
ах, чтобы усталость жизни трудной
от себя подальше отвести!

Прежде звона истины всегдашней
вздох растает, нас неся во тьму, —
и, стыдясь, колеблясь, клятвой страшной
проклинаю все, молюсь чему.

И тот свет, меня влекущий к залу,
где Ты ждешь, мной высмеян давно, —
и сквозь льдинки слез гляжу устало
в ночь, где бездыханно и темно.

Странная упряжка

Из времен глубоких всплыв наружу,
каждый полдень в тот же самый час,
шатко парком по пути тому же
катит старомодный тарантас.

Никнет с козел кучер лет преклонных,
кляча похоронною трусцой
круг привычный совершает сонно.
А внутри в накидке меховой

мумия, древнее фараона,
кожею обтянутый скелет,
примечает с места, словно с трона,
есть в ротонде астры или нет.

Неподвижной группой, как из воска,
люди ждут здесь зрелища, пока
ровно в полдень странная повозка
не покажется издалека.

Из окна кивает немощь тяжко,
все кивают — кучер и одер,
и полдневных призраков упряжка
в заколдованный вернется двор.

И вечер зря прошел… и день впустую…

Я вновь в оранжерею эту сослан,
где крик без эха стеклами зажат
и грезы, как заснеженные сосны,
над догоревшим фитилем дрожат.

И вечер зря прошел… и день впустую…
Разбито сердце и, куда ни глянь,—
решетки, где молчат, не протестуя,
и соловьи, и трепетная лань.

Едва запел я — у стеклянных стен
собрался лес, пришел он, как вдовец,
к оранжерее, к собственной могиле.

И словно раб, он не встает с колен,
моей тоскою призван наконец,
чтоб вместе встретить смерть свою могли мы.

Песня о любви на улицах

Я думал о тебе
при каждой горести моей вчерашней,
при бое часа каждого на башне,
в немой мольбе.

Чу, песенка твоя!
Со мной собака верная бежала,
чтоб не ушибся я — предупреждала, —
чтоб не свалился я.

Не упрекай вдогон,
коль улыбнусь из девушек кому-то,
ведь я о ней не вспомню чрез минуту,
тобой воспламенен.

Ввалился я домой:
не горсть золы, а победитель смерти,
и в день, и в ночь счастливейший на свете,
всегда лишь твой,
всегда лишь только твой!

Старость

Я постарел — душа все чуда ждет,
но поцелуй весны не возвратится.
Пред смертью на колени день встает
и ночь ее всевластия страшится.

Стою меж ними, пред твоим лицом
обескуражен: ты меня забыла?
Твой взгляд молчит — тебе я незнаком?
Рука в руке — ужели это было?

Порадуй добрым словом старика,
утешь меня и улыбнись сестрой мне!
Я — у перил моста: мир, как река,
течет во тьму и в мир потусторонний.

Один лишь взмах позволишь ты руке
прекрасной, узкой — жизнь моя прервется.
Мои инициалы на песке
начертишь — имя им не отзовется.

Уже я пред всевластьем смерти пал,
над головой я вижу тучу злую.
Я постарел — всю жизнь я чуда ждал,
мне юность не подарит поцелуя.

Изгнание

О, счастья уголок, потерянный навек,
ты летом по шоссе меня вел прямо к Богу —
Теперь контора мне — тюрьма, и человек
за мелочи меня отчитывает строго.

Цистерны нежности в родимом уголке,
где верен обиход привычному уюту, —
как изменился я, заброшенный, тоске
и скорби подчинен в жестокую минуту!

Невольничьим трудом, как идолом, гоним,
свободы от страстей я жду, застенчив, мрачен, —
ах, был тебе я сыном дорогим,
о, счастья уголок, что мной навек утрачен!

Без родины

Вот лабиринт чужбины перед нами,
отчизну потеряв, мы кружим в нем.
Доверчиво болтают пред вратами
аборигены с летним ветерком.

Он веет занавеской осторожно,
покой обманный сладок и тягуч,
и комната нам кажется надежной,
и вновь пред нами заперта на ключ.

Бездомных кошек сброд на перекрестке
и нищие, что спят, обжив газон,
не так из жизни выкинуты жестко,
как тот, кто счастья родины лишен.

И нет на нем вины, и нет измены,
и он блуждает среди стен глухих.
Пред входом гомонят аборигены
и знать не знают, что мы тени их.

Элли

Оставил в прошлом я так много,
так мало взял, я признаю, —
мои страданья, песнь мою
и счастьице мое в дорогу!

И что мне грезится в остатке:
дух локонов — как бы дымок,
звук голоса, шаг стройных ног —
от счастьица, что было сладко?

Пал занавес, что только частью
был освещен; ушел и я.
Вы, песнь моя, печаль моя, —
все, что осталось мне от счастья!

Очень невоспитанный сонет

***(дамам Райнкобер, Дручманн,
Руферт и др. в альбом)***

Трагично: ваши кукольные лики
в меня глядят стеклянными глазами;
то злюсь, то всхлипну, то ликую с вами.
Жеманность и кокетство — ваши пики.
(Как рыбку чешуя, вас красят блики.)

Комично: ваши кукольные лики
в улыбке губ, раскрашенных помадой,
над яркостью одежд, приманки взгляда,
очерчены кружком и невелики.

Трагикомично то, что вечно мы,
мы, простаки влюбленные и дурни,
все ждем от вас сердечной страсти бурной
и молим: о богиня, обними!
И славим в песнях ваши глазки, букли,
а нет бы — просто поиграли в куклы!

Перевод с немецкого Георгия КИСЕЛЕВА.



Эмануил ИОФФЕ

Он предъявил ультиматум Ежову и Сталину

Генерал Александр Орлов: известный и неизвестный



Белорусская земля дала миру не только известных ученых, писателей, художников, композиторов, государственных деятелей, но и талантливых разведчиков, бойцов «невидимого фронта». Это Петр Ивашутин и Наум Эйтингон, Яков Серебрянский и Кирилл Орловский, Юрий Дроздов и Иван Дедюля, Михаил Мукасей и Алексей Ботян. Особое место в этой когорте занимает генерал Александр Орлов. Он с 1924 года неоднократно встречался со Сталиным, который лично в 1936 году — накануне командировки в Испанию присвоил ему псевдоним «Орлов».

Его настоящие имя и фамилия — Лейба Лазаревич Фельдбин. Кроме этого, в разные годы своей деятельности Орлов имел такие имена и фамилии: «Лев Лазаревич Никольский», «Лев Леонидович Николаев», «Фельдель» / «L. Feldel», «Уильям Голдин» / «William Goldin», «Швед», «Игорь К. Берг» / «Igor K. Berg», «Левон» / «Levon».

Он родился в Бобруйске 21 августа 1895 года в семье Лазаря и Анны Фельдбиных. Как видно из досье А. Орлова, хранящегося в ФБР, у него была сестра, которая стала впоследствии зубным врачом в Москве и умерла в 1918 году. Их отец родился в многодетной семье евреев-ашкенази, переселившейся из Австрии в лесную глубинку белорусских земель Российской империи в конце XVIII века, незадолго до нашествия войск Наполеона в 1812 году.

Дед Льва Фельдбина по отцовской линии создал процветающее лесопромышленное предприятие, стал одним из столпов бобруйской синагоги и одним из ее главных благодетелей. А отец Льва — Лазарь Фельдбин занимался лесоторговлей и смог дать сыну хорошее образование. В 1915 году в связи с военными действиями на территории Беларуси семья Фельдбиных переехала в Москву.

Школьные успехи и способность к рисованию помогли Льву поступить в Лазаревский институт восточных языков, который готовил своих выпускников к дипломатической и консульской службе, и одновременно на юридический факультет Московского университета.

В 1916 году он был мобилизован в армию и служил рядовым 104-го пехотного полка на Урале. В 1917 году Фельдбин был переведен в студенческий батальон в Царицыне, а затем успешно прошел курс обучения в школе прапорщиков.

С ноября 1917-го до середины 1918 года Фельдбин возглавлял информационную службу Верховного финансового совета (по другим данным, он занимал должность заместителя заведующего справочным бюро Высшего финансового совета. — *Э. И.*).

В 1919 году Лев Фельдбин вступил в Красную Армию и был зачислен в Особый отдел 12-й армии. Он был следователем, уполномоченным по борьбе с контрреволюцией, старшим следователем Особого отдела 12-й армии, участвовал в ликвидации контрреволюционных организаций в Киеве.

Советско-польская война 1919—1920 годов принесла Льву Фельдбину быстрое продвижение по служебной лестнице. Вскоре он стал руководителем диверсионных операций в 12-й армии Юго-Западного фронта, лично возглавлял операции на оккупированной польскими войсками территории и служил примером для красноармейцев, которыми командовал. Здесь он был замечен особоуполномоченным Особого отдела ВЧК Артуром Артузовым и переведен в Москву, а затем в Архангельск.

В мае 1920 года Фельдбин стал членом РКП(б), а в декабре 1920-го — июле 1921 года начальником Агентурно-следственного отдела Особого отдела ВЧК по охране северных границ, заместителем начальника Секретно-оперативной части того же отдела, начальником Следственно-розыскной части и заместителем заведующего Секретно-оперативной части Архангельской губернской ЧК. Одновременно Лев Фельдбин был особоуполномоченным по фильтрации белых офицеров Архангельской ЧК.

Поскольку он стал оперативным работником, то в целях конспирации поменял фамилию и стал Никольским Львом Лазаревичем.

Уже в июле 1921 года он возвратился в Москву в связи с назначением на должность следователя Верховного трибунала при ЦИК РСФСР, а затем при ВЦИК. С января 1923 года Никольский становится помощником прокурора Уголовно-кассационной коллегии Верховного Суда СССР. В Верховном трибунале он работает под руководством видного юриста и государственного деятеля Николая Крыленко, принимает участие в составлении первого Уголовного кодекса, введенного в Советском Союзе.

В 1924 году после трехлетнего обучения в Школе правоведения при МГУ и получения диплома юриста Никольский был направлен в ОГПУ: начальником 6-го отделения (май 1924—1925), начальником 7-го отделения и помощником начальника Экономического управления ОГПУ.

В фондах секретных архивов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки отмечается, что в 1925—1926 годах А. М. Орлов был начальником пограничной охраны гарнизона Сухуми.

В связи с этим авторы книги «Роковые иллюзии» отмечают: «В конце 1925 года Орлов уехал из Москвы в Закавказье. Это срочное назначение было вызвано тем, что его контрразведывательный опыт потребовался командованию пограничных войск ОГПУ в Закавказье. Там он был обязан обеспечить надежную охрану границы от любых внешних вторжений, которые помешали бы советским операциям по подавлению разрастающихся волнений среди населения Абхазии. Назначение благословил сам Иосиф Сталин.

Разместив свой штаб в городе Сухуми, Орлов как бригадный командир получил под свое командование шесть полков. Но его войска численностью 11 000 человек были рассредоточены на слишком большой территории. Обеспечивать охрану по всей протяженности южных границ Советского Союза с Персией и Турцией было непростой задачей, поскольку гористая местность была в течение многих веков прибежищем бандитов и мятежников. На этом трудном посту Орлов продемонстрировал свои незаурядные организаторские способности, добиваясь максимальных результатов минимальными средствами. Борьба с мятежниками требовала работы в тесном сотрудничестве с начальником регионального ОГПУ Лаврентием Берией, членом сталинской «Грузинской мафии», которого Сталин впоследствии продвинул на должность начальника НКВД (точнее, Наркома внутренних дел СССР. — *Э. И.*)» (Царев О. Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера шпионажа / О. Царев, Дж. Костелло / М., 2011. С. 36—37).

Летом 1926 года Орлов получил первое назначение на работу за границей. Резидент в Париже, он работал под именем Льва Николаева и под прикрытием должности сотрудника советского торгпредства во Франции.

В январе 1928 года Александра Орлова направили в Берлин в качестве сотрудника резидентуры Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ СССР под именем Л. Фельделя и под прикрытием должности торгового советника полпредства СССР, которое являлось тогда главной европейской базой растущего аппарата советской внешней разведки.

В 1929 году его главным подчиненным в тайных операциях по закупке военных материалов был Павел Аллилуев, назначение которого на эту должность было санкционировано наркомом обороны СССР Климентом Ворошиловым. Мало кто тогда знал, что это был брат второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой.

Решение Сталина направить своего шурина на работу под началом Орлова свидетельствовало о том, что он придавал большое значение тайному сотрудничеству, которое открывало советским вооруженным силам доступ к германской технологии производства вооружений.

В 1930 году А. Орлов был отозван в СССР и назначен начальником 7-го отдела ИНО ОГПУ.

В сентябре 1932 года с документами на имя Льва Леонидовича Николаева и под прикрытием должности представителя треста «Льноэкспорт» он прибыл немецким лайнером «Europa» в Нью-Йорк. Под этим же именем Орлов записался слушателем годичного курса английского языка в колумбийском университете. Во время пребывания в США он сумел приобрести подлинный американский паспорт на имя William Goldin. 30 ноября 1932 года Орлов выехал из Нью-Йорка на лайнере «Bremen».

Весной 1933 года с документами на имя У. Голдина он был командирован в Париж, где возглавил нелегальную группу «Экспресс», которой была поручена агентурная разработка 2-го бюро (военная разведка) Генерального штаба Франции. В рамках этой миссии в декабре 1933 года Орлов выезжал в Рим. Весной 1934 года он был опознан в Париже бывшим сотрудником торгпредства СССР и в мае 1934 года отозван в Москву.

В июле 1934-го — октябре 1935 года Александр Орлов являлся резидентом-нелегалом в Лондоне, где работал под прикрытием должности представителя «American Refrigerator Compani», кодового имени «Швед» и документов на имя У. Голдина. Он контролироал деятельность завербованного агентом А. Дейчем («Ланг») Кима Филби («Сынок»).

В 1935-м ему было присвоено звание майора госбезопасности, приравненное в 1945 году к рангу полковника.

С октября 1935-го по сентябрь 1936 года Орлов формально служил заместителем начальника Транспортного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, но фактически он работал в ИНО НКВД СССР, где курировал деятельность впоследствии всемирно известной «кембриджской группы» («Кембриджской пятерки») во главе с Кимом Филби (Филби, Маклин, Берджес, Кэрнкрос, Блант) .

Через три дня после того как Испания превратилась в арену европейской борьбы между силами фашизма и левых, 20 июля 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило кандидатуру Орлова для направления в Испанию. По его словам, сам нарком внутренних дел СССР Ягода представил кандидатуру Орлова Сталину на утверждение, после того как она была одобрена НКВД.

Сентябрь 1936 года ознаменовался пиком карьеры Александра Орлова. Именно в это время он был командирован в качестве резидента и главного советника по внутренней безопасности и контрразведке в Мадрид. Орлов работал под прикрытием в должности атташе полпредства по политическим вопросам. По словам Орлова, выбор для назначения на этот пост остановился на нем по той причине,

что из всех офицеров НКВД он один, как считалось, обладал требуемым опытом в партизанской войне, контрразведке и зарубежных операциях.

То, что Сталин приказал НКВД направить туда одного из ведущих мастеров разведки, составляло лишь один из элементов быстрого расширения советского военного и дипломатического присутствия в Испании. Орлову поручались ответственнейшие секретные задания, одним из которых была успешная доставка золота Испанской республики в Москву.

Во время службы в Испании, точнее, осенью 1936 года, на Орлова была возложена обязанность организовать отправку на хранение в СССР испанского золота.

В сейфах испанского банка хранился четвертый по величине золотой запас в мире — золотые слитки на сумму 2 367 000 000 песет, или около 783 миллионов долларов. В августе 1936 года 155 миллионов долларов из этого огромного золотого запаса были переправлены во Францию, чтобы кредитовать поставки истребителей и танков.

В тот момент, когда военное счастье отвернулось от республиканцев после падения Толедо, в конце второй недели октября 1936 года, премьер-министр Ларго Кабальеро и министр финансов Хуан Негрин предложили отдать Советскому Союзу на хранение испанские золотые запасы. Сталин ухватился за представившийся случай получить полмиллиарда долларов под стоимость оружия и услуг советников. Он возложил на наркома НКВД Ежова общую ответственность за доставку золота в Москву. Ежов послал Орлову тайный приказ принять необходимые меры.

В шифрованной телеграмме Ежова от 20 октября 1936 года говорилось: «Передаю вам личный приказ «Хозяина» (так между собой называла Сталина правящая элита СССР. — *Э. И.*)… Вместе с послом Розенбергом договоритесь с главой испанского правительства Кабальеро об отправке золотых запасов в Советский Союз. Используйте для этой цели советский пароход. Операция должна проводиться в обстановке абсолютной секретности. Если испанцы потребуют расписку в получении груза, откажитесь это делать. Повторяю: откажитесь подписывать что-либо и скажите, что формальная расписка будет выдана в Москве Государственным банком. Назначаю вас лично ответственным за эту операцию. Розенберг проинформирован соответственно» (Царев О. Роковые иллюзии / О. Царев, Дж. Костелло. М., 2011. С. 292—293).

Послание было подписано «Иван Васильевич». Так Сталин подписывал самые секретные послания. Орлов прекрасно понимал, что означала эта телеграмма: он отвечал головой в случае неудачи.

Когда Александр Михайлович добрался до пещеры, где было спрятано золото, он увидел, что она забита тысячами деревянных ящиков одинакового размера и тысячами мешков, уложенных друг на друга. В ящиках находилось золото, а в мешках были серебряные монеты. Шестьдесят моряков-подводников ожидали там наготове. Это было сокровище Испании, накопленное испанской нацией за века!

Основная часть золотого запаса Испании была тайно перевезена в порт Картахена в 7900 ящиках. Даже главному военно-морскому советнику — будущему Наркому Военно-морского флота СССР Н. Г. Кузнецову, руководившему отправкой, сообщили, что это никель для танковой промышленности.

На завершение всей операции потребовалось три ночи, поскольку перевозить золотые слитки днем было невозможно из-за постоянных воздушных налетов.

Каждый ящик весил 145 фунтов и содержал огромную сумму в золотых слитках, золотых песетах, французских луидорах и английских соверенах. На рассвете третьего дня число ящиков, по подсчетам Орлова (7900 ящиков), оказалось на 100 больше, чем по официальным данным испанцев. Он решил на этом этапе не ставить под сомнение правильность подсчетов испанского министра финансов,

опасаясь, что если счет начальника испанского казначейства Мендеса-Аспе окажется правильным, то Сталин обвинит его в присвоении двух грузовиков золотых слитков.

После отбытия из Картахены четырех окрашенных в серый цвет грузовых судов Орлов сообщил в Москву об их отправке двумя отдельными шифротелеграммами: в первой он предупреждал штаб-квартиру НКВД о том, что будет употреблять слово «металл» вместо слова «золото».

Суда без происшествий прибыли в Одессу 6 ноября 1936 года. Чтобы соблюсти строгую секретность, разгрузка производилась ночью, а затем груз был отправлен далее на спецпоезде под охраной 1000 вооруженных командиров. Заместитель наркома НКВД Украины лично сопровождал поезд, чтобы отрапортовать об успешном завершении миссии Ежову.

Общая стоимость золота тогда оценивалась в 518 миллионов долларов — огромная сумма по тем временам. Золота этого в значительной степени хватило на покрытие расходов для помощи Испанской республике. На содержание испанской эмиграции в СССР, в том числе испанских детей. Часть этих средств была использована для финансирования разведывательных операций НКВД СССР.

Когда в 1953 году Орлов рассказал в своей книге об операции с испанским золотом, правительство Испании потребовало возмещения. В 1960-х годах Испания получила частичную компенсацию путем поставки в эту страну нефтепродуктов по клиринговым ценам.

За эту дерзкую операцию А. М. Орлов был повышен в звании и награжден высшим орденом СССР. Газета «Правда» в 1937 году сообщала о том, что старший майор госбезопасности Никольский награждается орденом Ленина за выполнение важного правительственного задания (Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930—1950 годы. / П. А. Судоплатов / М., 1997. С. 75).

В то время это звание офицера НКВД приравнивалось к «комдиву» Красной Армии. В нынешней табели о рангах звание А. М. Орлова было бы равно генерал-майору.

С декабря 1936 года Орлов принимал непосредственное участие в организации контрразведывательной службы республиканцев СИМ. Руководимый им аппарат провел значительную работу по разоблачению франкистской агентуры и подготовке партизанских и диверсионных групп для действий в тылу противника. В шести созданных при его участии диверсионных школах прошли обучение более 1000 человек.

В конце 1937 года Орлов втайне от испанских властей организовал нелегальную разведшколу под условным названием «Строительство». Кандидаты на обучение тщательно отбирались из бойцов интернациональных бригад. Многие выпускники этой школы были признаны слишком ценными, чтобы воевать в Испании. Их вывозили через Францию и Западную Европу и с заданиями направляли в различные страны мира.

В этой школе учился будущий Герой Советского Союза Кирилл Орловский, будущий разведчик-нелегал, один из организаторов убийства Троцкого — Иосиф Григулевич. В апреле 1938 года Орлов завербовал бойца интербригады из США — будущего связного легендарных разведчиков Рудольфа Абеля — Конона Молодого, будущего Героя Россиии Морриса Коэна.

9 июля 1938 года А. М. Орлов шифротелеграммой № 1743 из Московского центра, адресованной «Шведу» (один из псевдонимов Орлова. — *Э. И.*), был вызван для «совещания» с представителем Иностранного отдела НКВД СССР С. Шпигельгласом на борту советского парохода «Свирь» в порту бельгийского города Антверпена. Заподозрив ловушку, он вместе со своей семьей, прихватив 60 тысяч долларов, бежал через Францию и Канаду в Соединенные Штаты Америки.

С помощью своего родственника Н. Курника Орлов передал через советское полпредство в Париже письма Сталину и Ежову, в которых свое бегство объяснял

тем, что опасался неизбежного ареста на борту советского судна и обещал не разглашать имеющуюся у него информацию о структурах и работе ИНО за рубежом в том случае, если его и семью не будут разыскивать, а его мать в СССР не будет арестована. Это был своеобразный ультиматум наркому НКВД Н. И. Ежову и «вождю народов» И. В. Сталину.

В письме также говорилось, что в случае попыток выяснить его местопребывание или установить за ним слежку он даст указание своему адвокату обнародовать документы, помещенные им в сейф в швейцарском банке. В них содержалась информация о фальсификации материалов, переданных Международному комитету за невмешательство в гражданскую войну в Испании. Орлов также угрожал рассказать всю историю, связанную с вывозом испанского золота, его тайной доставкой в Москву со ссылкой на соответствующие документы. Это разоблачение поставило бы в неловкое положение как Советское правительство, так и многочисленных испанских беженцев, поскольку советская военная поддержка республиканцев в гражданской войне считалась официально бескорыстной. Плата, полученная Советским Союзом в виде золота и драгоценностей, была окружена тайной. Орлов просил Сталина не преследовать его пожилую мать, оставшуюся в Москве, и если его условия будут приняты, он не раскроет зарубежную агентуру и секреты НКВД, которые ему известны.

В письме Ежову были такие строки:

«Николаю Ивановичу Ежову.

Я хочу объяснить Вам в этом письме, как могло случиться, чтобы я, — после 19 лет безупречной службы Партии и Советской власти, после тяжелых лет подполья, после моей активнейшей и полной самопожертвования борьбы последних 2 лет в условиях ожесточенной войны, после того как Партия и правительство наградили меня за боевую работу орденами Ленина и Кр. Знамени, — ушел от Вас…

Я перед собой ставил вопрос: имею ли я право, как партиец, даже перед угрозой неминуемой смерти отказаться от поездки домой. Товарищи, работавшие со мной, хорошо знают, что я неоднократно рисковал жизнью. Когда это требовалось для дела, для партии.

Я систематически находился под ожесточенными бомбардировками. Вместе с морским атташе я в течение 2 недель под бомбами фашистской авиации разгружал пароходы с боеприпасами (хотя это не входило в мою обязанность). Я неоднократно жертвовал своей жизнью при выполнении известных вам боевых заданий. На расстоянии трех шагов в меня стрелял известный вам белогвардеец, как в ненавистного большевика. Когда в результате автомобильного крушения у меня был сломан позвоночный столб (2 позвонка), я, будучи наглухо залит гипсом, вопреки запрету врачей не бросил работы, а систематически разъезжал по фронтам и городам, куда меня звали интересы борьбы с врагом…

Никогда партия не требовала от своих членов бессмысленной смерти, к тому же еще в угоду преступным карьеристам.

Но даже не это, не угроза беззаконной и несправедливой расправы остановила меня от поездки на пароход… Сознание, что после расстрела моего, ссылки или расстрела моей жены, моя 14-летняя больная девочка окажется на улице, преследуемая детьми и взрослыми как дочь «врага народа», как дочь отца, которым она гордилась как честным коммунистом и борцом, — выше моих сил.

Я не трус. Я бы принял и ошибочный, несправедливый приговор, сделав последний, даже никому не нужный жертвенный шаг для партии, но умереть с сознанием того, что мой больной ребенок обречен на такие жуткие муки и терзания, — выше моих сил…

Вот вкратце причины, заставившие меня, человека, преданного партии и СССР, не идти в заготовленную мне карьеристом и преступником Дугласом (С. М. Шпигельгласом. — *Э. И.*) ловушку на пароходе. Я хочу, чтобы вы по-чело-

вечески поняли всю глубину переживаемой мною трагедии преданного партийца. И честного гражданина, лишенного своей родины.

Моя цель — довести своего ребенка до совершеннолетия. Помните всегда, что я не изменник партии и своей стране. Никто и ничто не заставит меня никогда изменить делу пролетариата и Сов. Власти. Я не хотел уйти из н/страны, как не хочет рыба уйти из воды. Но преступные деяния преступных людей выбросили меня, как рыбу на лед… По опыту других дел знаю, что ваш аппарат бросил все свои силы на мое физическое уничтожение. Остановите своих людей! Достаточно, что они ввергли меня в глубочайшее несчастье, лишив меня завоеванного моей долголетней и самоотверженной работой права жить и дышать одним воздухом с советским народом.

Если Вы оставите меня в покое, я никогда не стану на путь, вредный партии и Сов. Союзу. Я не совершил и не совершу ничего против партии и н/страны.

Я даю торжественную клятву: до конца моих дней не проронить ни единого слова, могущего повредить партии, воспитавшей меня, и стране, взрастившей меня.

Швед

Пр. Вас отдать распоряжение не трогать моей старухи-матери. Ей 70 лет. Она ни в чем не повинна. Я последний из 4 детей, которых она потеряла. Это больное, несчастное существо» (Прохоров Д. Перебежчики. Заочно расстреляны / Д. П. Прохоров, О. И. Лемехов / М., 2001. С. 98—102).

Ярость Ежова и его заместителя Берии, когда они прочитали письмо, была тем более неистовой, что между его строк они разглядели подразумевающуюся в нем угрозу шантажа. «П. означало «Петр», псевдоним С. М. Глинского, друга Орлова, который был некогда резидентом НКВД, известным как В. В. Смирнов. М. означало «Мани». Псевдоним Теодора Малли. Оба они в 1938 году были отозваны и обвинены в предательстве по приказу Ежова. Упоминание псевдонимов двух членов кембриджской группы — «Вайзе» (Маклейна) и «Зенхена (Филби) — было для Москвы сигналом, оповещающим, что если он будет схвачен «эскадроном смерти НКВД», это повлечет страшные последствия для агентурной сети, которую Орлов создал своими руками. Он понимал, что называя имя «Тюльпан» (псевдоним Марка Зборовского), агента НКВД, который внедрился в окружение сына Троцкого — Льва Седова, он привлечет внимание наркома НКВД. Поскольку Троцкий (псевдоним которого был «Старик») и его сын (которого, как и Филби, обозначали псевдонимом «Сынок» или «Зенхен») очень доверяли Зборовскому, НКВД планировал использовать его для того, чтобы «помочь убийце проникнуть в домашний круг Троцкого в Мексике. Ссылка на «Тюльпана» в письме Орлова была рассчитана на увеличение угрозы шантажа Орловым, поскольку ему было известно, сколь сильно желали Сталин и Ежов свести счеты с Троцким.

Нельзя не согласиться со следующим мнением исследователей жизни и деятельности А. М. Орлова Олега Царева и Джона Костелло: «Эти агенты (речь идет о «Кембриджской пятерке». — *Э. И.*) представляли собой «бриллианты из сокровищницы» советских разведывательных сетей. И не требуется много ума, столь патологически настроенного на подозрительность, как у «Карлика» (Н. И. Ежова. — *Э. И.*) и его «Большого Хозяина» (И. В. Сталина. — *Э. И.*), чтобы понять, что такой опытный офицер разведки, как Орлов, должен был из предосторожности сохранить копию на хранение в банковском сейфе и дал инструкции своему адвокату вскрыть его в случае его исчезновения или внезапной смерти. Этот список (секретных операций НКВД. — *Э. И.*) был напоминанием Орлова Ежову и предположительно Сталину, которому его покажут, о том, что, предпринимая против него репрессивные действия, они рисковали не менее чем разоблачением самых важных зарубежных агентурных сетей советской разведки. В то же время он содержал указание на то, что Орлов обещал держать свой рот на замке

в обмен на гарантию, что не будет причинено никакого вреда его родственникам в России и что НКВД прекратит охоту за ним и его семьей.

Это был договор, продуманный с дьявольской изобретательностью, и он не оставлял советскому диктатору и его приспешникам никакого иного выбора в сложившихся обстоятельствах, кроме как согласиться на условия Орлова и поверить, что он выполнит свою часть сделки. Архивные документы ясно показывают, что когда письмо Орлова дошло до Москвы в середине августа, в Центре уже был составлен словесный портрет беглеца для организации глобальной охоты за ним. Однако этой операции так никогда и не был дан сигнал к старту. Она была отменена по указанию «сверху» (Царев О. Роковые иллюзии. С. 358—359).

В архивах НКВД СССР есть документальное подтверждение того, насколько быстро Ежов и предположительно Сталин поддались на шантаж Орлова.

Через шесть месяцев после своего ареста в ноябре 1938 года С. М. Шпигельглас в очень подробном признании, находящемся в его досье, сообщил: «Когда Никольский (Орлов) стал невозвращенцем, он написал письмо Ежову, в котором заявил, что если только заметит малейший намек на слежку за собой, он раскроет компрометирующие документы. После этого Ежов дал указание не трогать Никольского».

По свидетельству генерал-лейтенанта НКВД П. А. Судоплатова, поиски Орлова по распоряжению Л. П. Берии в ноябре 1938 года были прекращены. (Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль... С. 78.)

Ставки в опасной игре, которую вел Орлов, были высоки, и по-видимому, Ежову и Сталину было ясно, что это не было пустой угрозой. Предполагалось, что «кембриджская» сеть в Великобритании и берлинская сеть в Германии будут приобретать все большее значение. А поэтому у Сталина тем более была причина выполнять свою часть условий сделки.

В 1952 году Орлов опубликовал в журнале «Лайф» серию статей, составивших впоследствии книгу «Тайная история сталинских преступлений» (Orlov A. The Sekret History of Stalin’ s Crimes. — New York, 1953). Эта книга была переведена на многие языки, в том числе на русский (1983). В 1963 году вышла книга Орлова «A Handbook of Intelligence and Gutrilla Warfare» («Пособие по контрразведке и ведению партизанской войны»). Ann Arbor. (Мичиган) M1, 1963.

После своего побега из Испании и разрыва с Иностранным отделом НКВД СССР А. М. Орлов 13 августа 1938 года въехал в США из Канады с советским дипломатическим паспортом на имя А. М. Орлова. Впоследствии он 14 лет жил в Нью-Йорке и Филадельфии под именем Игоря К. Берга, а затем в 1962—1973 годах в Энн-Арбор (Мичиган) и Кливленде (Огайо) под именем «А. М. Орлов». Александр Михайлович преподавал курс советского государственного права на юридическом факультете Мичиганского университета.

Появление статей Орлова повергло в шок директора ФБР Гувера, только из них узнавшего, что в его стране на протяжении 14 лет проживал генерал НКВД СССР. Он приказал провести доскональное расследование деятельности Орлова. В результате многолетних допросов в ФБР и на специальных слушаниях сенатской подкомиссии по национальной безопасности американские власти остались в уверенности, что Орлов рассказал все, что ему было известно о деятельности советской разведки. Выпущенная сенатской комиссией в 1973 году книга «Наследие Александра Орлова» открывалась его биографией, написанной сенатором Истлендом, председательствовавшим на слушаниях 1955 года. Эта биография, проникнутая глубоким уважением к Орлову, написана в теплых, местами даже патетических тонах.

В 1950—1960-х годах расследования «дела Орлова» были проведены и в КГБ. Их результатом был вывод о том, что Орлов не выдал никого из закордонной агентуры и не сообщил об операциях, проводившихся с его участием.

Еще в декабре 1955 года начальник Следственного управления КГБ сделал такой вывод: «У нас нет оснований для возбуждения судебного дела против Орлова».

В ходе многочисленных допросов и бесед с представителями ФБР, ЦРУ и других специальных служб в послевоенные годы Орлов не назвал ни одного из советских разведчиков и агентов, работавших на Западе, кроме тех, кто уже был известен им в связи со своим провалом.

В 1967 году сотрудники вашингтонской резидентуры КГБ установили местонахождение Орлова в США. Резидент Борис Соломатин и его заместитель по линии ПР Олег Калугин послали в Москву шифротелеграмму, в которой предлагали организовать встречу с Орловым и попытаться склонить его к возвращению в СССР. Из Центра пришло согласие. И 14 ноября 1969 года оперативный сотрудник КГБ Михаил Александрович Феоктистов встретился с Орловым на его квартире и передал ему письмо от его друга Прокопюка, с которым Орлов работал в Барселоне.

Второй раз в августе 1971 года Орлов тайно встречался в Энн-Арбор и Кливленде с посланцем КГБ М. А. Феоктистовым («Георг»), работавшим в США под прикрытием должности сотрудника миссии СССР при ООН. Он сообщил, что в СССР не считают Орлова предателем, а напротив, высоко оценивают его деятельность 30-х годов по вербовке за рубежом лиц с коммунистическими убеждениями. На переданное Феоктистовым приглашение вернуться в СССР Орлов ответил, что он сохранил верность своим коммунистическим убеждениям, но возвращаться в СССР не хочет, поскольку советское государство управляется бывшими клевретами Сталина и более молодым поколением партаппаратчиков, игравших вспомогательную роль в преступлениях, благодаря которым была предана революция.

В то же время Орлов передал Феоктистову данные, имевшие экономическое значение, а также список работников ФБР и ЦРУ, которые, по его наблюдениям, могут пойти на сотрудничество с советской разведкой.

Через месяц после этой встречи из Москвы поступил приказ оставить Орлова в покое. По словам Калугина, приказ исходил из Политбюро ЦК КПСС, от секретаря ЦК КПСС (фактически, второго секретаря ЦК. — *Э. И.*), которого называли «серым кардиналом». В результате контакты с Орловым прекратились, но и смертный приговор, вынесенный ему сразу после побега и приостановленный Ежовым, Берией и Сталиным, так и не был приведен в исполнение.

16 ноября 1971 года от сердечного приступа умерла его жена Мария Владиславовна Рожнецкая. Тяжело переживая ее смерть, Орлов продолжал работать над мемуарами. В марте 1973 года он был отправлен в госпиталь с серьезной болезнью сердца и умер 8 (7) апреля 1973 года в возрасте семидесяти семи лет.

После внезапной смерти Орлова федеральный судья опечатал и отправил в архив все его документы, в том числе и рукопись воспоминаний. С указанием не предавать их гласности до 1999 года.

По факту его смерти ФБР проводилось расследование, результаты которого не обнародованы до настоящего времени. Воспоминания Орлова, обнаруженные родственниками после его смерти, были частично опубликованы в 1999 году в США. Но на русский язык их до сих пор не перевели. По мнению ряда исследователей, опубликованные фрагменты текста «сильно отредактированы».

Многих читателей журнала «Нёман» интересуют ответы на вопросы: «В чем состоят заслуги Александра Орлова? Каковы его человеческие качества? Предатель он или герой? Как оценивать его деятельность и поведение в США на протяжении почти 35 лет?»

Сразу скажем, что оценки эти неоднозначные.

Один из руководителей органов государственной безопасности СССР генерал-лейтенант П. А. Судоплатов вспоминал: «Я встречался с ним и на Западе, и в

Центре. Но мимолетно. Тем не менее считаю важным остановиться на этой фигуре подробнее, так как именно его разоблачения в 50-х и 60-х годах в значительной мере способствовали пониманию характера репрессий 37-го года в Советском Союзе. В начале 30-х годов Орлов возглавлял отделение экономической разведки Иностранного отдела ОГПУ. Был участником конспиративных контактов и связей с западными бизнесменами и сыграл важную роль в вывозе новинок зарубежной техники из Германии и Швеции в Союз.

Вдобавок Орлов был еще и талантливым журналистом. Он не был в Москве, когда шли аресты и расправы 1934—1937 годов, но его книжная версия этих событий была принята публикой как истинная…

Орлов отлично владел английским и немецкими языками. Он весьма успешно играл на немецком рынке ценных бумаг. Им написан толковый учебник для высшей спецшколы НКВД по привлечению к агентурному сотрудничеству иностранцев. Раиса Соболь, ближайшая подруга моей жены, ставшая известной писательницей Ириной Гуро, в 20-х годах работала в экономическом отделе ГПУ под его началом и необычайно высоко его ценила. Из числа своих осведомителей Орлову удалось создать группу неофициальной аудиторской проверки, которая выявила истинные доходы нэпманов… В 1934—1935 годах Орлов был нелегальным резидентом в Лондоне. Ему удалось закрепить связи с известной теперь всему миру группой: Филби, Маклейн (Маклин), Берджес, Кэрнкросс, Блант и др.

В августе 1936 года он был послан в Испанию после трагического любовного романа с молодой сотрудницей НКВД Галиной Войтовой. Она застрелилась прямо перед зданием Лубянки, после того как Орлов покинул ее, отказавшись развестись со своей женой…

Об успешных дезинформационных действиях Орлова и ликвидации троцкистов в Испании Ежов непосредственно докладывал Сталину» (Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль… М., 1997. С. 74—77).

В 1998 году в Москве вышла в свет книга полковника советской разведки и известного писателя Михаила Любимова (отца одного из создателей телевизионной передачи «Взгляд») «Шпионы, которых я люблю и ненавижу». Один из очерков этого издания носит название «Генерал Александр Орлов — герой или предатель?». В нем есть такие строки: «Кем же был этот незаурядный человек? Предателем или героем?

Предателем, ибо нарушил присягу, кое-что выдал о формах и методах работы, с пятидесятых годов сотрудничал с ФБР и ЦРУ, скрылся, прихватив из кассы резидентуры изрядную сумму. Да еще шантажировал! А что, если бы по какой-то случайности весь этот список попал в руки врага? Советская разведка не имела бы никаких позиций ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции, ни до, ни после войны!

Героем и звездой советской разведки, ибо честно работал на свою страну, никого конкретно не выдал, остался большевиком-ленинцем до конца и выступал против злодея Сталина!

М-да, выступать-то выступал, но уже после смерти тирана…

А вот сталинским наймитом побывал и ни в чем не повинных поумовцев в Испании (да и многих других) истребил безжалостной рукой…

Эффективный был работник, смелый, решительный — это факт. Но героем… Все таки герои идут на жертвы ради других. Орлов же греб под себя…

Нельзя мерить грешного homo sapiens меркой Христа.

Сын партии, славивший Сталина, убийца, верный муж и нежный отец, ас разведки, опиравшийся тогда на мощный Коминтерн, карьерист, эгоцентрик, авантюрист, хитрец, умевший постоять за себя, — такие таланты существовали во все времена, при самых разных режимах, идеология для них была лишь соусом…

Орлов был человеком со всеми его достоинствами и слабостями, жизнь ему досталась нелегкая…» (Любимов М. П. Шпионы, которых я люблю и ненавижу. М., 1998. С. 210—211).

Ветеран внешней разведки СССР генерал-лейтенант В. Павлов отмечает: «Следует отметить, что, возглавляя в Испании резидентуру, а по существу — представительство НКВД, А. М. Орлов успешно справлялся с возложенной на него обязанностью. В изменчивой политической и оперативной обстановке советским разведчикам приходилось решать массу проблем, и главное, нужно было приобретать источники необходимой разведывательной и контрразведывательной информации.

И А. М. Орлов со своим заместителем Н. М. Белкиным хорошо справлялся с этой сложной задачей…

К чести Орлова следует отметить, что он не только успевал выполнять свои представительские обязанности, но и уделял много внимания перспективным интересам внешней разведки, подбирая и готовя молодых разведчиков…

Конечно, объективно побег А. М. Орлова, хотя он не выдал ни одного известного ему ценного агента, нанес серьезный ущерб внешней разведке. После его исчезновения пришлось отозвать ряд разведчиков-нелегалов, законсервировать агентов, принять меры безопасности в дальнейшей работе…

По решению руководства КГБ СССР все претензии к А. М. Орлову были сняты и юридически закреплено отсутствие в его деле состава преступления. Было сделано заключение, что он оказался жертвой глубокой человеческой трагедии…

Главное очевидно: несмотря на решение И. В. Сталина не трогать невозвращенца, А. М. Орлов с момента своего разрыва с Москвой и до первого посещения его сотрудником советской внешней разведки жил в постоянном страхе…

Вторым исключительно тяжелым для А. М. Орлова и его жены переживанием явилась смерть в июле 1940 года единственной дочери (Вероники. — *Э. И.*)…

Знакомясь с документальным анализом дела А. М. Орлова, можно только удивляться выдержке и силе воли этого разведчика. Пройдя через ад переживаний, неизбежно возникающих у любого, кто решается порвать со своим прошлым, оказавшись в новой среде, которая оставалась, по сути, враждебной ему, он не только устоял перед неимоверным давлением американских спецслужб. Александр Орлов не стал тем высокопоставленным офицером-перевертышем из рядов советской разведки, предавшим ее, как это пытались утверждать американцы…

Очевидно, он мог сожалеть, что судьба не позволила ему достойно свершить для родины все, что он мог бы сделать, являясь неординарным, безусловно, талантливым разведчиком» (Павлов В. Трагедии советской разведки / В. Павлов / М., 2000. С. 119—124).

Деятельность Орлова-Фельдбина во времена Октябрьской революции описана на основании архивных данных и свидетельств в книге Николая Ставрова «Великие» идеи XX века».

А. М. Орлов упоминается в романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» под фамилией Варлов.

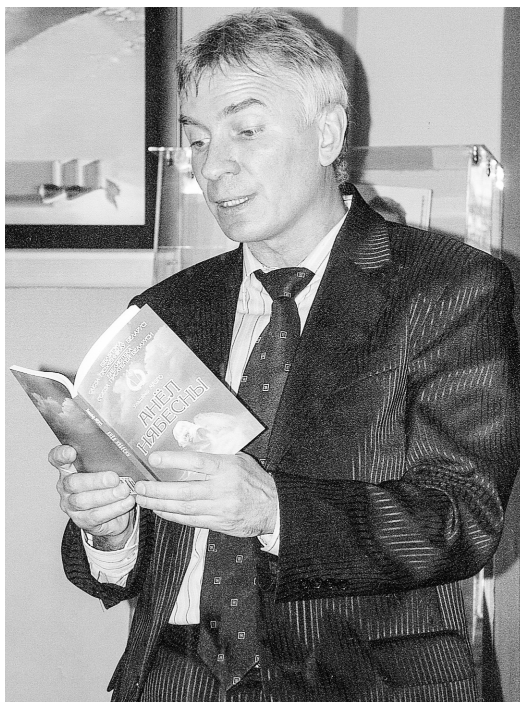
Встречу с Орловым в Испании описывает Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами».

Деятельность Орлова в Испании является одной из сюжетных линий в романе Максима Кантора «Учебник рисования».



Алесь БЕЛЬСКИЙ

Владимир Мозго: поэт-песня



Владимир Мозго своим творчеством, точнее, отдельными стихами, вошел в мою жизнь еще в то время, когда я учился в знаменитой Тимковичской средней школе имени Кузьмы Чорного, что на Копыльщине. Мне, начинающему стихотворцу, необычайно повезло, что белорусскую литературу в девятом классе начал преподавать молодой учитель Геннадий Казак, выпускник филологического факультета Белгосуниверситета. Он-то и заметил мой повышенный интерес к современной поэзии, который казался кому-то из сверстников чудачеством: разве можно брать в библиотеке целые стопки книг стихов и, к тому же, читать их от первой до последней страницы? Геннадий Казак уже повидал живых литературных знаменитостей, он, недавний студент, слушал лекции Олега Лойко, Нила Гилевича и Рыгора Семашкевича, учился в одно время с молодыми поэтами, авторами коллективного сборника «Вёсны» (1977), входившими в университетское литературное объединение «Узлёт». Вот с этим сборником молодой поэзии и предложил мне как-то познакомиться мой учитель Геннадий Иосифович. Предваряя знакомство, он посоветовал обратить особое внимание на стихи Миколы Метлицкого, Алеся Письменкова, Владимира Марука. И почему-то отдельно сказал несколько слов о Володе Мозго из Зельвы, с неподдельным сожалением сказал, что он перевелся учиться на заочное отделение, и возможно, ему, молодому поэту, в ближайшее время угрожает призыв на армейскую службу. Так, кстати, и произошло: в 1979 году Владимира Мозго призвали на срочную службу в Советскую Армию. Дома я буквально залпом прочел весь сборник, и мне с того дня запомнились вот эти поэтические строки:

Абудзілі славянкі
Сонны бераг Зяльвянкі.
Верным рыцарам коней
Купалі каханкі.

Процитированные строки Владимира Мозго — из стихотворения «Славянкі». И еще один образ буквально врезался в мою юношескую память: «У лесе



С народными артистами Беларуси композиторами Валерием Ивановым и Леонидом Захлевным.

цішыня такая: // Чуваць, як дыхае кара». Возвратив сборник «Вёсны» учителю, через некоторое время мне захотелось еще раз почитать стихи молодых поэтов из главного университета Беларуси. К моему везению, в нашем местном книжном магазине оказался экземпляр «Вёснаў» — и так я стал обладателем собственного сборника. Честно говоря, тогда я тайно мечтал, чтобы и мои стихи были напечатаны в похожей поэтической книге.

И вот спустя три года я снова встретился с творчеством Владимира Мозго. На этот раз мне, уже студенту филфака БГУ, староста литобъединения «Узлёт» Сергей Чигрин предложил почитать стихотворный сборник «Пад спеў крыніц» (1982), отметив, что он и Володя — земляки, ведь Слоним и Зельва — соседние районы. Сергей предупредил, чтобы долго книгу у себя не держал, поскольку ему нужно будет сверить тексты в написанной им рецензии на эту первую книжку В. Мозго.

В поэтическом сборнике «Пад спеў крыніц» были напечатаны и знакомые мне стихи, и много новых, которые давали более-менее полное представление о творчестве молодого автора. Помню, что те впечатления от прочитанного были в основном положительные, хотя что-то казалось и менее удачным. Взяв в руки книгу избранного В. Мозго «У нябёсах вясны» (2013), перечитываю поэтические тексты раннего периода творчества и отмечаю для себя, в первую очередь, такие стихи, как «Пазычу колеры ў вясёлкі…», «Бярозаваму гаю», «Беларусі», «Балада аб ружы», «Па сонца» и некоторые другие. Кажется, как и тогда, выделяю главное, в чем мне увиделась особенность поэтического стиля В. Мозго — певучесть, музыкальность слова, полнозвучие фразы. Ведь «спеў», «песня» — это не просто слова, а смыслообразующие вещи в мироощущении поэта. Отзвук его сердца на явления и образы мира чувственно-музыкальный:

Я слухаю
мелодыю дажджу,
Які зайграў
на клавішах лістоты
І наталіў,
і акрыліў душу
Лагодным дакрананнем
кожнай ноты.

Звук, мелодия — ведущие в поэтике стиха В. Мозго. Он признается: «Чароўная мелодыя, // Якую не спыніць, // Табою авалодае // У сумнай цішыні» («Песня»). В творчестве В. Мозго, говоря словами одного из самых известных исследователей словесного искусства, «лирическая самообъективация — это одержимость духом музыки, пропитанность, просквоженность им» (М. Бахтин). Ведь что такое стихи В. Мозго, что они собой представляют? Это песни, мелодии души и сердца. Неслучайно многие поэтические тексты написаны как песни: «Варажба», «Вербніца», «На Нямізе», «Мне ўсё верыцца», «Лодачка», «Я і ты», «Святло вачэй», «Анёл нябесны», «Бацькоўская хата» и др. Плодотворным было сотрудничество поэта с композиторами В. Ивановым, Э. Ханком, В. Будником, Л. Захлевным, О. Елисеенковым, Д. Евтуховичем, Я. Науменко и другими мастерами песенного жанра. И с исполнителями везло, их голоса хорошо передали смысловые и интонационно-выразительные особенности его песенных текстов.

Кстати сказать, кое-кому кажется, что писать песенные вещи легко. Из уст одного из поэтов услышал пренебрежительный отклик об одном из сочинителей песен: «Я такіх песень за адну ноч шмат настругаю». И вдобавок услышал: «Он ведь не Максим Танк». Действительно, поэты-песенники относятся к совершенно другому литературному контексту — и это надо четко понимать и разграничивать. В. Мозго, как и ряд других современных поэтов, плодотворно работает в жанре песни, в котором особых высот достигли такие авторы, как А. Русак, Г. Буравкин, В. Каризна и др. Вместе, рядом с В. Мозго литературную (профессиональную) песню своими текстами обогащают Л. Дранько-Майсюк, Л. Прончак, А. Бадак и др. А ведь иногда хочется сказать такому ревнителю художественных ценностей следующее: «А ну-ка, давай попробуй напиши хотя бы одну песню — да такую, чтобы ее народ подхватил и запел, чтобы она нашла отзвук в сердцах миллионов и стала популярной». Задача, скажем прямо, нелегкая. Вот посему и не надо «опускать» поэтов, пишущих песни, а наоборот, нужно отдавать им должное. Ведь хорошую песню написать не легче, чем верлибр, триолет или октаву. А то, что у В. Мозго песенные тексты получаются, это факт, причем неоспоримый. Ведь есть на них спрос и у композиторов, и у белорусских артистов. Песня, музыка стали смыслом творческого самовыражения В. Мозго, сущностью созданного им художественно-поэтического мира. «Спявайце песню родную», — просит нас поэт, глубоко понимая, что белорусская песня — явление духовное, национальное, раскрывающее самую суть нашего народа.

О чем песни и стихи поэта-лирика? Конечно, в первую очередь, о своей родине, родной Зельве, ее неповторимой и удивительной природе. Помните, как сказал другой поэт? «А калі не спяваць аб радзіме, // Дык навошта наогул спяваць?» (Г. Буравкин). Влюбленность в родные места, очарованность, благоговейность перед увиденной красотой, поэтизация окружающего мира — это в лучших стихах В. Мозго видится проявлением классической традиции нашей национальной поэзии. В чем их привлекательность? В эмоционально-чувственном восприятии мира и жизни, проникновенном звучании белорусского слова, его образном строе. Стихотворение «Сустрэча з радзімай» как раз об этом — ощущении себя в извечном и неповторимом мире красоты:

Зачарованы,
сцішыў я крок,
Нібы трапіў
у казку.
Баючыся
вачмі незнарок
Абмінуць
нават краску…

Отношение к родине, ее самобытной истории, красоте — чуткое, трепетное. Здесь все звучит как песня и как музыка. Земляки оценили по достоинству



Владимир Мозго, Алесь Суша, Евгений Городницкий, Владимир Гниломедов на презентации книги «Адвечныя скарбы Радзімы».

творчество В. Мозго, и в первую очередь его искреннюю сыновнюю любовь и преданность родному краю: поэту в 2008 году присвоено звание почетного гражданина Зельвенского района.

Чем так прельщает поэтический мир В. Мозго, так это тем, что он неоднообразный, неодноплановый, а наоборот, многоликий и многомерный. Взгляд поэта устремлен в прошлое родной Беларуси, к ее истокам, при этом, черпая «з паўзабытай мінуўшчыны» вдохновение, ему открываются важные ценностные смыслы бытия (стихотворения «Вялікае Княства», «Згадка пра Вільню», «Руіны Наваградскага замка», «Рагнеда», «Полацку», «Мірскі замак» и др.). Поэтические пейзажи не только традиционно природно-ландшафтные с описаниями леса-поля-речки, а и урбанистические, с поэтическим отражением городских образов-топосов (стихотворения из цикла «Мінскі альбом»: «Міцкевіч. Восень. Мінскі сквер», «Губернатарскі сад», «Фантан з гусьмі» и др.).

Ну и, пожалуй, самый важный и определяющий концепт в творческом мире поэта — *любовь*, белорусская лексема-эквивалент более точная и емкая — *каханне*. Ведь в подавляющем большинстве стихи В. Мозго — о любви, о самом прекрасном и трепетном чувстве в человеческой жизни. Опять же, эти стихи — песни сердца, которое любит, в плену романтических грез и мечтаний, вечной женственности, нежности и очарования. Стихи и песни о любви — о возвышенном и земном, грустном и сокровенном. Звучат мелодии любви как лейтмотивная тема, и эти повторы создают единую ткань красивых и сложных человеческих чувств. Все ли стихотворения о любви впечатляют своей оригинальностью и образной яркостью? Конечно же, не все. Как и у других поэтов, есть лучшее, а что-то особо не получилось, а то и очевидно проходное. Главное, чувство ведет за собой, увлекает лирического героя поэта — и в этот момент «мелодыя гучыць, і сэрца — замірае…».

И еще одно стихотворение из первой книги В. Мозго мне вспоминается. В избранном томе поэта «Родная мова» напечатана в самом начале:

— Ты адкуль бруішся,
Мова?..
— З сініх нёманскіх крыніц.
Па зямлі збіраю словы,
Нібы россыпы суніц.

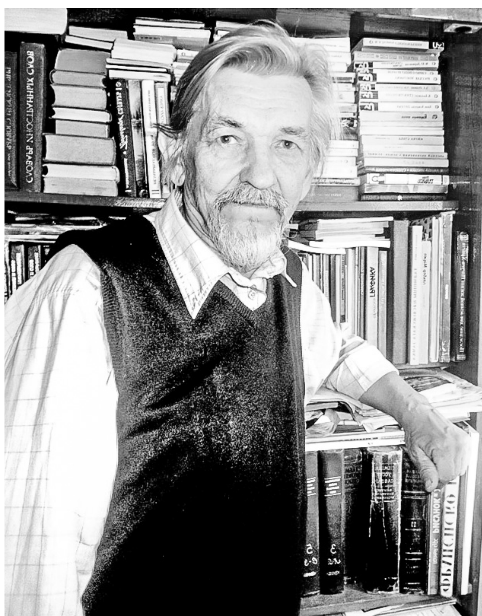
Это стихотворение посвящено поэтессе Ларисе Гениюш. Еще школьником Володя Мозго бегал в хату к тетке Ларисе, Ларисе Антоновне, которая жила в то время в Зельве. Она по-матерински чутко относилась к юному дарованию, давала мальчику какие-то советы. Конечно, он мало что знал тогда об опальной женщине-белоруске, узнице сталинского ГУЛАГа. Только и знал, что она — поэтесса, потому тянулся к тому удивительному миру и теплу, которое излучала Лариса Антоновна, «маці беларуская» (Л. Тарасюк). В 2000 году В. Мозго, сам детский поэт, подготовил для маленьких читателей книгу Л. Гениюш «Ластаўка». Как раз в то время готовилось к изданию наше пособие «Беларуская літаратура: XI—XX стагоддзі» (2001; 2-е изд.). Частный издатель вдруг вызвал меня и предложил снять текст о Ларисе Гениюш. Разумеется, эта идея принадлежала не ему. Тогда я возразил, сказал следующее: «Максим Танк, народный поэт и председатель Союза писателей, не боялся в советское время писать письма Ларисе Гениюш, поддержал ее с изданием книги “Невадам з Нёмана”, более того, встречался с ней. И юный хлопчик Володя Мозго не боялся ходить в Зельве в гости к Ларисе Антоновне Гениюш, белорусской поэтессе…». После споров в конечном итоге в пособии фигурировало имя Ларисы Гениюш, как и на страницах ряда других моих книг. И это случилось благодаря Владимиру Мозго. Изданный им сборник «Ластаўка» стал для меня примером глубоко нравственной позиции по отношению к творческому наследию.

Творческий багаж В. Мозго насчитывает пять поэтических сборников, одна книга — поэзии и прозы («Сакавіны»). Также следует вспомнить издания для детей «Калі спрачаюцца маланкі», «Суседзі па сусвеце», «Смехапад», «Прыгоды марахода», «Цуда-вуда», «Таямнічая планета» и др. Лучшие детские стихи убеждают в том, что поэт умеет писать не банально и не пресно, говорит в стихах живо, образно, увлекательно. Особенно интересны его истории о животных и зверях. Он стремится заинтриговать маленького читателя своим рассказом, пробуждая детское воображение и любознательность, обращается довольно часто к приемам игры, в том числе языковой. Некоторые названия стихов для детей красноречивы, в них искусно сплетены строки и рифмы, легкий юмор и остроумие («Жмуркі кошкі Муркі», «Урок для сарок», «Ці ёсць у Слоніме сланы?», «Аў-кцы-ён» и др.). В. Мозго выступает как ненавязчивый и тонкий поэт-дидакт, для которого главное — доверчивый разговор, диалог с маленьким читателем.

Избранное «У нябёсах вясны» — том, который подытоживает результаты более чем сорокалетнего творческого труда ее автора. Лучшее из написанного Владимиром Мозго закрепляет за ним имидж состоявшегося и самодостаточного писателя, в первую очередь, поэта песенного склада. Поэт-песня, поэт-лирик, говорящий на языке сердца, — иначе о нем и не скажешь.



То, что угодно Господу, не пропадет



Нашему знакомству с Георгием Ивановичем Киселевым около десяти лет. Со временем к чисто профессиональным общим интересам — книжные новинки, современный литературный процесс, встречи на семинарах, «круглых столах» — добавились и добрые личные отношения.

80-летний юбилей, который Георгий Иванович отмечает 28 марта, хороший повод поговорить о жизни, творчестве, поэзии, прошлом и настоящем.

— Ваше детство пришлось на военные годы, какие впечатления остались у Вас от этого времени?

Нашу семью (маму с двумя детьми, 1939 и 1941 года рождения) спасла от голода бабушка Татьяна Иринеевна Киселева. Ее муж Трофим умер от ран Первой мировой в начале 20-х. Она одна вырастила троих детей и больше замуж не вышла. Когда отец ушел на фронт, мы переехали из села Норобово Вологодской области, где отец работал директором школы, в деревню Кузьминское Ярославской области.

Четырех-пяти лет от роду я сильно заболел, сначала корью, а потом дифтерией. Тогда называли — дифтерит. Помню — все мое хиленькое тельце было в волдырях, они лопались и оставались на мне чешуйками, которые слетали с меня сухими мотыльками… Из-за болезни я самостоятельно передвигаться не мог. Мама или бабушка носили меня на руках с постели в красный угол, где я сидел под иконой, весь закутанный в одеяло. Есть не хотел вообще, меня насильно кормили. Мой младший брат Шурик (Александр) за меня все доедал и вылизывал. Хворь его не брала…

Я был верный кандидат на тот свет. Но меня спасла мама. Была суровая зима 1943—1944 годов с большими сугробами. Ночью по нашей деревне свободно разгуливали волки. Из окна было видно. Собак в деревне уже не было, волки их всех и поели. Мама выпросила у бригадира лошадь, это было очень трудно (каждая лошадь была на счету в колхозе), но она на коленях его умолила. И поехала ранним утром за шестьдесят километров в то село, где жила «фельдшерица» — одна на округу в сто с лишним километров. У той оказалась всего одна ампула антибиотика. Мама смогла умолить медичку, чтобы та поехала с ней.

Кажется, они приехали ночью. Мне сделали укол. И фельдшерица сказала маме: «*Посмотри утром ему в глаза, если в них появится живой блеск — значит выживет. Больше ничем я тебе помочь не могу*». Видимо, я был нужен Богу на этом свете, а недостачи в ангелах не было, детей умирало много и от голода, и от болезней. Уже после войны я играл в деревне с детьми, которые были моложе меня на пару-тройку лет. Ни одного ровесника… Был один мальчик Вася Сорокин, бегал ко мне играть из своей избы в нашу босиком по снегу, он умер от голода. Помню его маму Клаву, дородную женщину, и помню его деда Матвея, которого бригадир ставил летом стеречь от детей колхозный горох. Дед был чистый изувер, в детей, выбегающих из гороха, издали кидал топор. Слава Богу, не попал ни в кого. Я поминаю этого ровесника в одном своем еще не законченном стихотворении.

И смеялись мы звонко
Вместе в лад и не в лад,
И сияли глазенки
У двоих пострелят.

Но, согнувшись устало,
Мама, с болью в груди,
Мне однажды сказала:
— Больше Васю не жди!

И все же мое деревенское детство я сейчас считаю раем на земле, хотя чуть не умер, и зимой было особенно голодно, потому что крестьяне все, что выращивали, отдавали фронту, себе оставляя только малую толику для прокорма и посевной. Но зато лето давало нам все радости. Бегали по окрестности босиком куда хотели, лес кормил ягодами и грибами, речка освежала купаньем, на холмах было вдоволь земляники.

— Как вошла в Вашу жизнь книга?

Мама меня рано научила читать. И в шесть лет я уже читал вслух довольно бойко. Наша изба была своеобразным деревенским клубом, потому что в семье были детекторный приемник и патефон. Вечерами собирались к нам женщины и девушки на посиделки, кто с шитьем, кто с прялками. И я читал им в основном две книги «Ташкент — город хлебный» А. С. Неверова и «Кавказский пленник» Льва Толстого. А третьей были рассказы деда Щукаря (выбранные из «Поднятой целины» М. Шолохова), изданные в «Библиотечке красноармейца». Первые две книги слушали, всхлипывая и утирая слезы, особенно вторую. Каждая думала о своем муже или женихе, или брате, и каждая примеривала к ним судьбу пленника.

На войне погибли отцов брат Александр и мамин брат Георгий, бабушкины племянники, а мои дяди Николай и Анатолий. Две мои тети, Нюра и Надежда, потеряв на войне женихов, так и остались на всю жизнь бобылками. Эти печальные факты так или иначе до сих пор отражаются на моем восприятии жизни. О своей роли чтеца деревенским женщинам я еще пока не написал, все примериваюсь. Написал об этих посиделках несколько в другом ключе.

Играют, играют Шопена.
И грустные звуки летят
Волна за волной постепенно,
Накат за накатом подряд.

Играют и трогают душу,
И платы не просят с души.
Но помню я, помню «Катюшу»
В моей ярославской глуши.

Едва ли забуду, едва ли,
И тем благодарен судьбе,
Как бабы ее запевали
За прялками в нашей избе.

Хлебнувшие лиха в достатке,
В подругах опору ища,
Как будто хотели солдатки
Тоску искричать сообща.

Нутром выпевали, на форте,
С горячею верой — навек,
Чтоб там непременно, на фронте,
Услышал родной человек <…>

Вот эти книги с отменным литературным языком и чистый выразительный духмяный народный говор русского Севера и были питательной средой для рождения моего художественного чутья. И они стали моим эталоном подлинного искусства слова. А потом уже на эту взрыхленную добротной литературой и обогащенную народной речью почву, как я понимаю, упали семена высокой поэзии. Это были Пушкин в детстве, Блок в юности, Пастернак в молодости. Литературный институт заполнил все лакуны между ними.

Тут уже вчитался и в Тютчева с Фетом, и в акмеистов, и в символистов, и в поэтов-фронтовиков, и в эту стадионную и эстрадную поэзию 60-х. Но все, что читал, проверял тем самым эталоном на истинность и правду. И он меня не подвел. Поэтому детские стихи, скажем, А. Барто или С. Маршака, я как-то пропустил, мое детство прошло без них. Узнал их, когда у меня самого появились дети.

— Ваш отец вернулся с войны, каким он был, кто из родителей больше всего в семье влиял на вас?

Тут все не так просто. Он вернулся не к нам. Война перекроила много личных судеб и разбила множество семей. Мой отец был защитником Москвы, потом служил в прифронтовом городе Рязани в подразделении, которое называлось армейская контрразведка СМЕРШ (смерть шпионам). Две трети области были заняты врагом, он участвовал в операциях по уничтожению вражеских диверсантов. О всех трудностях и перипетиях этой службы хорошо написал Владимир Богомолов в книге «Момент истины» («В августе сорок четвертого»). Когда в 1974 году в журнале «Новый мир» я прочитал этот роман, то зауважал отца, который всю жизнь держал язык за зубами, очевидно, соблюдая свою подписку о неразглашении. Только прочитав книгу, я понял, какой опасной и непредсказуемой была армейская служба отца, где победа над коварным врагом давалась ценой риска, личного мужества и смекалки. Он успел прочитать этот роман (умер в 1981 году, ему было всего лишь 64 года). Я тогда жил на Камчатке, а когда в 1979-м вернулся, то пресловутая журналистика, которая отнимала все мои силы и время, помешала поговорить с отцом по душам…

В 2000 году режиссером Михаилом Пташуком была снята на «Беларусьфильме» кинокартина с тем же названием, что и положенный в ее основу роман Владимира Богомолова.

Но вернемся к моему детству.

В 1946-м мне надо было идти в школу. От нашей деревни школа была далеко. И отец забрал меня от мамы в Рязань…

Мама, Екатерина Григорьевна, всю войну вместе с бабушкой проработала в колхозе, от тяжкого труда у нее до конца жизни болели руки. Она дочь репрессированных крестьян из Воронежской области. Насильно разлученная с родителями, моими дедушкой и бабушкой, она воспитывалась в детском доме в г. Тотьме



С матерью Екатериной Григорьевной и братом Александром.

Вологодской области вместе со своей двоюродной сестрой Дусей, дочерью тоже репрессированных родителей. Там они окончили семь классов и получили профессию — мастер кружевного плетения. Так что мама моя и тетушка были вологодскими кружевницами. Кстати, если вы помните, в этом же детдоме позже воспитывался и Николай Рубцов, с которым меня потом свела судьба в Москве, в Литературном институте, а потом и в Рязани.

…Мама с отцом везли меня из деревни в Вологду на саночках, укутанного по самые брови, зимой все шестьдесят километров. У меня застывали и затекали ноги, и тогда они разрешали мне идти рядом с ними. Заходили согреться в избы попутных деревень. В те времена незнакомого путника пускали в любой дом.

Первый город, который я увидел и которым был потрясен, — Вологда. Старинные дома в деревянных кружевах среди белых берез. Она и по сей день для меня образец красоты. Поэтому все города, в которых жил или бывал проездом, всегда сравниваю с Вологдой, и не в их пользу.

Два года я жил в новой семье отца. Отношения с мачехой при живой, но далекой маме были, как в сказке о Золушке. Я вредничал, не ладил ни с Марией Андреевной, ни с ее дочкой Галей от первого брака. Но мне с ней пришлось учиться в одном классе. Около двух лет я был разлучен с мамой и ждал ее... Она приехала в Рязань в 1949 году и устроилась на тот же ламповый завод, где уже работал начальником отдела снабжения отец. Очень скоро она освоила профессию контролера ОТК, испытательницы электронных ламп, среди которых были размером и выше человеческого роста. Было ясно, что они шли на оборону. Ей дали комнатку в коммуналке заводского дома, и в 1950 году она привезла из ярославской деревни и моего брата. Бабушка осталась одна в деревне, проработала в колхозе лет до семидесяти. Потом отец забрал ее к себе. Но она тяготела к своей первой снохе и к нам с братом, и не было дня, чтобы к нам не приходила отвести душу в разговоре с родными людьми. Мы ее к себе взять не могли, потому как в комнатке нам троим было тесно.

Отец был авторитарного образа мыслей и поведения. Немногословен. Нравоучений не читал. И вообще душевный разговор был не для него. Почти каждый день он заходил в нашу семью и проверял дневники. Иногда приносил кульки с конфетами и печеньем. Дарил мне книги не только на дни моего рождения. Надписи его были на удивление лаконичны. Недавно, перебирая свою библиотеку, нашел одну такую дареную отцом книгу. Весь Аркадий Гайдар в одной книге. Надпись: «*Моему любимому сыночку Геричку. Папа. 11. 10. 1948 г., г. Рязань*». Мне было учиться легко, но скучновато. Никто надо мной не стоял и не заставлял меня делать уроки. Я их готовил быстро. А в старших классах часто был единственным, кто пришел в школу с решенной трудной задачей.

Мама тоже особенно не вникала в мою учебу. Она ходила на родительские собрания, где ее хвалили за мои успехи, ей это было, конечно, приятно. А за полученную единожды в жизни двойку схлопотал отцовского ремня. Не выучил по биологии тему — строение уха. Наверное, не смог оторваться от очередного романа Дюма или Вальтера Скотта… Из года в год получал в школе похвальные грамоты. А в десятом классе был кандидатом на золотую медаль, но получил серебряную. Как раз по литературе у меня стояла четверка. Это была первая осознанная мной несправедливость в оценке моего интеллектуального труда, которой потом в моей жизни было более чем достаточно. Учительница литературы тянула на золото свою ученицу из класса, где она была классным руководителем…

— Значит, выбор будущей профессии был не случаен, решение зрело еще в школьные годы?

Школу я окончил в 1957 году, а в следующем мои стихи напечатала молодежная газета «Рязанский комсомолец», похвалил их местный поэт Евгений Осипов. Это была первая сладкая отрава поэзией — увидеть свои стихи напечатанными. Первая вспышка гордыни, которая и дальше стала питаться все новыми публикациями. Поэтому мне сразу надоела учеба в радиотехническом институте, куда я поступил очень легко и хлебнул немножко высшей математики и начертательной геометрии. Но я уже нацелился на Литературный институт. А отец спал и видел меня инженером-электронщиком. Он и слышать не хотел про поэзию.

— В молодости стихи пишут все, а в поэты выходят единицы, — сказал он мне.

Во мне он такой единицы не видел. Но все же пошел мне навстречу, и однажды послал в Литинститут своего снабженца с моей рукописью в приемную комиссию, и там сказали, что по этим стихам трудно заранее угадать — есть во мне талант или нет. А главное, что к тому времени желторотых школяров туда уже не принимали, нужен был хотя бы двухгодичный трудовой стаж. Это было одно из нововведений Хрущева в системе образования. Результат этой поездки отца устроил, а во мне зародил сомнения относительно своих способностей, но я все-таки стал ходить на литературное объединение при молодежной газете, познакомился и подружился со всеми, кто был одержим болезнью стихотворчества. Заканчивая второй курс радиоинститута, в июне перед четвертой сессией, решился на отчаянный шаг — драпануть из дома в Сибирь, там заработать стаж и поступить в институт своей мечты. Получив очередную стипендию, собрал в рюкзак самое необходимое, написал родителям записку, чтобы не искали, объявлюсь сам, когда устроюсь на новом месте. На вокзале взял билет до Омска, потому что перед окошком кассы не смог вспомнить ни одного другого сибирского города, и — ту-ту!

— Однако это довольно-таки авантюрный поступок для молодого человека. Вы сделали выбор. Что же дальше?

Да, об этой моей «сибириаде» можно было бы написать книгу, но только не с моей ленью. Вкратце обстояло так. Пока были деньги, днем я ходил по

Омску, обедая в кафе и столовых, а ночью спал на вокзале или на лавочках в парке. Понятия не имел, как надо устраиваться на работу. В конце концов зашел в один из райкомов комсомола и рассказал о своих проблемах первому секретарю. Помню, меня удивила его канцелярская фамилия — Справец. Николай тут же куда-то позвонил. И направил меня со своей запиской в строительный трест номер пять. Оформился в общежитие и скоро оказался в составе бригады асфальтировщиков.

Потом перевелся в бригаду плотников-бетонщиков, участвовал в комсомольской стройке всесоюзного масштаба — в строительстве сажевого завода, который должен был производить полупродукт для производства автомобильных шин. Научился сбивать опалубку для бетонных колонн, бросать совковой лопатой бетон. «Бери больше — кидай дальше! Отдыхай, пока летит!»»

Работа для щуплого, неширокого в плечах парня была не из легких. Однажды утром не смог подняться с постели, все мышцы отказали. Пришлось менять работу, и редактор строительной многотиражной газеты, бывший фронтовик Александр Пантелеевич Вербов с удовольствием меня принял. Я оказался для него находкой, ездил и бегал по стройкам, брал интервью у прорабов, быстро писал. Потом познакомился с местными писателями, стал с ними выступать по школам и заводам, меня дважды напечатали в журнале «Сибирские огни». Моя школьная робкая муза стала бойкой рабочей девчонкой, и я честно заработал двухлетний трудовой стаж для поступления в Литературный институт. А также получил рекомендации из Омского отделения Союза писателей СССР. В августе 1961 года стал студентом столь вожделенного ВУЗа.

Потом, после его окончания, началась работа, которая не требовала знаний и умений, полученных мной в институте. Пошла газетная и радийная поденщина — бесконечные статьи и передачи на все темы, от политических до хозяйственных и социальных. Ездил по колхозам и совхозам с блокнотом и микрофоном, ходил на заводы и стройки, писал за партийных боссов и председателей колхозов. На Камчатке, в Корякском национальном округе, где прожил девять лет, кочевал с оленеводами по тундре, ходил с рыбаками по Охотскому и Берингову морям, налетал сотни часов на вертолетах и самолетах местной авиации и всюду строчил в блокнот, щелкал затвором фотоаппарата, совал человеку прямо в лицо микрофон… Трижды отбивался от привычной стези — уходил в токари, в лесорубы, в библиотекари, в директора сельского Дома культуры. Но обратно возвращался на ее родную и осточертевшую, но приносящую кроме зарплаты еще и гонорары…

Из-за перемен в личной жизни в 1983 году приехал в Беларусь, не предполагая, что она заворожит и завлечет меня на всю оставшуюся жизнь. И немалую роль в этом притяжении сыграла литература — Мележ, Шамякин, Короткевич, Быков, Янка Купала, Максим Богданович, Максим Танк.

— Я внимательно прочитала рукопись Вашей книги «Час молитвы» и нашла в ней немало превосходных стихов. К какому поколению Вы себя относите и почему при явном таланте Вы за свою долгую жизнь не сумели пробиться к широкому читателю?

— Как иногда говорят на телевидении — хороший вопрос. И для меня болезненный. И я на него без помощи моего друга по Литинституту питерского поэта Валерия Прохватилова, ныне уже покойного, ответить вряд ли смогу. Воспользуюсь его статьей в двенадцатом номере журнала «Нева» за 1988 год «Реплика из заднего ряда», в которой он очертил временные и созидательные рамки поколения, к которому мы оба с ним принадлежим. Цитирую:

«Как ни горько сознавать, наша жизнь прошла между двумя всплесками демократии: в пятьдесят шестом нам было 17—20. В восемьдесят шестом — 47—50. Мы никогда не занимали литературных постов, не имели никаких льгот,

никогда никому не кланялись. Мы — те самые фрондеры, кто входил в литературу или только-только начинал писать в период первой оттепели. Мы — дети двадцатого съезда КПСС, который развенчал культ личности вождя народов. Мы в большинстве своем скептичны, самостоятельны и нелицеприятны в суждениях, в меру оппозиционны к властям, во всяком случае, никогда не поем с чужого голоса. Да, удел наш был — фронда, скепсис, едкая реплика из заднего ряда, анекдот о Брежневе, самоирония.

…Всякое время вообще делит своих певцов, как показывает опыт десятилетий, на угодных и неугодных. В этом плане мы еще долго будем пожинать не только кровавые плоды сталинщины, но и горькие плоды застоя. Не сумели вписаться в это сонное обездвиженное время, погибли в противодействии ему Высоцкий, Вампилов, Шукшин, Казаков, Рубцов. Ибо таков был их надрыв и мера ответственности перед обществом.

Три пути было у поколения, лишенного гласности и трибуны: либо за кордон, либо в пьянство, либо в могилу… Был у нашего поколения еще и путь четвертый — у самой честной, самой совестливой части его — это работа, работа и еще раз работа. В основном, разумеется, — «в стол». Без надежды на публикацию, но зато и без уступок внутреннему редактору. Истинная работа, дающая радость, реализующая потребность сопротивления.

Но был и пятый путь — это обслуживание застоя, писание в русле господствующей идеологии, путь конформизма и угодничества перед издателями и редакторами, перед теми, кто определял политику и течение литературного процесса. В нашем поколении немало было и «угодных». Их расчетливые цинично-оптимистические творения расходились по стране огромными тиражами. Их рифмованные сообщения на какую-нибудь из заданных тем заполняли журналы. За двадцатилетие с 1965 по 1985 годы некоторые из таких поэтов-борзописцев сумели выпустить до двух десятков сборников».

Сам Валерий оставил после себя за это двадцатилетие всего лишь две книги стихов и одну — прозы. В 1968 году он принес в издательство «Советский писатель» рукопись книги «Возвращение в легенду» с благожелательными рецензиями поэтов И. Сельвинского, С. Наровчатова, Л. Озерова. Фактически это была его дипломная работа в Литинституте. И восемь лет ходил в это издательство, где на него смотрели как на досадную помеху: как — ты еще не уехал? Ты еще живой? Ты еще не спился? Вторую книжку он сдал в 1977 году, а вышла она в 1985-м. В томительном ожидании, в сознании насильственного отвержения от литературы Валерий за двадцать лет после окончания института с описанного им четвертого пути свернул на второй, стал заливать свое отчаяние от невостребованности алкоголем и, не дожив до пятидесяти, навсегда заснул в борозде своего дачного участка. Застой и его адепты, усевшиеся на тепленькие места в литературной номенклатуре, убили поэта «милостью Божией».

Есть и еще один аспект нашей отверженности за двадцатилетие застоя. В местных отделениях Союза писателей СССР шла жестокая конкуренция за место в очередности издания книг, за тиражи, даже за бумагу в период ее дефицита. Я это прекрасно помню по рязанским писателям. Отодвигали от издания нас, молодых и желторотых, известные и пожилые, среди которых были, к сожалению, и бывшие фронтовики. И мои товарищи, молодые рязанские поэты председатель колхоза Вячеслав Карасев, учитель Анатолий Сенин, электромонтер Валерий Сухарев, газетчик Владимир Филатов, слесарь Александр Архипов, с пониманием уступали им и очередность, и тиражи. Все, что нам разрешалось, — это участие в коллективных сборниках, где каждому отводилось по десятку страниц. Первой самостоятельной книжки все они ждали так же долго, как и Валерий Прохватилов. За это время все постепенно превратились в пьяниц, потому что талантливые люди неудачи и беды, к сожалению, часто заливают алкоголем. Вот и моя первая книжечка в издательстве «Московский рабочий» тоже издана была

не самостоятельно, а в одной кассете с книжками Алексея Корнеева, Вячеслава Карасева, Александра Архипова. Потом мои стихи включили в коллективный сборник «У истоков великих рек»…

Потом я уехал за «туманом и запахом тайги» на Камчатку. К тому времени у меня была уже семья, которую надо было содержать. И снова меня кормила журналистика. Там в местном Союзе писателей приоритет издания книг тоже был за писателями старших поколений, а также за национальными писателями — коряками и чукчами. И в местном Союзе тоже толкались локтями за деньги и тиражи. А без «корочки» члена Союза писателей мне претендовать на книжку было чистой фантазией, хотя в моих блокнотах накопилось достаточно стихов о Камчатке, о ее поразительной по красоте природе и ее людях отважных профессий.

Поэтому я не толкался в издательствах, видя полную бесперспективность своих притязаний на самостоятельную книгу. Это одно. А второе, я был слишком строг к себе, считал, что у меня еще мало стихов, достойных внимания читателей. Не хватает стихов — от души к душе, от сердца — к сердцу. Я как-то долго не мог нащупать свою ознобную тему, чтобы этот озноб творчества мог почувствовать и читатель. Мастерски сделанные, но холодные стихи мне не хотелось публиковать. Я сам себе был и остаюсь таким безжалостным редактором, которого невозможно ни уговорить, ни подкупить. Кстати говоря, я и сегодня исповедую свою старую методу — подержать новоиспеченное стихотворение взаперти пару-тройку месяцев, чтобы потом свежим взглядом как бы чужого человека их оценить и решить его судьбу.

Помните, как это у Николая Ушакова — «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Это решение еще более утвердилось во мне, когда я приобщился к вере своих дедов и прадедов. Я вообще пересмотрел отношение к своему творчеству, увидев в нем питательную среду для возрастания во мне гордыни. И я не хочу питать ее ни тиражами, ни похвалами в печати, ни мельканиями на поэтических тусовках. Я полностью положился на волю Господа в отношении судьбы моей книги. То, что угодно Господу, не пропадет. А то, что не угодно, пусть пропадает…

И все же, перевалив за семьдесят лет, я был готов на издание книги стихов и переводов. Но не встретил людей, своих коллег по Союзу, издателей, которые были бы в этом заинтересованы. Каждый заботится только о себе, умножает число публикаций и книг в погоне за известностью и премиями. Правда, была одна возможность скороспелого издания в открывшемся года четыре назад в Гродно издательстве «Зебра». Они мне подготовили рукопись до состояния, которое называется версткой. Но оказалось, что у издательства нет лицензии на издание книг. А потом они передали свое дело в новые руки, а новые вовсе публиковать меня отказались. Тем более что речь шла о бесплатной благотворительной акции. Собственных средств у меня никогда не было.

— Русский язык и использование его современными русскоязычными авторами в Беларуси. Ваше отношение к этой проблеме.

Самый подлинный исконный русский язык, зафиксированный в позапрошлом веке В. И. Далем, звучал вокруг меня в моем детстве естественный, как воздух. Этот подарок судьбы я оценил до конца только в мои нынешние годы. Поэтому я, конечно, считаю себя русским литератором, живущим в Беларуси.

Разумеется, белорус, родившийся в Беларуси, по определению должен бы творчески самоопределяться на национальном языке. Но истоки выбора языка закладываются в детстве. Если у писателя нет в загашнике деревенского детства, памяти материнской хаты, белорусской языковой среды, ему при всем желании не удастся создать произведение, принадлежащее к национальной литературе. Это как голос, который ставит человеку в детстве сама природа. Это вкус к Слову,

который ставит в детстве сам язык, любой, в данном случае белорусский. На мой взгляд, потом во взрослом состоянии начитать, впитать этот язык из книг Купалы, Коласа, Шамякина, Короткевича, Быкова и других языкотворцев белорусской литературы, наверно, и возможно, но потребует многих лет и усилий. И все равно идеал — знание языка во всем его объеме и глубине — останется недостижим.

В нашем литературном обиходе есть авторы, которые позиционируют себя как белорусские писатели, пишущие на русском языке. Это, как правило, горожане во втором или третьем поколении, впитавшие в себя русский язык и от родителей, оторвавшихся от национальной почвы, и через русскую литературу в школе, через телевидение и другие средства информации. Кроме того, русский язык еще со времен Советского Союза остается языком межнационального общения. На бытовом уровне, а главное, в семьях, тоже ведь везде звучит русская речь. Такие авторы идут по линии наименьшего сопротивления, пишут на русском языке. Вот тогда-то и возникает та литература, принадлежность которой к русской весьма проблематична. Конечно, она претендует на определение как *русскоязычная*.

От русской литературы ее отличает многое, прежде всего сделанный неживой язык, манерность, некритичное следование литературным образцам, а то и явное эпигонство. Это в лучшем случае. А в худшем — глухота к русской речи, к русскому языку от его лексики до грамматики, постоянное нарушение грамматических норм.

В самом этом слове «русскоязычный» мне чудится нечто означающее литературу второго или третьего сорта, нечто состряпанное наспех или по давно отжившим меркам и рецептам. Точно так же я расцениваю и слово «белорусскоязычный» (автор). Всем этим «-язычным» мое художественное чутье отказывает в подлинности.

— Ваши впечатления от первого знакомства с белорусскими поэтами, писателями, кого вы бы выделили в вашей судьбе, кто помог с публикациями в литературных изданиях?

Самым первым белорусским поэтом, в конце девяностых, подавшим мне руку дружбы на гостеприимной земле Беларуси, стал известный в республике поэт Алесь Письменков, в то время главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва». Он с первых же дней знакомства задал доверительный тон нашему общению. Алесь поразил и привлек меня своей широкой натурой, я бы сказал, романтическим обликом и тем, что называют дружелюбием. Хотя переход на «ты» был невозможен в силу более чем двадцатилетней разницы в возрасте.

И он, и его ближайшие соратники по редакции и вообще по литературе Павел Воробьев и Наум Гальперович без обиняков дали мне рекомендации для вступления в Союз белорусских писателей, который по произволу отдельных литераторов занял жесткую обструктивную позицию к русскому языку и к писателям, для которых этот язык либо родной, либо тот, на котором они мыслят и пишут.

У меня не было никакой уверенности, что меня в этот Союз примут. Так оно и произошло. Я об этом не жалею. Единственное, чего мне жаль, — это потери моих рекомендаций во время организационных перетасовок и переездов национального писательского штаба. Никогда уже не смогу прочитать, что обо мне написал один из лучших лириков Беларуси, чьим мнением я очень дорожил.

К сожалению, наше эпизодическое общение во время моих редких посещений Минска не смогло перерасти в настоящую дружбу, да к тому же Алесь вскоре умер. Это случилось в апреле 2004 года. Но он успел заронить в меня глубокий интерес к творчеству поэтов так называемой «могилевской школы» поэзии, в которой безусловным авторитетом был участник Великой Отечественной войны



Георгий Киселев. Начало 1960-х гг.

Алексей Пысин, самобытный и яркий поэт, несколько стихов которого я по просьбе Алеся перевел.

В поэзии Алесь Письменков по праву занял свое место в одном ряду с Янкой Купалой, Аркадием Кулешовым, Пименом Панченко, Алексеем Пысиным. В Беларуси имя Алеся Письменкова не забыто, и творчество его востребовано, прежде всего, его земляками. Ежегодно летом в Костюковичах на родине поэта проводится областной фестиваль поэзии и бардовской песни под названием «Письменков Луг».

Подборка моих переводов из Алексея Пысина, о которой я упомянул, еще пару лет ждала своего часа, пока не попала на глаза главному редактору журнала «Всемирная литература» Таисе Николаевне Бондарь, которую Господь послал мне в качестве доброго ангела и помощника на моем литературном и жизненном пути.

Пришел к ней впервые в кабинет редактора «Всемирной литературы» в июле 2000 года. Пришел потому, что уже четыре года увлеченно переводил с немецкого языка гениального поэта двадцатого столетия Райнера Мария Рильке, а количество переведенного уже достигло того предела, когда выход к читателю кажется единственным выходом из тупика. Бегло проглядев пару стихов из подборки моих переводов, Таиса Николаевна сказала:

— Рильке в нашем журнале еще не было. Оставьте! Я посмотрю, может быть, что-нибудь и подойдет! Скорее всего, в начале будущего года.

И в третьем номере журнала за 2001 год увидел всю подборку своих переводов полностью и без единой правки, все тридцать три стихотворения. Это был мой личный праздник и, думаю, праздник самого Рильке…

В это время я заинтересовался творчеством и самой Таисы Николаевны. Наибольшее впечатление на меня произвели романы «Ахвяры» (1992) и «Мечаная» (2000), повесть «Імем Айца і Сына», книга стихов «Чырвоны месяц года» (1985) и «Час душы, мой час вячэрні» (1995). Перечитал все книги Таисы Бондарь, что были в нашей районной библиотеке. Когда я однажды разговорился с ней о ее творчестве, то предложил перевести на русский язык шесть маленьких поэм из ее «Книги песен», она согласилась. Ей моя работа пришлась по сердцу. Три из них, а именно «Сон-трава», «Доля» и «Колокола» пошли в журнале «Всемирная литература» в том же году в девятом номере, а потом вошли и в книгу ее лирики, изданной в Москве. Вскоре в журнале появились и мои переводы стихов Пысина.

С легкой руки Таисы Николаевны я увлекся белорусской поэзией — классической и современной. Немецкая поэзия у меня отошла на довольно большой срок в сторону, уступив место новому и всепоглощающему увлечению. С радостью

перевел объемистые циклы стихов Аркадия Кулешова и Максима Танка. И они тоже были опубликованы в любимом детище Таисы Николаевны.

Последней нашей совместной работой был перевод ее исторической поэмы «Рогнеда» о судьбе полоцкой княжны, которая стала женой киевского князя Владимира, о ее страданиях в этом насильственном браке, о ее непокоренном свободолюбии и мужестве. Моя часть работы была принята Таисой Николаевной благосклонно, и внеся небольшую правку в мой перевод, она авторизовала его. Переводить эту сложную по сюжету и лирическому воодушевлению поэму я начал в феврале 2005 года, а в мае она уже была опубликована на русском языке в журнале «Нёман». Таиса Николаевна поторопилась с публикацией, словно предчувствуя, что жить ей оставалось недолго. Она ушла из жизни 19 декабря того же года, в памятный день святителя Николая. Мне довелось получить от автора в подарок и самостоятельное издание поэмы отдельной книгой с прекрасными иллюстрациями художника Владимира Товстика. Сожалею, что при достаточно частых встречах, мы не сделали ни одной совместной фотографии, все откладывали на потом…

О нет, не случайно появился этот автограф на ее главной, как она считала, духовно-философской книге «Знаки вечности», подаренной мне в 2002 году: «Георгию Ивановичу, переводчику, другу, прекрасному поэту». Из всей этой похвальной триады больше всего меня тронуло слово «друг». Стало быть, за год после моей первой публикации я прошел в ее глазах путь от незнакомого человека до того, на кого можно надеяться, кому можно что-либо поручить, с кем можно отвести в разговоре душу.

Честно говоря, после ее неожиданного и стремительного ухода из жизни в декабре 2005 года на моем пути не встретилось другой столь масштабной личности, какой была Таиса Бондарь, совмещавшая в себе таланты руководителя, проповедника духовной жизни и просто замечательного человека. Меня до сих пор поражает сочетание в личности Таисы Николаевны Бондарь талантов поэта, прозаика, публициста и философа. И во всех своих ипостасях она была достаточно сильна. Ее прозу отличала крепкая мужская хватка в четкой логике сюжета, в лепке характеров, в построении строки. В публицистике она будила и звала к преображению погрязших в суете повседневной жизни людей с неистовостью христианского пророка. Она позволяла себе чуть приоткрыться читателю как женщина только в поэзии. Но и в стихах билось не только нежное сердце рано потерявшей любимого человека женщины, но и беспокойная мысль за судьбу человечества, которое в целом живет в несогласии с Богом.

Именно после моего успешного переводческого дебюта в журнале «Всемирная литература» я был приглашен к участию в подготовке материала для антологии белорусской поэзии, издаваемой в Москве. К работе над этой книгой был привлечен очень талантливый коллектив, со стороны Минска филолог Татьяна Павловна Андрейченко, а в Москве интересы Беларуси представляли поэт Любовь Турбина и прозаик Алесь Кожедуб.

Приятно сознавать, что уровень этой книги был настолько высоким, что Антология белорусской поэзии двадцатого века «Из века в век» номинировалась даже на Премию Союзного государства.

— Поговорим о критике. Есть фраза Корнея Чуковского «В России надо жить долго», чтобы стать свидетелем перемен, забвения вчерашних кумиров, и наоборот, возвращения из небытия забытых имен. Вы мечтаете, чтобы одно-два стихотворения остались в «большом» времени, или хотя бы одна строка?

— Кто же об этом из пишущих не мечтает, уважаемая Ирина Сергеевна! Мой учитель поэзии в Литературном институте Илья Сельвинский эту надежду на бессмертие своих стихов выразил очень кратко:

Народ!
Возьми хоть строчку на память.
Ни к чему мне тосты да спичи,
Не прошу я меня обрамить —
Я хочу быть всегда при тебе,
Как спички.

Мы все живем в так называемом «малом времени», один из его критериев — наш эгоизм, человеческая мелочность, страх перед будущим, неспособность за малым видеть перспективу великого, или «большого» времени. Никогда не собирался быть литературным критиком, хотя к себе и своим стихам всегда относился критически и до сих пор иногда сомневаюсь, можно ли мои статьи о поэтических новинках считать полностью отвечающими этому боевому жанру литературы. Или, может быть, они больше относятся к жанру «эссе», потому что включают в себя мои раздумья на тему «жизнь и литература» в более широком ракурсе, чем это предлагает объект исследования.

Но на безрыбье и рак — рыба. С 2001 года публикуюсь в журнале «Нёман» не только как поэт и переводчик, но и как автор статей о творчестве белорусских поэтов. Сначала эти статьи были о творчестве поэтов, которых я переводил. Но с 2011 года со статьи «Даешь европоэзию!», в которой я попытался осмыслить новое для меня явление молодой национальной поэзии, в моих статьях из-под спуда доброжелательности пробилась и критическая струя. Думаю, мне удалось показать, что формальные новации некоторых молодых белорусских поэтов и представителей так называемого «второго фронта искусств» не имеют опоры в национальной традиции. Именно в таком ключе были написаны далее статьи «Кирпичом по Пушкину», «И божество, и вдохновенье», «Лечебные слова женской лирики», «Нам ли нужна благодать?», «Есть странные люди — поэты» и другие.

Считаю сверхзадачей — если не выявлять имена, то, по крайней мере, отделять то, что является поэзией, от того, что таковой не является. Не только от непрофессионального стихотворчества. Чаще — от вполне профессиональной — но не поэзии, а среднестатистической «гладкописи». Как и от поставленного на поток однообразного «эксперимента». От филологической мимикрии под поэзию, которой, мне кажется, сейчас развелось вполне достаточно в национальной литературе. Всякий новоиспеченный кандидат филологии, увлекаясь экспериментами в поэзии, считает своим правом заявить себя наследником традиций если не Якуба Коласа и Янки Купалы, то Максима Танка, который в последнее десятилетие своей жизни предпочитал писать верлибром.

Но оценивая произведения тех или иных авторов, особенно национальных, в которых вижу просчеты формы и провалы в эстетике, всегда стараюсь отметить положительные тенденции в их творчестве, увидеть перспективы роста, ненавязчиво подсказать, как им дальше развивать свое дарование. Естественно, как всякий пристрастный в литературе человек, могу ошибаться, и роль непререкаемого эксперта мне чужда.

Но как раз подобная — оценивающая — критика сегодня не у дел. Там, где нет острой конкуренции, нет и потребности в судьях. А конкуренции на поэтическом поле почти не осталось. Никто никого не толкает локтем, все более или менее мирно распределились по своим сферам, «тусовкам» и «нишам». А там, где нет критической оценки, литература впадает в летаргический сон довольства и самоуспокоенности, что исключает ее нормальное развитие.

— Ваше отношение к русской литературе в Беларуси, какое место занимают писатели, пишущие на русском, в отечественном литпроцессе?

— Вопрос непростой, что касается русской литературы Беларуси, русской не только по языку, но и по ментальности.

Процитирую уважаемого мэтра литературоведа Анатолия Андреева, который в статье «Острова Архипелага N» (№ 1 «Нёмана» за 2016 г.) пишет: «…*Литература есть, а критики нет, следовательно, литературы как бы нет. Ее не замалчивают, уточним истины ради, о ней именно не говорят, официально не говорят, — в силу, надо полагать, «очевидной» второразрядности «русскоязычного материала*»…

А. Андреев продолжает: «*Есть поэты, есть писатели, но нет литературного процесса (составляющее которого — критика, устойчивый интерес литературоведения, изучение произведений в школах и вузах, наличие общественно-литературных изданий, системы продуманных культурных мероприятий), и как результат — нет прописки в общественном сознании, где русская литература Беларуси занимала бы подобающее ей место, свое место, не чужое*».

Я считаю, что своими статьями в какой-то мере работал против дефицита общественного внимания к русской поэзии Беларуси, с равной добротностью старался исследовать творчество как белорусских поэтов, пишущих по-белорусски и по-русски, так и чисто русских поэтов. Но, честно говоря, у меня уже кончился порох воевать почти в одиночку за качество поэтического слова, за нравственную чистоту поэзии и высоту ее помыслов.

Литераторов, которые обладают выверенным художественным чутьем и способностью оценить на его основе чужое произведение, всегда мало. Но если они есть по самой природе своего дарования, их надо беречь и лелеять, создавать все условия для их полноценного творчества в области анализа конкретных произведений текущей литературы. Тем более что от нашего писательского руководства часто исходят эти благие пожелания, что нам де нужны талантливые люди и в области литературной критики, что нам, белорусским литераторам, как воздух необходим активно действующий общественный институт критики.

Но как раз этого института, то есть аналитического сопровождения литературного процесса, в Беларуси и нет. Служение подлинному художественному Слову — не только радостная, но и тяжкая доля. Особенно если ты честен, а не угодлив, и пишешь то, что думаешь, сражаешься, что называется, с открытым забралом за художественную правду, которая не всегда равносильна жизненной.

Но вот уже года четыре, может, и больше, как я не пишу статей для журнала «Нёман». Устал быть одиноким воином за чистоту и подлинность в поэзии. Не откликаются ни задетые мной авторы, ни собратья по критической стезе. Да их, собственно говоря, и нет. Одни уже далече, а другие пишут панегирики известным уже состоявшимся литераторам. Здесь рука руку моет. Сегодня похвалишь в статье ты меня, а завтра я тебе в газете или на радио осанну спою. На могиле критики вбит осиновый кол равнодушия к судьбе литературы. И вот не пишу статей, а у самого немножко пощемливает ретивое: ну как же так, остаются новые книги и молодые авторы без взгляда со стороны, никто не указывает им на просчеты, никто не хвалит за удачу. Бредите наугад, на ощупь в густом и темном лесу писательского сообщества, где за деревьями света не видать — света доброты и благожелательности к юным и молодым дарованиям.

Не пишу статей, и похоже, всех это устраивает… И редакции, и так называемый пару лет назад образованный институт критики, и уж тем более читателей. Тишь и гладь в литературе. Сладко дремлется в этой тишине корифеям и начинающим, талантам и бездарям. Вспоминается на эту тему гравюра испанского художника Франсиско Гойи «Сон разума». Кто еще не совсем уснул, посмотрите!..

— Дошли до важной творческой составляющей Вашей литературной деятельности — сложности и тонкости перевода. По этому поводу даже говорят: писателю переводчик — друг, а поэт — конкурент. С чего все началось?

Кажется, в 1996 году, когда я рисовал портреты в парке имени Челюскинцев в Минске, я купил в ближайшем книжном магазине небольшую оранжевую книжечку стихов великого немецкого поэта Райнера Мария Рильке в переводе Е. Борисова. Скромности переводчика хватило на то, чтобы не раскрывать читателю своего имени-отчества, что меня, конечно же, подкупило. Не высовывается вперед автора, скромно стоит в сторонке. А ценность этой книжечки была в том, что рядом с переводом на соседней странице располагался оригинал, и можно было сравнивать идентичность обоих. Интерес к немецкому языку у меня сохранился еще со средней школы, и это помогло мне разобраться, где перевод точен, а где приблизителен, а где ради рифмы искажен смысл. Я серьезно «заболел» переводческой лихорадкой. Перевел по-своему добрую половину этой книжечки тем же летом.

А потом я окунулся с головой в это явление мирового значения — Райнер Мария Рильке. Прочитал о нем все, что мог достать, брал его на немецком языке в Гродненской библиотеке иностранной литературы, читал, переписывал в тетради. Компьютер у меня появился только пятнадцать лет спустя. Долго объяснять, каким образом, но, в конце концов, у меня появилось полное собрание сочинений Рильке на немецком в трех томах и три тома на русском, изданных в 1999 году Московским издательством «АСТ». Ну, кажется, Рильке уже почти весь переведен, и стоит ли тратить порох, чтобы перевести еще раз уже переведенное? Но «болезнь» меня не отпускала. Я переводил ни для кого, ни для чего, видимо, ради собственного удовольствия. Я так вчитался в него, так вошел вглубь его поэзии, что Рильке на время затмил собой все мои бывшие авторитеты в русской поэзии — я перевел на русский две его книги «Часослов» и «Книгу картин».

Да, чуть было не забыл, я попытался заинтересовать моей работой немецкий культурный центр, так называемый Институт Гете в Минске. Но все, что они смогли и захотели, — устроили мне творческий вечер в библиотеке. Помочь финансово, чтобы издать мою работу, отказались. Прозвучало из уст директора центра, что если бы это был перевод на белорусский, тогда другое дело.

В немецкой поэзии я постепенно увидел вершины разной высоты и не оставил их без того, чтобы сделать по ним несколько шагов вверх. Перевел большой блок стихов Гете, немецких романтиков от Клеменса Брентано до Йозефа фон Айхендорфа. Около тридцати стихов из сборника немецкой народной поэзии «Волшебный рог мальчика». А потом, когда в 2012 году у меня появился компьютер, я натолкнулся в интернете на сайт «Век перевода», вокруг которого сгруппировалось международное сообщество переводчиков на русский язык, я стал его участником и включился в конкурсы на лучший перевод того или иного стихотворения. Условия конкурса и параметры соревнований очень жесткие. Судят претендентов на победу очень опытные переводчики, просто асы своего дела. Главный арбитр — известный в мире переводчик Евгений Витковский. Однажды мне довелось добиться второго места, когда я перевел стихотворение немецкоязычного румынского поэта Альфреда Шперберга «Дорога».

В журнале «Нёман»в последние годы опубликованы две внушительные подборки моих переводов из немецого поэта Анетты фон Дросте-Хюльсхоф и из французской поэзии Леконта де Лиля. Моему увлечению французским уже лет пять, не меньше. Иногда пронзит все существо простая мысль — а зачем мне, по большому счету, эти переводы? Я и свои-то стихи не сумел издать… А кому нужны мои переводы?! Забава изощренного поэзией ума, не больше. Не пора ли бросить. И писать только свое. А все-таки тянет к мировой поэзии. Что-то в ней черпаешь такое, чего нет в отечественной, ни в русской, ни в белорусской. Совсем непохожий на наш мир мыслей и переживаний.

После ухода из журнала Таисы Бондарь я не стучался во «Всемирку» пару лет. А переводы с немецкого все копились и копились. Наверно, сугубо прагматичный человек не стал бы заниматься делом, которое не приносит никакого

дохода. Но поэзия — ведь это не просто дело, которое забирает всего тебя со всеми, как говорится, потрохами. Это еще и влечение души, радость общения с поэтом, жившим раньше тебя и писавшим на ином языке.

И вот осенью 2009 года я постучался в редакцию «Всемирки». Только теперь это был уже журнал в журнале. Когда-то красивейшее и полнокровное издание скукожилось до двадцати-тридцати листов в журнале «Нёман». И редактором этих листиков был уже Юрий Сапожков. Ему я и принес переводы стихов Ремарка. Многих наших читателей, вероятно, удивит это сочетание — всемирно известный писатель, автор романов «На западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Жизнь взаймы» — и вдруг стихи. Но какой прозаик не отдал в молодости дань поэзии! Эрих Мария Ремарк не был исключением.

Насколько помню, вначале этому факту не поверил и Юрий Сапожков. И попросил, чтобы я ему показал подлинные тексты Ремарка. Путь из Волковыска до Минска неблизкий, да и человек я по своей натуре довольно медлительный. Короче, наша совместная работа над переводами затянулась месяца на три. Как всякий самолюбивый переводчик втайне был очень раздосадован дотошностью Юрия Михайловича, считая это своего рода недоверием ко мне как к переводчику. Но потом в моем сознании произошел перелом, и моя досада превратилась в уважение к человеку, столь внимательному к каждой мелочи текста.

У нас оказались схожие вкусы в литературе. Оба мы охотно и с удовольствием переводили наших белорусских поэтов. Вспоминаю мастерски переведенные Юрием Михайловичем подборки стихов белорусских поэтов. Все они были украшением журнала «Нёман». Причем проникновение в мир избранных для перевода поэтов было настолько глубоким, что Юрий Михайлович ими не ограничивался, а свои попутные работе мысли записывал в особую тетрадь. Эти записи потом обрастали комментариями, и в конце концов получалась статья, раскрывающая тайны мастерства того или иного поэта. Так образовались две книги критики и литературоведения «На просторе слова» (2008 год) и «Меж духом и словом» (2012), в которых Юрий Михайлович раскрылся как человек, самозабвенно служащий Слову, на каком бы языке оно ни было запечатлено: от белорусского до английского, который он чувствовал не хуже родного. И сейчас, когда мой друг ушел в те пределы, откуда нет возврата, продолжаю духовно общаться с ним, раскрыв его книги, в том числе и книгу поэзии «Точка невозврата». Каждую его поэтическую и прозаическую строку читаю как завещание. Очень много совпадений с тем, как думаю и чувствую я сам. Юрий Сапожков для меня пример бережного отношения к Слову. Каждое его стихотворение — это образец мысли, избирающей самый краткий путь к сердцу читателя.

Для меня была полной неожиданностью его ранняя кончина. Будучи больным, он всегда оптимистично со мной говорил по телефону. Мы так с ним сдружились, что казалось, знаем друг друга со времен молодости. Он был человеком гостеприимным и щедрым душой, с ним можно было говорить начистоту обо всем, что нас волновало и трогало в обществе, в жизни писательского сообщества, в творчестве. Сколько раз в таком открытом разговоре мы засиживались в его квартире за полночь, не запрещая себе утехи в застолье, и он оставлял меня ночевать! Наши разговоры были для меня продолжением семинаров Литературного института. Оба мы беззаветно любили поэзию и служили ей по мере сил и таланта. Его нет уже шесть лет, и по-прежнему остается его место в моем сердце.

— Русская поэзия в XX веке — Ваши предпочтения, имена. С кем из поэтов-современников Вас сводила судьба? Что Вы больше всего цените в поэзии?

Начну с ответа на последний вопрос. Ценю прежде всего точность и неординарность выражения мыслей и чувств поэта, будь это чистая лирика или стихо-

творение гражданского звучания. Ценю крепкую лепку слов. Ни одного слова в строке или строфе не должно быть лишнего, необязательного. Просто ради связки слов или рифмы. Люблю короткую строку на две-три стопы. Люблю точную рифму. Сквозь строки стиха должна просматриваться личность поэта, его особенный, присущий только ему взгляд на мир. Ценю его открытость и исповедальность, но до определенной грани. Нельзя трясти перед читателем нижним бельем и открывать свою наготу. Во всем должна быть мера, диктуемая художественным вкусом. Когда этой меры нет, то в стихи проникает обыкновенная житейская пошлость, которой часто бывают заражены бездарные стихотворцы.

Русская поэзия XX века — это такое многомерное и разноликое явление, что в условиях интервью его несколькими словами и не охватишь. Могу сказать, что за свою жизнь я перечитал почти всех значительных и даже не очень известных поэтов, чьи книжки мне попадались. Особенно тех, кто жил в одно время со мной. Здесь можно назвать десятки имен. Назову лишь тех, чьи книги стали для меня откровением, расширили горизонты жизни, стали импульсом для собственного сочинительства, обогатили меня духовно. Это прежде всего Николай Заболоцкий и Арсений Тарковский, Николай Рубцов и Алексей Прасолов, Наум Коржавин и Борис Чичибабин, Евгений Винокуров и Юрий Левитанский, Анатолий Жигулин и Василий Казанцев, Владимир Соколов и Станислав Куняев, Юрий Кузнецов и Игорь Шкляревский, мои однокашники по Литинституту Геннадий Хомутов и Анатолий Чиков. Да, это не просто моя прихоть, что ставлю их имена наравне с именами знаменитых и первостатейных поэтов. В лучших своих стихах они сумели выразить и время, жить в котором им довелось, и свое место в нем. Не могу удержаться, чтобы не процитировать хотя бы одно стихотворение Анатолия Чикова.

Мое молчание мне в тягость,
Хочу я высказать свой взгляд.
Поэзия не только благость
Душещипательных рулад.

Она и гнев, и юмореска,
Она и исповедь, и боль.
В ней все, что выверено, — веско,
В ней мудрости крутая соль,

И в ней живут, до срока кроясь,
И крылья зрелости юнцу,
И пожилым спасенья пояс,
И звон пощечин подлецу.

А вы как думали, ребятки?
Какого вам еще рожна?
А щекотать кому-то пятки
Она не будет, не должна!

В последнее десятилетие, читая в интернете журналы, которые когда-то выписывал или покупал в газетных киосках (от «Октября» до «Нового мира»), открыл для себя ряд новых имен, чья поэзия продолжает традиции классического русского стиха. Это ныне живущий поэт Геннадий Русаков (книга «Разговоры с Богом», опубликованная в журнале «Знамя») и уже покойный Александр Аронов (автор песни о собаке в фильме «Ирония судьбы»), острый ироничный поэт 60—70-х годов прошлого века. В Беларуси всегда интересуюсь, что нового написали Марьян Дукса из Сморгони и Николай Наместников из Витебска.

Особенно волнует меня судьба и творчество русских поэтов зарубежья. Здесь к давно почитаемым мной именам Георгия Иванова и Владислава Ходасевича прибавились имена глубоких проникновенных лириков XX века Ивана Елагина

и Валерия Перелешина. В их поэзии нахожу отклик своим заветным мыслям и думам о месте поэта во времени.

Мне повезло побывать на встречах с поэтами новой волны в Политехническом музее, слушать Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину, Окуджаву, Рождественского. Бывал я и на стихийных летних поэтических тусовках около памятников Пушкину и Маяковскому. Помню, как читали свои стихи Петр Вегин и Игорь Волгин, ныне признанный знаток творчества Достоевского. А Вегина я не особо любил за явное подражательство Вознесенскому. Видел и слышал Высоцкого в спектакле Театра на Таганке по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Бывал на операх и балетах в Большом театре по контрамаркам. Наш институт старался за годы учебы окультурить своих студентов, многие из которых приехали в Москву из провинции или союзных республик.

Почти все яркие личности в поэзии шестидесятых были доступны моему взору в ЦДЛ (Центральный дом литератора). От Семена Кирсанова, ближайшего сподвижника Маяковского, до Александра Галича, чьи крамольные песни мы, студенты, уже пели на своих вечерних посиделках в общежитии Литинститута на улице Фонвизина. Видел поэтов-фронтовиков Константина Ваншенкина, Евгения Винокурова, Юрия Левитанского, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого. У Самойлова еще не было усов, ставших принадлежностью его облика позже. Эти поэты обычно собирались за одним столиком в кафе или ресторане ЦДЛ. Однажды я набрался смелости и подошел к ним. Сказал, что учусь у них мастерству. Они благосклонно меня выслушали, спросили, кто я и откуда. И только. Никаких других итогов я от этого признания любимым мной поэтам-фронтовикам и не ожидал. А я и вправду больше учился владеть формой и содержанием у них, чем у своего непосредственного учителя в Литинституте. Приведу хотя бы одно свое стихотворение тех студенческих лет:

Мы знаем жизнь, ее мы любим все,
Мы ею восторгаемся, как дети.
Смотрите, как прекрасен луг в росе,
А как прекрасны дали на рассвете!

Но час придет. Не избежать его.
Нам, смертным, всем положены пределы.
Но в мире не исчезнет ничего,
На что, живые, с вами мы глядели.

Не замыкайтесь в собственной судьбе —
Мы были, есть и будем! Мы — несметны!
Мы смертны только каждый по себе,
А вместе, люди, навсегда бессмертны!

Не правда ли, чистый Винокуров?! И однако я ни разу не попытался поговорить с ним tet a tet, показать ему стихи, попросить его о протекции в журнал. Я, может быть, повторюсь, но считал свои стихи студенческих лет ученическими и не придавал им самодовлеющего значения. Я ни разу за период учебы не постучался в двери ни одного толстого журнала, хотя некоторые мои товарищи ходили в редакцию журнала «Знамя», которая находилась поблизости от института, как к себе домой. Там отделом поэзии заправлял тоже наш товарищ по институту Анатолий Передреев, высокий, красивый, с большой копной ершистых, не поддающихся расческе волос, все время ходивший в плотно облегающем тело свитере, которое тогда называлось водолазкой.

Вокруг него всегда кучковались самые талантливые и продвинутые студенты. Я к ним не подходил, мне казалось, что у меня не было стихов, претендующих на внимание Анатолия. Да мешала и природная застенчивость. Помнится самое знаменитое стихотворение Передреева тех лет о городской окраине:

Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село <...>

В общежитии Литинститута через рязанского молодого поэта Бориса Шишаева познакомился и с Николаем Рубцовым. Не ставил себе задачей подружиться с ним, тем более что Николай уже был автором книги «Звезда полей», которую превозносили и цитировали на всех уровнях, в газетах и на семинарах, а у меня еще книжки не было. Но бывал с ним в одних компаниях, слышал его песни под гитару, на которой он неумело бряцал, но только один раз рискнул прочесть в его присутствии свое стихотворение. И еще хорошо, что он только кивнул головой, а мог бы сказать свое веское «бездарь», которым он как-то припечатал одного молодого стихотворца из Рязани, чему я был свидетель.

Ну вот, всех этих институтских впечатлений и встреч мне хватило на всю остальную жизнь. Где бы я ни жил, там обрастал знакомствами и дружбами с местными писателями и поэтами. О рязанских я уже рассказал. На Камчатке дружил с поэтами Алексеем Власовым и Анатолием Долговым, с писателем-коряком Владимиром Коянто. Об адресах своего поэтического притяжения в Беларуси я тоже уже поведал. К этому добавлю, что считаю своими добрыми друзьями всех, кто работает в редакции журнала «Нёман», а это прежде всего Наталья Михайловна Казаполянская и Олег Алексеевич Пушкин. Теперь вот своей творческой дружбой одарили меня и Вы, уважаемая Ирина Сергеевна.

— Недавно услышала от известного российского кинорежиссера такие слова — «не пожелайте своему ребенку таланта или одаренности». Как ни странно это звучит, соглашусь с таким высказыванием. Как вы определяете поэтический дар? Насколько он может влиять на жизнь человека?

— Есть такое понятие в общественном сознании и в литературном обиходе — «дар Божий». Господь может пометить им любого человека, не только людей так называемых творческих профессий. Есть люди, у которых спорится в руках то дело, которое они избрали, чтобы в жизни не бедствовать. Их сразу узнаешь, потому что они за работой не мрачные, не надутые, не сердитые на весь белый свет. От них веет спокойствием и радостью.

А вот творческая-то профессия очень часто не дает покоя ни днем, ни ночью. Потому как не сразу дается необходимый рисунок роли, верная композиция холста, вдохновенное прочтение сонаты Бетховена, точная и многозначная фраза… Надо поискать, помучиться, походить по комнате из угла в угол или побродить по городу или лесу, пока вдруг не проблеснет искомое решение, отгадка замысла автора музыки, точное слово, наполненная высшим смыслом строка. И обыкновенно в этот период поиска художник не отличается вниманием к близким людям, благожелательностью к неблизким, душевным равновесием. Он часто грустен и мрачен, он нелюдим, он просит, чтобы от него отстали, чтобы его не загружали пустяками и бытом. А его просят сходить в магазин, развесить на балконе белье, выгулять собаку, встретить из школы ребенка… Быть внимательным и ласковым ко всем, кто входит в круг его ежедневного общения. И он все это делает до поры до времени, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». А как только потребует — «Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полон, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы...».

Художник слова, прозаик или поэт, хорош и общителен, как правило, только на встречах с читателями. Или когда надо принимать дома гостей, или когда у него берут интервью на телевидении. И мало кто догадывается, что этот любезный и обходительный человек дома — невнимательный, не всегда приветливый тип, которого надо по два-три раза приглашать на обед и почти

невозможно оторвать от стола или компьютера, за которыми он в самозабвении творит свой очередной шедевр. И это только часть правды о талантливом человеке.

А задумаемся теперь о той части внутреннего облика такого человека, в которой живут и «благоухают» такие черты его характера, как ревность и зависть к более успешным на творческой ниве его собратьям, тщетно скрываемое желание известности (славы) и преувеличенная гордость уже сотворенным, которая в христианском понимании носит название гордыни. Вот весь этот букет тщеславия зачастую и питает душу даже поистине талантливого художника. Он начинает работать на потребу своей гордыне, не считаясь ни с кем и ни с чем, ни с ближними своими, ни с собственным здоровьем, а иногда ни с честью, ни с совестью. И тут уже все возбудители тщеславия хороши — и вино, и наркотики, и насмешка над любовью, и надругательство над святым. Разрушаются семьи, оставляются дети. Зато умножается число поклонников, книг и записей на магнитофоне. Я не буду называть имен, приводить какие-то примеры. У всех потребителей песен и литературы они на слуху.

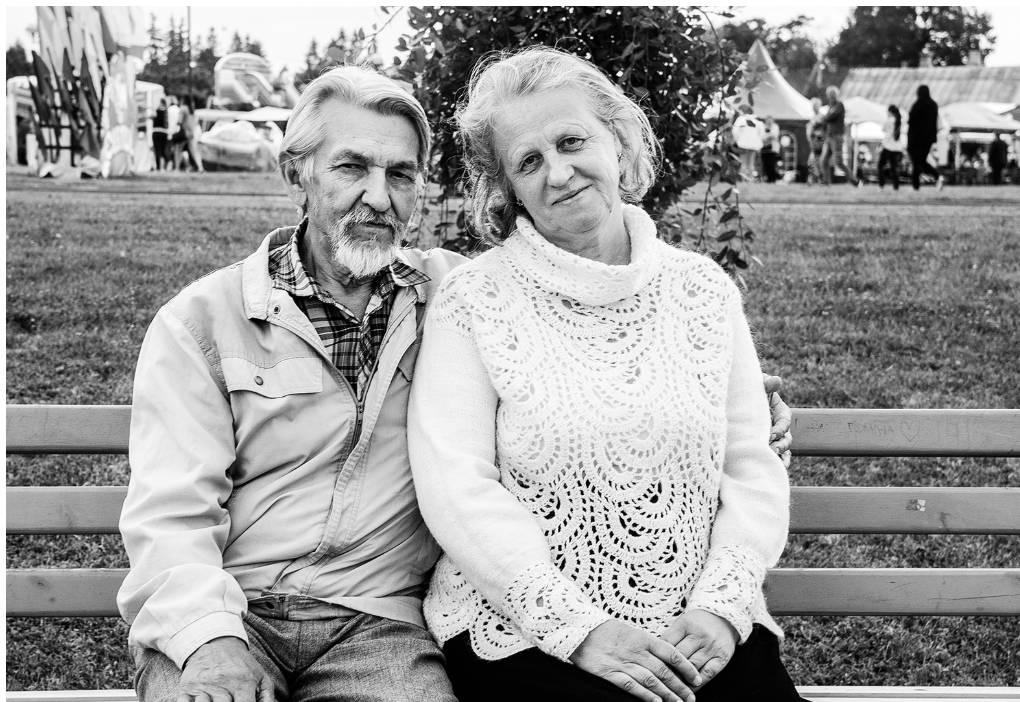
А уж если все это возможно для гениев, то почему нельзя для их поклонников и бесчисленных подражателей? Особенно же стараются походить на своих кумиров начинающие и молодые поэты. Если уж Сергей Есенин бухал, то почему мне не быть похожим на него не только цветистой образностью, но и пристрастием к алкоголю, почему не усилить восприятие жизни возлиянием? И молодые рязанские поэты, мои товарищи, очень талантливые люди, в прошлом крепкие парни Анатолий Сенин, Евгений Маркин, Александр Архипов, Валерий Авдеев, Владимир Филатов, все спились, мало кто из них дожил даже до пятидесяти лет. К сорока годам они были уже практически алкоголики, хотя успели вступить в Союз писателей, издать по нескольку книг. Подчеркну, однако, что все лучшее они создали в первое десятилетие творческой жизни, до своего падения. И вы знаете имена белорусских писателей, которые не справились ни с тщеславием, ни с пагубными привычками…

Поскольку я православный человек, то обращусь к понятиям и образам своего вероучения.

Для меня несомненно, что высокое самолюбие многих успешных литераторов подпитывает враг рода человеческого, противник Иисуса Христа. Нет, он не требует, как некогда Мефистофель у Фауста, подписать с ним контракт кровью. Мелкие продажные за славу души все равно будут принадлежать ему. И он подключается к стараниям таких людей подняться по карьерной лестнице, попасть в состав элиты, умножить тиражи своих книг и стряпать для читающей толпы все новые и новые «шедевры». Такие люди лихо продвигаются вперед, успешно начальствуют и утоляют свою гордыню часто за государственный счет. И не помнят о Боге. А зачем им Бог? У них и без Него все в жизни прекрасно. Они и не догадываются, что, даже третируя Бога, они являются объектом Его любви. Только между ними и Богом стоит уже Его антипод, который и не дает своему подопечному сделать хотя бы шаг навстречу Господу. Да, Бог любит свое создание, он терпеливо ждет, когда человек сам придет к нему и скажет: «Господь, прости меня, помоги мне!..» Но придешь ты к Богу, не придешь к нему, а отвечать перед Ним придется всем. Об этом я написал двадцать лет назад так:

И полон храм, и полон рынок.
И помнят сонмы торгашей,
Как их Христос неумолимо
Из храма вытолкал взашей.

Дверь за собою притворю я
И в храм войду, задумчив, тих.
Одни торгуют и воруют.
Другие молятся за них.



С женой Алевтиной Александровной.

Один грешит, другой страдает,
Но каждый вздрогнет пред концом.
Неверье не освобождает
Нас от ответа пред Творцом.

За все, чем душу напитали,
Чем измеряли глубь души, —
За дивиденды, капиталы,
За воровство, за барыши.

Перед Тобой, печальный Боже,
Как заюлят они тогда,
Кто на земле ни дня не прожил
В острастке веры и стыда!

Если же говорить о себе, то чем для меня была поэзия в течение жизни? Забавой, развлечением или служением призванию? Сложно ответить на этот вопрос. Скорее всего, тайным и любимым увлечением с юности, переросшим в пожизненную потребность, в осмысление жизни через поэтическую строку. Мне долго казалось, что я еще не умею писать тех стихов, которые будут кому-нибудь нужны как воздух, вода и хлеб. Поэтому я держал свои стихи в столе, словно в сундуке с увесистым замком.

Когда я окончил Литинститут, уже знал, что не буду печататься любой ценой, т. е. писать стихи, которые угодны тогдашним идеологам, издателям и редакторам. Так оно и вышло. Но время от времени я проверял качество своей поэзии, которая была для меня и хобби, и отвлечением от работы для хлеба насущного. Я посылал свои стихи в журналы. Когда жил в Сибири, меня публиковали «Сибирские огни». На Камчатке напечатал «Дальний Восток». В журналах «Молодая гвардия» и «Нева» мои стихи появились благодаря товарищам по институту Саше Петрову и Валере Прохватилову, они в то время в этих журналах работали. В «Наш современник» я сам стихов не посылал,

редакция несколько раз перепечатывала их из журнала «Нёман». Но за жизнь у меня накопилось несколько папок неопубликованных, а значит, и невостребованных читателем стихов…

Есть у меня стихи о стихах. Считается предосудительным писать подобные. Это вроде бы как искусство для искусства. Но я все же написал стихотворение о поэзии сорок лет назад.

Все перепробовал без счета
Под хладным небом и в тепле.
Поэзия — моя работа
Единственная на земле.

Кидал бетон, точил детали
Иль грелся в тундре у костра,
А мысли где-то там витали,
Где рифма музыке сестра.

Рубаха, мокрая от пота,
Взлетает сейнер на волне.
Внутри шла главная работа,
Второстепенная — вовне <…>

Да, так оно и было. Пока я не пришел к Богу, а это случилось уже более четверти века назад, поэзия воплощала для меня и смысл существования, и веру в высокое предназначение человека. Когда стал молиться и читать Евангелие, Псалтирь и Писания святых отцов, я вознегодовал на себя, что не вник в эти полные высочайшей поэзии тексты ни в молодости, ни в зрелые годы, что опоздал прийти к Христу на целые полвека. Я бы жил иначе, писал иначе, с большей ответственностью, более совестливо, не натворил бы в жизни всяких безрассудных поступков, за которые мне сегодня стыдно перед Богом и ближними. «Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и бремя тяжкое отяготеша на мне» (Псалом 37).

Да, не будь в моей жизни этой тяги к выражению своих мыслей в рифму, я бы прожил свои восемьдесят, а точнее, шесть десятков из них, скромнее, целомудренней, ценил бы и берег тех спутников по жизни, которых мне посылало само Провидение, не гнался бы за ложными ценностями, не правил бы лодку жизни на призрачные маяки и не расшибал бы ее днище о подводные камни гордыни…

Мне трудно сейчас объективно оценить, насколько я прав и виноват в том, что моя личная жизнь, жизнь сердца, сложилась так, а не иначе... Но я был колеблемым тростником под ветром страстей и увлечений. И все оправдывал поэзией. Я влюблялся в предмет обожания для того, чтобы написать проникновенные чувственные стихи. Для стихов естественно и искусственно поддерживал в себе состояние влюбленности. Я разменивался на мелкие увлечения молодости, тем самым отдаляя от себя возможность подлинного чувства. А когда Любовь пришла ко мне в уже достаточно зрелом возрасте, я не сразу узнал Ее…

Все теперь в моей жизни неизменное и окончательное. Как подарок судьбы со мной Женщина, которая тридцать лет назад обновила всего меня, вызвала во мне фонтан творческих сил, родила мне самую любимую позднюю дочку. Не удержусь от того, чтобы показать вам, читатель, стихотворение тридцатилетней давности о Той, которая спасла меня и духовно, и физически, привела за руку в Церковь, научила молиться…

Уже нельзя и проще, и прямее.
За далью лет не разгляжу лица.
Я снова — о веронце, о Ромео,
О любящем одну и до конца.

Уже у дочек подрастают дети.
Глаза в очках над книгой подниму.
Я снова — о шекспировской Джульетте,
Бескомпромиссно верной одному.

Влюблялся я не раз. О чем жалеть мне?
Пылал. Страдал всей силой чувств и строк.
И каждая была чуть-чуть Джульеттой,
Но я ни с кем Ромео стать не смог.

Я не гожусь для чистого примера
И в суетном ничтожестве зачах.
Но ты вглядись в меня: я — твой Ромео,
Седой, невзрачный, сгорбленный, в очках.

Я для тебя со старостью в раздоре
И лишь с тобой, годам наперерез,
Я выбросил на свалку боли-хвори
И возвратил свой юношеский вес.

Дышу с тобой я духом бескорыстья
(А правят бал порою вор и хам),
И только ты меня вернула к кисти,
И лишь с тобой вернулся я к стихам.

И значит, моя песенка не спета:
И кисть порхает, и щебечет стих.
Я верю, ты и есть моя Джульетта.
Какую я всю жизнь искал в других.

Жизнь преподносит подарки и тогда, когда от нее уже ничего не ждешь. В завершение моего рассказа о самом себе, конечно, неполного, я поделюсь с вами своей радостью. В сентябре 2017 года я получил совершенно не ожидаемое и даже не чаемое письмо от своей учительницы математики в старших классах средней школы. Около шестидесяти лет я ничего не знал о ней, не ведал — жива ли. И вот оно — письмо из дальней-предальней школьной юности. Невероятно!

«*3 сентября в 15:49*

Дорогой Гера (когда-то давно для меня, как для Вашего учителя), а теперь Георгий Иванович! Вам пишет Ваш учитель математики Мария Ивановна! (Когда-то Дьячихина, а в настоящее время — Денисова.) Выдалось немного свободного времени, и я решила поискать Вас как поэта в Яндексе, и очень легко нашла!

Вы же были одним из самых сильных и любимых моих учеников! А ведь те годы — годы моего становления как учителя, я пришла к вам из института! Поэтому это лучшие годы моей жизни! Я очень вас всех любила и очень старалась дать вам настоящие знания! И вот я нашла Вас как поэта, дорогой! Вы замечательный поэт, и не только! Вы талантливейший критик! Я просто влюбилась в Вас, Вы — личность! Я позвонила Вале (однокласснице. — *Г. К.*) и рассказала, как Вас найти, и, кроме того, прочитала ей по телефону «Город юности» и «Учителя». Я узнала себя в той «учительше», которую Вы (СПАСИБО ВАМ!) упоминаете первой среди Ваших учителей! Если откликнетесь, напишу о себе! От всего сердца желаю Вам доброго здоровья! Ваша Мария Ивановна!»

Конечно, Мария Ивановна, тоже добрая душа, слишком завысила оценки моей личности и моих способностей. Ее можно понять. Каждому учителю хочется погордиться своими учениками. Вот они, эти несколько строк о Марии Ивановне из стихотворения «Учителя»:

Искал я на уроке икс,
Всю доску мелом испещряя.
Учительша стояла близ
И улыбалась, поощряя.

Почти прозрачная рука,
Очки и, как былинка, шея.
Вела урок она, строга,
Как воплощенная идея.

Ну разве не стоит после такого письма жить и не сдаваться хворям, и не поддаваться унынию, когда в тебя верят самая любимая и мудрая женщина в мире — Алевтина, дочка Мария, старшие дети, взрослые внуки, и даже твоя учительница Мария Ивановна!

О многом я не сумел рассказать: о годах учебы в Литинституте, о вечерах поэзии в Политехническом музее, в ЦДЛ и у памятника Маяковскому, об общении с А. И. Солженицыным в Рязани, о том, как я постеснялся встретиться с Юрием Гагариным, когда он был в соседней квартире в гостях у своего брата Валентина, о встречах с Василием Ивановичем Беловым в Вологде, о том, как вместе с двумя молодыми творческими личностями в Рязани образовал литгруппу под названием «Арион» (по одноименному стихотворению А. С. Пушкина), и какой общественный суд нам был устроен по этому поводу, и о многом другом, интересном и значительном для меня. Но оставим эти воспоминания на второй мой юбилей с очередным нулем. Доживем! Постараемся дожить!

P. S. Георгий Киселев — автор единственного сборника стихов «Прозрение», изданного в далеком 1968 году. Однако сегодня количество изданных поэтических сборников не является показателем значимости автора и его творений. Иногда думаю — может, позиция поэта, работающего в спокойной сосредоточенности над Словом не один десяток лет, лучше и честнее, чем торопливость в издании все новых и новых сборников, пылящихся потом на полках магазинов и библиотек?

Поэт за свою долгую жизнь написал «в стол» много стихов. И только в последние годы задумался о том, что же с ними делать. Не пора ли им выйти к читателю? Его новая книга «Час молитвы» давно сверстана, вычитана, готова к изданию, и если все удачно сложится — выйдет, хотя лучше не загадывать.

Сам же Георгий Иванович по этому поводу грустно шутит:

— Мне вполне достаточно, как говорят, широкой известности в узких кругах читателей журнала «Нёман», где публикуются время от времени мои стихи и переводы. Мне бы хоть одну, всего одну книжку издать, экземпляров двадцать, чтобы детям и внукам подарить. Вот, мол, чем наш отец и чудаковатый дед всю жизнь занимался. Вот на что потратил лучшие годы…

Беседовала Ирина ШАТЫРЕНОК.



Зоя ЛЫСЕНКО

Любовь и героика под флером фантастики

О постановке балета «Анастасия» в Большом театре Беларуси

Последняя балетная премьера Национального академического Большого театра продолжает линию постановок, которые обращаются к историческому прошлому Беларуси и ее выдающимся личностям. На сегодняшний день в репертуарной афише театра их три. Вначале, еще в 1995 году, появился балет «Страсти (Рогнеда)» Андрея Мдивани в постановке Валентина Елизарьева, который до сегодняшнего дня не сходит с репертуарной афиши театра. Позднее, уже в 2013 году, — балет «Витовт» Вячеслава Кузнецова в постановке Юрия Трояна. А в первой половине нынешнего сезона вышла очередная совместная работа Кузнецова и Трояна — балет «Анастасия», о котором и пойдет речь в данном материале.

В названиях всех этих постановок предстают имена их главных героев. И понятно, что балет «Анастасия» посвящен княгине Анастасии Слуцкой, имя которой стало широко известно после выхода на экраны фильма «Анастасия Слуцкая», снятого на киностудии «Беларусьфильм» в 2003 году. Можно сказать, что под его воздействием и зародилась идея создания балета, открывающего еще одну страницу истории Беларуси.

Над киносценарием, так же как и над балетным либретто, работал драматург Анатолий Делендик. По его словам, основная трудность в этой работе заключалась в том, что исторических сведений об Анастасии Слуцкой сохранилось совсем немного. «Но у меня за плечами все же немалый опыт — 30 пьес и 7 киносценариев, и я рискнул попробовать: при недостатке конкретных фактов полагался на свою творческую фантазию, — говорит драматург. — Обычно все хвалят мои диалоги, но с написанием либретто я столкнулся впервые и сразу почувствовал, что здесь я как немой…»

В рецензиях на балетные спектакли обычно либретто не разбирают в силу их условности. Но здесь нельзя не сказать об одном важном нюансе, который повлиял на содержательную часть всего балета: приглашая Анатолия Делендика к сотрудничеству, театр выдвинул ему лишь одно условие: чтобы либретто не было похожим на киносценарий.

Юрий Троян поначалу стремился, чтобы и постановка «Анастасии» не была похожа на постановку «Витовта», хотя при этом утверждал, что оба этих балета — своеобразная дилогия, повествующая о событиях из эпохи Великого Княжества Литовского. В «Витовте» действие происходит в 80-х годах XIV века, а в «Анастасии» — на рубеже XV—XVI веков. И в одном, и в другом балете отечественная история предстает в образах знаменитых представителей белорусских княжеских родов, на сцену выводится собирательный образ и высшего сословия — шляхты, и простого народа (чем подкрепляется современная тенденция отображать национальный характер не только в его народных формах). «В процессе работы в какой-то момент я перестал переживать, что «Витовт» и «Анастасия» могут быть в чем-то похожими, и прекратил с этим бороться, — говорит Юрий Троян, — ведь



Анастасия (Ирина Еромкина) и Михаил Глинский (Юрий Ковалев).

генотип наших героев один и тот же, и они создавали историю одного и того же государства в разные периоды его развития». Более того, при детальном изучении биографий действующих лиц этих постановок можно обнаружить их династические и родственные связи, идущие из глубины веков.

Говоря о схожести «Витовта» и «Анастасии», нельзя также забывать, что их создавали одни и те же авторы, а творческий почерк состоявшихся мастеров всегда своеобразен и узнаваем, и с этим уж точно не нужно бороться. Обе эти постановки основаны на классической хореографии. Но по своему построению они отличаются от классического балета, структура которого подчинена определенному шаблону, предусматривающему строго выстроенные дивертисменты и вставные номера, призванные демонстрировать балетную технику исполнителей и непосредственно не связанные с сюжетом. Здесь же над чисто хореографическими выразительными средствами превалирует действенный танец, заключающий в себе элементы драматической игры и выражающий развитие событий, а также отношения между действующими лицами. Можно сказать, что и «Витовт», и «Анастасия» относятся к типу балетного спектакля, который называют хореодрамой или драмбалетом, способным воплощать на сцене сквозное действие и выражать самые сильные человеческие страсти и эмоции.

В отличие от классических балетов, в основе которых чаще всего лежат схематичные сказочные сюжеты, современные постановки, посвященные историческим событиям, опираются на серьезную драматургическую основу и обращаются к конкретным историческим личностям. Разумеется, в либретто все это должно находить свое отражение в соответствующей жанру форме. Поэтому кажется странным сам подход к его созданию: чтобы не было похоже на фильм… Если исходить из того, что все события, показанные в фильме, не противоречат исторической правде, то в либретто их следовало как-то переиначить. Хотя здесь нужно подчеркнуть, что и в фильме есть такие повороты сюжета, которые просто искажают некоторые знаковые события той эпохи. Похоже, что драматург понял свою задачу очень просто: оставаясь в сюжетных рамках киносценария, наполнить его коллизии новым смыслом, при этом мало заботясь об исторической правде…

В связи с этим нужно сделать одну оговорку: здесь не проводится никакого сравнения фильма с балетом, потому что это несопоставимые вещи. Некорректно даже сравнивать балет с другим видом театрального искусства, так как они используют различный инструментарий сценических выразительных средств. Речь идет только о содержательной, смысловой наполненности фильма и балета и о том, насколько они соответствуют исторической действительности, которая в них отображается.

В любом театре независимо от его жанровой принадлежности создатели спектаклей на историческую тематику всегда подчеркивают, что благодаря таким постановкам у зрителей пробуждается интерес к истории в целом и к тем или иным историческим событиям и личностям в частности. Бесспорно, это так. И особенно это важно в отношении неведомых нам ранее страниц из истории Беларуси. Но при этом в наших музыкальных театрах, как правило, подчеркивают и другое: что их спектакль — не иллюстрация к учебнику, а художественная интерпретация исторических событий. Бесспорно, и это так. Ведь даже самый реалистичный драматический спектакль отображает исторические события не иначе как в художественной форме, заключенной в рамки театральной условности. А уж тем более это присуще такому условному виду сценического искусства, как балет. Но при этом балетные спектакли, и в особенности современные, способны заключать в себе сложную драматургическую основу и посредством действенного танца выразительно отображать развитие сюжета и взаимоотношения действующих лиц. Поэтому вначале следует обратиться к содержательной части балета «Анастасия» и в общих чертах представить его главных героев, без чего невозможен предметный разговор о постановке.

Герои и время

Итак, в балете отображаются события, происходившие в удельном Слуцком княжестве на рубеже XV—XVI веков. В центре повествования поначалу предстает молодой князь Семен Слуцкий (из рода Олельковичей), который женится на своей двоюродной сестре Анастасии — дочери князя Ивана Мстиславского (у них был общий предок — великий князь литовский Ольгерд). К началу XVI века молодая пара имела двоих детей, которые тоже выведены в спектакле — сын Юрий и дочь Александра. Возможно, имя Анастасии Слуцкой затерялось бы в истории наряду с именами прочих княжеских жен, если бы она не оказалась в том месте и в тот час, когда решалась судьба не только ее семьи, но и всего княжества. Начиная с 1502 года, земли Великого Княжества Литовского подвергаются опустошительным набегам крымских татар, которые разоряют и сжигают поселения и города, а возвращаясь обратно, вместе с награбленным добром уводят с собой табуны лошадей и «полон». Большая часть «полона» продавалась на невольничьих рынках — ведь работорговля была основной статьей доходов Крымского ханства…

По сведениям историков, летом 1502 года Семен Слуцкий впервые столкнулся в бою с татарами на реке Уша — притоке Припяти. Его отряд, объединившись с частью великокняжеских войск, полностью разгромил татарский отряд, освободив пленников и отняв добычу. Но вскоре уже многотысячное войско татар, которое возглавлял сын крымского хана Баты-Гирей, подошло к самому Слуцку. Разграбив окрестности, татары пытались штурмовать княжеский замок, где укрылось большинство жителей города, но неожиданно для себя столкнулись с мужественной обороной и вынуждены были отступить.

В тексте либретто есть персонаж — хан Ахмат, который стоит во главе всех татарских войск и участвует во всех набегах. Но это вымышленное имя и неверное его употребление. Во главе Крымского ханства стояла династия Гиреев, и в

описываемый период его возглавлял хан Менгли I Гирей. В набеги он отправлял своих сыновей, а сам в это время был занят куда более важным делом: именно летом 1502 года он выступил в поход на своего основного соперника — последнего хана Большой Орды Шейх-Ахмеда. Интересно, что в киносценарии фигурирует истинное имя предводителя татарских войск, осаждавших Слуцк, — Баты-Гирей, только он выступает там в роли самого хана (ханских сыновей историки называют крымскими царевичами). Кажется, это мелочи, на которые не стоит обращать внимания. Однако они вводят в заблуждение тех зрителей, которые после просмотра спектакля действительно начинают глубже интересоваться данными историческими событиями, но ни в одной из публикаций не находят имени хана Ахмата (а о самом неожиданном персонаже, тесно связанном с ним, будет сказано ниже).

Для лучшего понимания сюжета следует хотя бы пунктирно обозначить события, последовавшие за первым штурмом Слуцкой крепости. Зная, что незваные гости рано или поздно заявятся снова, город готовился к новой обороне. Следующим летом крымчаки совершили очередной набег на города ВКЛ, однако к Слуцку не подходили. Но стоило только князю Семену отлучиться, как они мгновенно появились под стенами города. И вот тут княгине Анастасии пришлось впервые взять на себя всю ответственность и возглавить оборону. В результате татары снова ушли ни с чем. А за Припятью их догнал князь Семен со своей дружиной и при помощи подоспевших отрядов литовских магнатов полностью разгромил.

Но самым трагическим в обороне Слуцка оказался 1505 год, когда Баты-Гирей с многократно увеличенными силами снова появился под стенами города. Все попытки взять крепость штурмом были умело отбиты, и через какое-то время он вынужден был снять осаду. Эта оборона нашла свое отражение в Ипатьевской летописи: *«...и хотяху Татаре взяти Случеск и не могоша, биша бо их из града крепко».* Отступив, крымчаки оставили на своем пути не только разрушенные и разграбленные поселения, но и эпидемию холеры, которая косила людей независимо от их сословия и положения. Заболел и князь Семен… Перед смертью он назначил жену опекуншей двенадцатилетнего княжича Юрия.

Среди княжеской дружины не оказалось сильного и искусного воеводы, который взял бы на себя оборону города. И Анастасия, готовясь к отражению нового набега, пригласила на службу хорошо обученных наемников. Летом следующего года снова явился Баты-Гирей, на этот раз он пришел со своим братом Бурнаш-Гиреем и 20-тысячной армией. Еще будучи в трауре, Анастасия сама возглавила оборону — одетая в доспехи, она со стен осажденной крепости руководила отражением атак. Сколько татары ни ходили на штурм, *«подметы чинечи и огонь подкладаючи»,* но снова отошли от Слуцка ни с чем и направились в сторону Клецка, где вскоре состоялась знаменитая Клецкая битва, которая считается одной из самых значимых побед ВКЛ над крымскими татарами.

И здесь следует назвать имя того военачальника, под командованием которого 7-тысячная великокняжеская армия разгромила 20-тысячную армию татар. Это влиятельный магнат князь Михаил Глинский — маршалок надворный литовский, начальник Виленского монетного двора, фаворит великого князя литовского и короля польского Александра Ягеллончика. Но вскоре после своего триумфа Глинский оказался в опале. Александр умер, и великокняжеский пост занял его младший брат Сигизмунд, который лишил Глинского и его братьев всех высоких постов и положения при дворе. В ответ Михаил Глинский поднял мятеж. В 1508 году, уже будучи мятежником, Михаил посватался к Анастасии, но получил отказ. Почувствовав себя оскорбленным, самолюбивый Глинский решил взять княгиню вместе с городом силой — ведь Слуцкий замок мог стать для него надежным убежищем в борьбе с великокняжескими войсками. Дважды штурмовали мятежники неприступные стены, но Слуцк, ни разу не сдавшийся татарам,



Хан Ахмат (Такатоши Мачияма).

не сдался и их победителю Глинскому. Вскоре мятеж был подавлен, и Глинский с братьями перешел на службу к великому князю московскому Василию III.

Вплоть до последнего безуспешного набега татар, осуществленного в 1521 году, Слуцк так и остался неприступным. Никогда наши предки не впадали в вассальную зависимость от татар и не платили им дань — с ними всегда боролись и изгоняли их со своих земель.

Имя Анастасии Слуцкой ведь не случайно осталось в памяти потомков — она не только не позволила завоевателям взять город, но и восстановила его после многочисленных штурмов. В Троицком монастыре вместо деревянной церкви, пострадавшей во время осады, заложила каменную — в честь Божьей милости за спасение края от татар и в память о погибших воинах; укрепила верхний замок и возвела нижний. *«...І зараз княгіня град каля града залажыла, і нізіна раўнаватыся і падвышатыся пачала»,* — записано в Слуцкой летописи. Еще в начале XX века, пока Троицкая церковь была не разрушена, в ней возле алтаря висели выполненные в иконописной манере изображения князя Семена и кнгини Анастасии — их местные жители почитали как святых. Почитали Анастасию Слуцкую и в ее родных местах — на стене церкви Тупичевского монастыря в Мстиславле (разрушенной во время Отечественной войны) также был ее живописный образ.

Сюжетная линия балета

Говоря о содержательной части балета, его создатели подчеркивают, что конкретных сведений о жизни Анастасии, от которых можно было бы отталкиваться при построении сюжетной линии, практически не сохранилось, поэтому действие наполнено коллизиями, созданными их творческой фантазией.

В постановке выделяются две основные линии — героическая и лирическая. Притом мало сказать, что героическая линия нетипична для той эпохи — она просто неординарна. (Где еще была такая княгиня?) В общем-то, в этом и заключается «фишка» данного балета. Но вопреки ожиданиям, в нем явно преобладает лирическая, а точнее — любовная линия. «Мне не хотелось показывать Анастасию исключительно как воительницу, — говорит Юрий Троян. — Интересно было показать ее жизненный путь с юности, как она проходила испытания, которые закалили ее сопротивляемость. Ведь женщина, выросшая в тепличных условиях, не была бы способной к таким героическим поступкам. Поэтому я стремился, чтобы в балете было поменьше показных боев и побольше психологически сложных жизненных ситуаций и искренних монологов героев, раскрывающих их взаимоотношения». Здесь как будто и возразить нечего, но в постановке

практически невозможно проследить путь жизненного становления героини, зато искренних монологов во взаимоотношениях с мужскими персонажами в ней более чем достаточно.

В первой же сцене спектакля показывается встреча юной Анастасии с молодым Михаилом Глинским и их проникновенный лирический диалог. В либретто почему-то не указано место действия (хотя в последующих картинах указывается). Но исходя из логики сюжета, это должно происходить во владениях отца Анастасии — князя Ивана Мстиславского, у которого отец Михаила — Лев Глинский — был воеводой (или служилым князем, как указывается в некоторых источниках). То есть, Анастасия и Михаил знали друг друга с детства, и допущение об их романтических отношениях здесь вполне уместно. Их лирический дуэт в начале спектакля выразительно показывает душевную привязанность княжны к молодому князю и ее тщетные усилия удержать его. Михаил уходит — как будто в неизвестность…

И здесь нелишне будет привести некоторые сведения из биографии этого героя. В молодые годы Михаил Глинский 12 лет провел в Европе, где получил блестящее образование и овладел основными европейскими языками. Отличался необыкновенным умом, военным талантом и смелостью. Был известен среди многих титулованных особ, служил у Максимилиана I — короля Германии и императора Священной Римской империи, который пожаловал ему титул князя Священной Римской империи.

В следующей сцене зритель снова увидит Михаила Глинского — уже вернувшегося из Европы. Он прибыл на торжество к князю Ивану Мстиславскому, который созвал гостей по поводу бракосочетания дочери: Анастасия выходит замуж за молодого князя Семена Слуцкого (тут с хронологией событий не все гладко, но для балетного спектакля это не столь важно). Здесь важно другое — историческая недостоверность. Отец Анастасии не мог выдавать ее замуж по той причине, что он умер, когда дочери было не более десяти лет. Так случилось, что и Семен потерял отца приблизительно в таком же возрасте. Но князь Михаил Олелькович Слуцкий — отец Семена — умер не своей смертью. Он был казнен за организацию покушения на великого князя литовского и короля польского Казимира Ягеллончика. И матери Семена, княгине Анне, чудом удалось отмолить у великого князя право на наследство малолетнему сыну. Смилостивившись, Казимир выделил ему часть владений отца — Слуцк и Копыль. Так что Анастасия вступала в опальную княжескую семью. Хотя, возможно, эта опала косвенно касалась и ее самой — ведь Семен ей приходился двоюродным братом. Но вскоре после их свадьбы Казимир Ягеллончик умер, об опале быстро забыли, и молодой князь Семен Слуцкий быстро превратился в одну из самых влиятельных особ в ВКЛ.

Конечно, вовсе не обязательно, чтобы все вышесказанное отображалось в балете. Но в таком случае непонятно, о каких жизненных испытаниях юной Анастасии говорил постановщик — их в спектакле нет (сразу после лирического дуэта Анастасии с Михаилом идет сцена ее бракосочетания с Семеном).

И в этой сцене, очень зрелищной и красочной, с большим количеством гостей в лице великосветской шляхты, начинают разворачиваться захватывающие коллизии. Как уже говорилось, на это торжество является вернувшийся из Европы Михаил Глинский. Он поражен красотой Анастасии и совсем не скрывает внезапно нахлынувших на него чувств. Но ее сердце уже отдано Семену, и Михаил не в силах пробудить в ней былое к себе отношение. Однако внимание гостей привлекают две очень колоритные фигуры, прибывшие вместе с Глинским на торжество, — крымский хан Ахмат и его дочь Заира. Если руководствоваться логикой, то вместе с Глинским здесь могли появиться какой-нибудь герцог с герцогиней. Но если руководствоваться желанием наполнить сцену неожиданно контрастным колоритом, то логикой и историческим правдоподобием можно и пренебречь… Зато сколько яркости и неожиданных не только визуальных, но

и психологических контрастов!.. Ханская дочь не может оторвать глаз от блистающего европейским лоском Михаила и тщетно пытается окутать его своими восточными чарами, а сам хан предлагает ему сразиться в поединке, победитель которого получит приз — великолепную татарскую плеть-камчу. Этот поединок интересен сам по себе несопоставимостью его противников, и нужно отдать должное постановщику, — очень оригинальным хореографическим рисунком. Хан в нем демонстрирует первозданную природную силу, а Глинский — просвещенную техничность, в результате чего и побеждает. Восхищенная Заира, поздравляя Михаила, всячески пытается обратить на себя его внимание, но видит, что он весь поглощен Анастасией, чем только смущает ее. И тут уже князь Семен вызывает Глинского на поединок. Теперь это борьба достойных друг друга соперников, в которой побеждает Семен. Приз оказывается в его руках. Апофеоз всего торжества — счастье молодых. Но не все разделяют эту радость: Михаил страдает, а хан с дочерью ожесточаются.

Во второй картине уже отображаются события, которые происходят примерно через десять лет после бракосочетания главных героев. Перед зрителем разворачивается панорама заснеженного Слуцка, вдали виднеются деревянные постройки городского посада. Появляются в зимних дорогих нарядах дети княжеской четы — Юрий и Александра, которые с интересом наблюдают за народным гуляньем. Больше всего их веселят ряженые колядовщики. Вскоре происходит торжественный выход к народу князя и княгини. Все вокруг проникнуто праздничной атмосферой. Массовая сцена народного гулянья одновременно представляет и собирательный образ народа, и демонстрирует благополучную жизнь всего княжества.

В следующей сцене зритель видит княжескую чету уже в покоях замка. Вокруг царит атмосфера умиротворения и тихого семейного счастья, что находит свое отражение в проникновенном дуэте любящих и тонко чувствующих друг друга супругов. Но эту идиллию внезапно прерывают тревожные удары колокола.

Возникает тема татарских набегов: слышен стук копыт, разрастается зарево пожаров, люди мечутся в тщетных попытках укрыться от насилия и страданий. Этот неожиданный вероломный набег возглавляют… все те же хан Ахмат и его дочь Заира. Сразу же возникает открытый бой, в центре которого — бесстрашный князь Семен. Он искусный воин, но погибает от коварного удара ножом в спину, который наносит ему Заира.

Быль, превращенная в сказку… Если говорить в общем о набегах, то они совершались только летом — условия походной жизни татарских воинов не были приспособлены к зимним холодам. А если немного порассуждать о положении женщины в Крымском ханстве, то только в браке она получала определенные права, а до этого находилась в полной зависимости от семьи, жила исключительно на женской половине и в мужском обществе в принципе не могла находиться. Кроме того, крымские татары очень дорожили чистотой своего клана даже по отношению к другому татарскому роду. Так что образ Заиры здесь с любой стороны выглядит не иначе, как сказочным (увы, исторические реалии не позволяют назвать ее средневековой татарской эмансипе).

В произведении иного характера тему татарских набегов, в принципе, можно было бы представить в какой-то легендарно-мифической форме. Тогда в нее органично вписался бы и некий хан Ахмат — как собирательный образ татарских предводителей, а при определенных поворотах сюжета, возможно, и его дочь. Но тогда рядом с ними не должны фигурировать реальные исторические личности и не должно быть речи о конкретных исторических событиях, происходивших в известное время и в известном месте.

А в данном произведении все эти фантазийные вкрапления не усиливают, а наоборот, ослабляют силу эмоционального воздействия на зрителя, в кульмина-



Михаил Глинский (Юрий Ковалев), Анастасия (Ирина Еромкина) и Семен Слуцкий (Антон Кравченко).

ционные моменты уводя его из сферы реальных событий в какой-то мифический мир. Истинная сила авторского вымысла заключается ведь не в откровенной выдумке, а в том, чтобы реальные факты облечь в более выпуклую, выразительную и интересную для зрителей форму. А если реальных фактов не хватает, то вымышленные должны выглядеть правдоподобно и органично вписываться в рамки реальных событий.

Но вернемся к сценическому действию. Очень выразительной с точки зрения хореографии и эмоционально насыщенной выглядит сцена плача Анастасии по убитому мужу. Однако здесь происходит еще одно очень неоднозначное событие: вновь под предводительством Ахмата и Заиры врываются татары, расшвыривают во все стороны женщин, поддерживающих Анастасию в ее горе, и, как коршуны, кружат вокруг нее. А потом, как на дикого зверя, набрасывают на княгиню ловчую сеть. Сворачивают «добычу» в кокон и уносят с собой в татарский стан.

В третьей картине все действие происходит во вражеском стане. Татары празднуют победу. В центре воинской пляски — Заира! Под звуки фанфар вдруг появляется неожиданный гость — князь Михаил Глинский. (В период своего мятежа Глинский был в союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем, который даже приглашал его к себе на службу. Но в спектакле эта тема вообще не затрагивается, так что его появление в татарском стане не выглядит мотивированным.) Дорогому гостю — дорогой подарок! Ахмат приказывает принести оплетенный сетью кокон. Михаил разворачивает его… Видя перед собой обессиленную Анастасию, он проникается к ней прежним чувством и ожидает от нее ответного. Но Анастасия, даже будучи в положении униженной пленницы, отвергает Глинского. Невзирая на это, он отпускает ее на волю.

В последней, четвертой картине действие снова разворачивается в Слуцке. Заботясь о судьбах детей, Анастасия пребывает в растерянности и неуверенности в завтрашнем дне. Вскоре снова появляются татары и пытаются без боя за выкуп склонить ее к союзу. Вслед за ними появляется и Михаил Глинский, который предлагает ей руку и сердце, а также управление княжеством. Анастасия реши-

тельно отказывает. Незабываемый образ мужа дает ей духовные силы и помогает выстоять. Семен с ней всегда и везде, и это ее состояние проявляется в их щемяще-ностальгическом адажио: сначала они танцуют на расстоянии, исполняя движения, присущие парным танцам, а потом, словно наяву, сходятся… Духовная связь с мужем наполняет Анастасию смелостью и силой. Она готова защищать свой род и свой город. И здесь впечатляюще выглядит сцена, когда Анастасия ведет войско на битву (одна из немногих в героической линии). Неожиданно на ее сторону становится Михаил Глинский (в действительности после отказа Анастасии он сам штурмовал замок). От такого поворота событий Ахмат приходит в ярость и вступает в схватку с Михаилом.

Из всех четырех картин балета эта последняя выглядела бы наиболее правдоподобной, если бы не финальная сцена. Первоначально исход этой схватки опять решала Заира: как и в случае с Семеном, она вонзала Михаилу нож в спину (и это отражено в первоначальном тексте либретто). Но перед самой премьерой постановщики все же скорректировали эту мизансцену — Анастасия успевает отвести руку Заиры, предупредив коварный удар. И Михаил выходит из схватки победителем. (Здесь хочется провести параллель с финальной сценой фильма. Там в поединок с ханом вступает Анастасия и… убивает его! Вот только об этом подвиге княгини ничего не известно историкам…)

Спектакль заканчивается жизнеутверждающим мотивом: Михаил подводит к Анастасии ее детей, все проникнуты духом победы и надеждами на мирную жизнь. Ожидаемого апофеозного финала не получилось. И выразительной героической линии — тоже. На первое место в балете вышла любовная линия, однако при этом нельзя сказать, что ей подчинены основные коллизии постановки и мотивация поступков действующих лиц. По большому счету, спектакль скорее воспринимается как панорама различных событийных картин, чем целостное и законченное действие.

Музыкальная основа и постановочные решения

Композитор Вячеслав Кузнецов отмечает, что в последнее время все больше тяготеет к сюжетной театральной музыке. И в этом балете она яркая, образная, эмоционально насыщенная и драматургически выразительная. В ней ощущаются отзвуки и белорусской кантовой культуры, и фольклорные интонации, и татарский мелос. «Возможно, я даже несколько форсировал восточную тему, чтобы усилить контраст внутри самого произведения и между двумя моими белорусскими балетами, — говорит композитор. — В партитуре я увеличиваю ударную группу оркестра, но не ввожу никаких дополнительных инструментов — ни экзотических татарских, ни аутентических белорусских. Ведь средствами симфонического оркестра можно передать любые звучания».

И действительно, одна лишь восточная ритмика, несущая невероятную энергетику, способна передавать и все ужасы разрушительных набегов, и необузданные страсти татарских празднеств. А белорусские фольклорные интонации — атмосферу народных гуляний или душевное состояние женщин, отправляющих воинов на битву. Проникновенные лирические адажио, в свою очередь, — мир чувств и эмоций героев в любовных сценах. И дирижеру-постановщику Андрею Галанову удалось раскрыть богатство и драматургические контрасты партитуры и донести ее до публики на современном уровне восприятия.

А что касается хореографического языка постановки, то зритель здесь сталкивается со свежим, зачастую неожиданным рисунком танца, а также с новыми и оригинальными схемами пластического рисунка. Ведь современная хореография — прежде всего авторская хореография. И отметим, что хореографический язык «Анастасии» отличается также смысловой наполненностью и эмоциональ-

ной насыщенностью, что передается посредством выразительной позы, жестов и мимики, благодаря чему становятся понятны мотивы поступков героев.

Балет назван хореографической легендой. И это определение как бы оправдывает неожиданные повороты сюжетной линии спектакля и его фактические ошибки. Однако исторические легенды, как правило, имеют в своей основе реальные события, со временем дополненные и приукрашенные. Это в определенной мере относится и к сказаниям об Анастасии Слуцкой. Историки отмечают, что нет документальных подтверждений того, что Анастасия с оружием в руках лично участвовала в боях с татарами. Но за полтысячи лет ее образ стал легендарным и приобрел характерные черты фемины-воительницы, неизменным атрибутом которой является меч: *«Вось адкуль з'явіцца сімвал на фрэсцы, на кафлі // Вобраз жанчыны з мячом вярхом на кані» (Д. Бічэль-Загнетава)*.

Исполнительница партии Анастасии Ирина Еромкина, рассказывая о работе над спектаклем, отметила, что все время искала слова, которые бы отражали характер ее героини. И наконец нашла: «Хрупкая лилия на стальном стержне». В ее исполнении Анастасия в самом деле выглядит такой — нежной, женственной, как будто беззащитной, но при этом с чувством собственного достоинства и бесстрашной. Как уже отмечалось, упор в балете делается на любовную линию, поэтому у Анастасии на его протяжении даже четыре лирических адажио, сопровождающиеся нежной, с оттенком светлой грусти, музыкой. Вместе с тем Ирина Еромкина убедительно демонстрирует решительность и бесстрашие Анастасии, но это проявляется лишь в последней картине спектакля, когда та ведет воинов на битву.

Антону Кравченко, исполняющему партию князя Слуцкого, не впервой создавать образы сильных и волевых героев. В балете «Витовт» он исполняет партию Витовта, а в балете «Рогнеда» — партию князя Владимира. В «Анастасии» Антон Кравченко тоже создает образ князя-воителя, но в силу конструкции спектакля зритель больше запоминает его в лирических дуэтах с Анастасией со множеством разнообразных сложных поддержек. «Если бы мне нужно было одним словом ответить, о чем этот спектакль, я бы сказал — о любви!» — подчеркивает артист.

Самым неоднозначным и самым многогранным героем предстает в балете Михаил Глинский, партию которого исполняет Юрий Ковалев. Так же, как и Антон Кравченко, этот артист занят в предыдущих белорусских постановках: в «Витовте» исполняет партию Ягайло, а в «Рогнеде» — партию Владимира. «В этом балете мой герой больше всего похож на настоящего живого человека, совершающего противоречивые поступки и ошибки, — говорит Юрий. — Для исполнителя такой неоднозначный персонаж интересен тем, что позволяет добавить в его характер больше живых красок и сделать его более реалистичным». А это означает, что у танцовщика появляется возможность проявить свои актерские, драматические способности, и Юрий Ковалев их продемонстрировал.

В ярко характерном образе хана Ахмата предстал Такатоши Мачияма, черты внешности которого как нельзя лучше подчеркивают восточный колорит этого персонажа. Весь его облик ассоциируется с коварным степным хищником, внезапно налетающим на добычу. И эти зрительские ассоциации танцовщик подкрепляет невероятными полетными прыжками, в которых нет ему равных. При этом ему хорошо удается и чисто актерская составляющая этой роли, особенно в передаче характерных ханских повадок и эмоций.

А введение в балет образа Заиры одновременно решает несколько задач: оттеняет образ Анастасии, придает спектаклю больше зрелищности и создает дополнительную любовную интригу (что для постановщиков, пожалуй, было самым главным). Эту характерную партию исполняет Александра Чижик. Ее героиня наделена яркими и колоритными музыкально-пластическими характеристиками и вкупе с оригинальностью костюма является самым броским и

запоминающимся персонажем спектакля. Но не самодостаточным. Заира скорее выглядит яркой иллюстрацией к действию, чем его участницей. И даже то, что она убила Семена Слуцкого и по первоначальному замыслу должна была убить Михаила Глинского, не ставит ее в ряд главных действующих лиц. Она скорее воспринимается как персонаж символический, а не реальный, и все ее действия выглядят как бы случайными. Иначе придется поверить, что искусные в боях татарские воины не способны одержать победы без своей юной соплеменницы.

А теперь — о любовной интриге. Среди создателей музыкальных спектаклей распространено мнение, что без любовного треугольника он не будет интересным. Поэтому нередко пытаются внедрить этот самый треугольник в структуру произведения, где его изначально не было. А в случае с «Анастасией», создававшейся в театре, любовная интрига предусматривалась заранее. В этой задумке, конечно, нет ничего плохого. Но в таком случае эта самая интрига должна нести на себе основную драматургическую нагрузку и быть движущей силой всего спектакля.

В балете просматривается два любовных треугольника, но ни один из них не является классическим, где бы четко проявлялось соперничество сторон. В первом из них: Анастасия — Семен Слуцкий — Михаил Глинский есть основные признаки треугольника — двое мужчин любят одну и ту же женщину, и один из них явно лишний, однако между ними не наблюдается борьбы за нее. А в треугольнике Анастасия — Михаил — Заира вообще нет любящей пары, а потому нет и третьего лишнего. Как ни старалась Заира привлечь к себе внимание Михаила, он ее просто не замечал. И для Анастасии она не являлась соперницей. Так что зародившаяся было интрига тут же и угасла, не получив в дальнейшем никакого развития. (О том, что для столкновения противоборствующих сил и накала драматизма в произведении совсем не обязателен любовный треугольник, свидетельствует такой мировой шедевр, как «Ромео и Джульетта», который на протяжении веков находит свое воплощение буквально во всех видах искусства.)

И в заключение — о художественном оформлении спектакля. Его сценография выглядит весьма лаконично. Некоторую иллюстративность являет собой задник сцены с изображением виднеющихся вдали деревянных построек и луковок куполов таких же деревянных церквушек. Территория замка и его внутренние помещения не обозначены никак. Художник-постановщик Александр Костюченко главным элементом оформления сделал перенесенные на кулисы изображения фресок из полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. И это воспринимается весьма символично: лики святых как будто наблюдают за событиями из глубины веков, напоминая нам о незримой связи поколений и национальных духовных ценностях.

А костюмы, как в любом историческом спектакле, красочны и разнообразны. Именно по ним зритель определяет персонажей. В спектакле выделяется блок шляхетских костюмов богатых бордовых и золотистых оттенков, блок народных костюмов сдержанной серой гаммы и блок экзотических татарских костюмов.

«В белорусский костюм XV—XVI веков вместе с элементами того времени и предшествующих эпох плотно вошли защитные элементы, — говорит художник по костюмам Екатерина Булгакова. — Например, латы могли надеваться не только поверх будничной одежды, но даже и поверх праздничной. Поэтому в спектакле много мужских персонажей в латах. В костюмах также много декора, меха, металла, что тоже служит отражением той эпохи. Но разумеется, балетный костюм всегда фантазийный и условный — ведь невозможно одеть танцовщиков в настоящие латы или даже в настоящие светские костюмы».

Фото Михаила НЕСТЕРОВА.

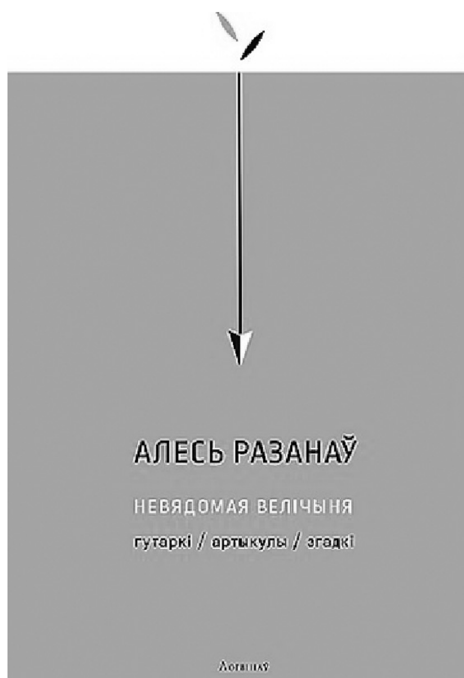
Искусство суждения

Иван ШТЕЙНЕР

День начинается с ночи, а поэзия — с молчания

Практически одновременно увидели свет две новые книги Алеся Рязанова. Подобное нередко случается в творческой практике этого интересного и оригинального художника слова, ибо две, а то и три книги (доходило до пяти — sic!), увидевшие свет одна за другой, обычно развивают и усиливают заявленную на данном этапе тенденцию, характерную для поэта. Первая из них («Невядомая велічыня. Гутаркі, водгукі, выступленні». — Логвінаў, 2017. — 254 с.) в определенной степени продолжает интересную и значимую книгу «З апокрыфа ў канон» (2010). В нее вошли статьи, интервью, диалоги с критиками, журналистами, объединенные поисками *неизвестной величины* — первосодержания и первосущности всей поэзии, ее непостижимой предтечи. Белорусский поэт считает, что эта неуловимая субстанция, присутствуя в стихотворении, явно находится вне зоны ее эманации. Она зрячая, видущая, но сама остается незаметной; имеет назывную функцию, но уклоняется от определений и наименований, а потому в чем-то сродни романтическому домовому XIX века — все знают, что существует, но никто не может сие обозначить, ткнуть в предмет пальцем. Поэзия же только в состоянии почувствовать ее незримое присутствие.

Вторая представляет собой антологию *пунктиров* (оригинального авторского жанра), созданных на протяжении полувека (Разанаў, А. С. Такая і гэтакі: талакуе з маланкай дождж: пункціры. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2018. — 278 с.). Книга — самое полное издание образцов данной формы, над которыми автор работал с 1966-го по 2017 год. Это значит, что побит рекорд народного песняра Якуба Коласа, который писал свои новаторские, до сих пор не имеющие окончательного жанрового определения «Казкі жыцця» 50 лет — с 1906 года до самой смерти. Однако книга интересна не только занимательной фактологией, ведь рекорды в искусстве весьма сомнительны и не всегда плодотворны. *Избранное* одной формы, поданное в хронологическом порядке, позволяет литературоведу и просто читателю проследить эволюцию самого жанра, а наиболее продвинутому исследователю и любопытствующему любителю тайн поэтических увидеть и постичь, как теоретические принципы, заявленные в книге первой, реализуются на практике во второй; как эволюционирует авторская концепция поэзии на протяжении длительного отрезка времени; как меняются авторские предпочтения и приоритеты. Это весьма интересно и занимательно, да и плодотворно с различных точек зрения. Вспомним творческие дискурсы одних из наиболее ярких русских поэтов начала прошлого века (А. Блок, В. Брюсов), оказавшихся к тому же самыми совершенными критиками и литературоведами, без работ которых весьма затруднительно постичь не только их творчество, но и развитие всей национальной поэзии. В этом плане значимость работ Алеся Рязанова по проблемам поэтического языка неоспорима, тем более что в первую книгу вошли публикации с 1979-го по 2017 год, период. В 1990 году он был удостоен Государственной премии страны.



Что же движет творцом, почему всегда он стремится к оригинальности? В античные времена философы подчеркивали, что люди зачастую пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы; так, в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры — яйца, шарики, крылья, топоры. М. Монтень писал, что такова же была мудрость и того человека, который увлекся вычислением, сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив невероятное количество таких комбинаций.

Подобные упреки падали и на молодого реформатора поэзии, намеревавшегося кардинально изменить ее облик. Самого Алеся Рязанова конце 70-х годов называли даже сюрреалистом, ибо не могли найти термин для обозначения его экспериментов, непонятных, а потому, как некоторые полагали, явно вредоносных для обыкновенного читателя. Это было довольно страшно, во всяком случае, весьма неприятно и неуютно в то своеобразное время, когда для выхода его этапного сборника «Шлях-360» понадобился *эскорт*, если не сказать более, из трех самых авторитетных поэтов того времени. Да и то, Пимен Панченко, защищая молодое дарование, вынужден был назвать его оригинальным поэтом так называемого авангардистского направления, к которому присоединяли кого угодно, в том числе и писателя-коммуниста Л. Арагона. Подобное восприятие, и тем более ярко выраженное неприятие, не особенно волновало поэта, иронично подчеркивавшего, что с куриной точки зрения утка — это сумасшедшая курица. Он даже приводил в качестве примера одного самоуверенного поэта, обещавшего одним махом написать дюжину квантем, еще одной авторской формы. Причем левой ногой. Даже Василь Витка, оригинальный детский поэт, называл произведения молодого коллеги *рахітычнымі, бездапаможнымі стварэнннямі*. Но уже тогда Алесь Рязанов подчеркивал, что нельзя читать квантему, да и другие экспериментальные (тогда!) формы как обыкновенное стихотворение. В них существен каждый звук, лексика: обыкновенный и обыденный круг слов они обходят и опускают. Здесь к месту очень значимое и существенное сравнение лексического запаса сочинителя с пчелиным ульем: слово принимает только своих, помеченных тем же духом и знаком. Иные нежелательны: стража их попросту не пустит. А посему они неповторимы, непереводимы. Срабатывает новая триада, классическая постулатность которой дерзко изменена молодым разрушителем общепринятого: тезис — антитезис — *инакость*. В экспериментальных новоформах не найдешь даже определенной, завершенной мысли, ибо и она ограничивает движение. Квантема — проявление «инознания», она, как и все микроформы, подчинена центральному, а не линейному письму: в нем все объединено со всем и направлено к центру, находящемуся в самом человеке. Подобное явление происходит потому, что ранее надеялись на слово, верили в его чудодейственную силу. Поэты и теперь пытаются воздействовать на сущностное своим словом, однако чувствуют, что утеряны какие-то ключи, позволяющие открывать замки

к таинствам бытия. Именно поэтому страдает Купала, жалуясь, что он далеко не всесилен и самодостаточен: вместо чудодейственного получается *поэтическое.* С точки зрения Алеся Рязанова, Купала чувствует, что красота, гармония, эстетическое наслаждение в качестве критерия сущности творчества несовершенны, ожидать от поэзии только этого — значит суживать ее предназначение. Не все можно уравновесить и гармонизировать: маятник, уравновешенный посредине, останавливается. Не все можно понять и разгадать; поэзия — *не сваволя і не апяванне, а паглыбленыя веды, дакладней, іншаведаннне*. Этот же тезис доминирует в эссе «Загавораная вада» (1983), посвященном Р. Бородулину. Отталкиваясь от научного исследования, что молекулы воды, над которой шептала деревенская бабка, размещаются между собой под определенным «углом», наклоном, он приходит к выводу, что слова в стихах классика тоже располагаются под определенным углом. Именно поэтому в его поэзии важно не то, о чем стихи, а сами стихи, не то, что они скажут, а то, что они говорят, не мысль, чувство, наблюдение, присутствующие в стихотворении, а их артикуляция — как они говорят, как звучат; существенно само говорение, сам рассказ, сами слова. Он не говорит о себе, он говорит собою. Он монологичен, но его монологичность полифоническая. Мысль в его поэзии существует в невыделенном, доличностном состоянии. И совсем по-своему рассуждает Алесь Степанович о метафоре. Так, как и следует творцу, а не книжнику или фарисею: природа метафорическая, природа образная, а посему метафорическое и образное творчество народного поэта. Ведь он воспринимает цивилизацию подобно зубру — на глаз, на слух, нюх, вкус, прикосновение. Весьма интересны рассуждения по поводу упреков Бородулину в повторяемости, ведь и самому Рязанову приходилось это слышать не раз, но парадоксальность мышления позволяет ему выходить из тенет казуистики: что поделаешь — яблоки Добра и Зла зреют на одной ветке.

Следующее эссе («З рыбінаю ў руках»,1994) посвящено Владимиру Конону, известному философу, в сфере интересов которого были этика, эстетика, литературоведение, критика, культурология, мифология, религиоведение, искусствоведение. Широкая эрудиция, умение аккумулировать знания, интегрально-синкретический характер творчества проистекают из глубины его души, считает Алесь Рязанов. Конон, согласно его метафоре, и рыбак, и рыба одновременно, а потому сможет накормить многие изголодавшиеся по идеалу души. Этим же годом датированы и эссе об Анатоле Вертинском и Михасе Стрельцове. О первом («Загадка дзвюх паралельных прамых») он говорит, что поэт появился как исключение из правил, как альтернатива самой тогдашней белорусской поэзии. Парадигма его творчества настолько не совпадала с общепринятой, что складывалось впечатление: все пишут вдоль, а он — поперек. Все умеют писать, а он — не умеет. Рязанов удивлен очевидным парадоксом: запас лексики А. Вертинского-поэта ограничен, эпитеты — простые прилагательные, метафор практически нет, однако есть ритм, убеждающий всех, что так и должно быть; ритм ведет стихотворение и показывает ему дорогу, открывает все тайны, находит и подбирает необходимые слова. Потенциал поэта настолько могуч, что в состоянии изменить эволюцию национальной поэзии, которую нельзя низвести к простому красноречию или сумме метафор: ведь это по существу только художественные приемы. Однако поэт сам испугался своей *неправильности*, поверил в незыблемую силу законов ремесла и вернулся к большинству, в годы существующей традиции. Он явился, но не выявился, а потому не реализовался до конца именно в направлении, предопределенном ему свыше. Просил у Бога сделаться подобным всем, избавить от уникальности — и был услышан: с чела его стерто божье знамение. Мы получили строгий и суровый урок, считает Алесь Рязанов. Своим явлением и онемением А. Вертинский диагностировал некие таинственные процессы, происходящие с человеком и в человеке, с обществом и в обществе, с поэзией и в поэзии.

В эссе о Стрельцове («Наступны, яшчэ не аб'яўлены, змест») акцентируется внимание на реалиях, прибретающих характер примет. Анализируя прославленную новеллу известного прозаика и поэта, Алесь Рязанов показывает, как обычные реалии предчувствуют и предвидят то, чего еще нет, но что должно произойти. Втянутые в виртуальную сферу надвременья, они становятся частью некоего неочевидного механизма. Реалии могут стать символами, как и то изрядно затасканное критиками и литературоведами *сено на асфальте*. Именно подобное восприятие мира помогло М. Стрельцову распознать то, что уже распознало его, приметить то, что уже приметило его. Благодаря своей исключительной интуиции, видущему началу он и сумел рассмотреть в лабиринтах улиц, в толпе и в ликах творцов определенные знаки, которые стали знаками его творчества: рядом с ним проскользнула ладья Харона, тень весла которой он успел заметить и зафиксировать. Тем самым семантическое поле примет оказалось богаче и значительнее, чем поле фактических реалий, к чему относится и ненаписанное. В очередной раз Алесь Рязанов утверждает, что до того, как опредметиться в словах, стихотворение *спраўджваецца* в действительности, и душа художника его переживает. Только в процессе беседы с душой оно (произведение) и созидается. А потому слова, собранные в стихотворении, свидетельствуют о чем-то необъяснимом и непостижимом, происходящем вне его поля; смысл слов не в них самих, а в том загадочном, что их вызвало и объединило.

За гранью очерченной действительности все настойчивее вырисовывается грань, где все и ничто обозначают одно и то же («Размова ў прысутнасці «Яйкаквадратаў» (1993), «Яйкаквадраты» (1993). В некоторых случаях А. Рязанов идет следом за К. Малевичем (давайте вспомним *яйцеквадраты* на обложках ряда его книг), стремясь воссоздать *НИЧТО* на фоне Космоса, подчиняясь господству чистого ощущения. Если в физике из ничего ничто и не возникает, то в метафизике действуют противоположные законы: все происходит из ничего. Довольно часто ныне цитируются слова великого Леонардо да Винчи: *Живопись — это немая поэзия, а поэзия — это слепая живопись*. Правда, это сказал гораздо ранее древнегреческий философ Симонид, у которого поэзия предстала *говорящей живописью*. А. Рязанов в публикациях о *яйцеквадратах* подчеркивает, что поэт во время процесса творчества имеет дело не только с одним словом, но и одновременно с визуальным образом, которые лишь на некоем перекрестке расходятся, чтобы стать только стихом или картиной: именно поэтому художником может быть человек, не умеющий рисовать. Правда, потом уточняет, что именно *художником*, а не живописцем, не графиком, не скульптором, а художником-концептуалистом. И в качестве примера приводит слова П. Пикассо, который говорил, что рисовал не то, что ему виделось, а то, что он мыслил. По существу, это продолжение классического парадокса — был бы Рафаэль величайшим художником, если бы он, к несчастью человечества, родился без рук? А посему как квадраты Малевича беременны будущим и новым измерением, так и *яйцеквадраты* беременны полетом и новой действительностью. О взаимовлиянии поэзии и живописи, в частности в творчестве Н. Рериха, говорится в интервью Г. Шаблинской: художник и поэт всегда находят друг друга в одном художественном измерении. Символом подобных поисков в духовном мире поэта-философа является «ЗБАНАБЗ» (от белорусского *збан*) — творческая концепция, смысл которой сращен со смыслом вещей. Нечто незримо связанное с платоновскими идеями: вещи создаются не из глины или дерева, а из материи мысли, а затем отелесниваются как раз в глине или дереве. Или с Евангелием — *И слово стало телом*.

Некоторые публикации в книге воспринимаются как своеобразное пособие по изучению поэзии, подобно классическим «Градус (т. е. ступень) к Парнасу», хотя представление Рязанова в качестве ментора — явный нонсенс! Однако свою интересную и поучительную беседу с мэтром Ольга Чайковская так и назвала —

«Шэсць урокаў паэзіі ад Алеся Разанава» (2013). Да и сам Алесь Степанович показывает мастерское прочтение отдельных стихотворений любимых поэтов («Зацемкі з зімовага саду» (2015), «Зацемкі з тэлефоннай будкі» (2017). Возможно, чтобы подсказать будущим критикам, как надо читать поэзию. В предыдущих книгах тоже были интересные рассуждения о стихах своих коллег. Появление подобной формы многие не сумели объяснить. Ну ладно, можно понять переводы любимого Мартинайтиса, но как понять переводы-чтения с белорусского на белорусский (сборники Н. Артимович, З. Сачко)? Как оценивать данные экзерсисы: с точки зрения сохранности духа и буквы первотекста или вольной интерпретации? А. Рязанов считает, что его герменевтическое прочтение не есть перевод: это прикосновение к глубокому смыслу, наполняющему произведение. Он пытается поговорить с ним в поле уже созданного, а потому существующего контекста.

Ведь о нем самом, точнее, о его творчестве, писали и хвалебные исследования (достаточно назвать ряд серьезных монографий, полдесятка диссертаций), и обвиняюще-ругательные статьи. Как в случае с А. Клышкой, который для заглавия разгромной рецензии использовал метафору из его же поэмы «У поцемках, з ліхтаром» и тем самым охарактеризовал все творчество поэта — *залом і звіх*. Дескать, вся белорусская поэзия — правильная, рязановская же — свихнутая, извращенная, ересь, а посему она вместе с автором должна подвергнуться остракизму. А. Рязанов даже соглашается с рецензентом: как тропинка зависит от рельефа местности, так и дорожка поэзии зависит от рельефа времени. Именно это толкает к Его Величеству Эксперименту. Поэтому веришь в искренность современника, а не брюзжание классика: *Желание отличаться от всех остальных не принятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов* (Монтень).

Ему хотелось большего — понимания, принятия того, что сам факт произведения послужил предпосылкой прозрений в действительность; хотелось истинного слова и нового взгляда на вещи; открытия новых перспектив. Не случайно сам подчеркивает*: В подлинном стихотворении присутствует ген откровения, делающий его если не бессмертным, то по крайней мере живым, позволяющий увидеть новые горизонты. От поэзии ждешь не новых изъявлений все тех же «психологий», не новых наблюдений и размышлений на тему дня или вечности, не новых метафор, а откровения сокровенного*.

Алесь Рязанов считает, что спектр поэзии во времени меняется, одни цвета уступают место другим. Многие функции, издавна входившие в ее сферу, отданы смежным жанрам и даже наукам: истории (ракурс прошлого) и футурологии (ракурс будущего). Однако критерии оценки практически не изменились. Мы слишком заботимся о внешнем, за годы и века привыкли, что там, где есть рифма, выдержанный ритм, сравнение, эпитет, метафора, там и поэзия. Хотя уже в Древней Греции отдельные философы полагали, что красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей. Но это только внешние атрибуты стихотворения, это только усвоение грамматических норм и канонов. Движение в стихотворении абсолютно противоположное, а потому проявляется в нарушении канонов, в исключительном самооткровении. Когда это есть, то излишне заботиться о точных размерах, неожиданных рифмах, оригинальных метафорах. Эстетика художественных произведений XX столетия и возникшая идея дегуманизации искусства привели к утверждению нового взгляда на фигуру художника, к иному пониманию сущности искусства, писательской ответственности и т. д. В своей работе «Дегуманизация искусства» испанский философ Х. Ортега-и-Гассет писал: *Жизнь — это одно, Поэзия — нечто другое, так теперь думают или, по крайней мере, чувствуют. Не будем смешивать эти две вещи. Поэт начинается там, где кончается человек. Судьба одного — идти*

своим «человеческим» путем; миссия другого — создавать несуществующее. Еще ранее древнегреческий философ Зенон говорил, что у него было два рода учеников: одни алчущие познания самих вещей — и они были у него любимцами, другие заботились только о языке. Язык, считает А. Рязанов, не только средство, но и цель творчества. Поэт живит язык собой, своим настроением, своим сознанием. Поэтому даже одни и те же слова звучат по-разному в произведениях разных поэтов. Самые совершенные стихи в своих основных параметрах проступают как бы уже написанные заранее — в глубине духа языка они уже существуют, а поэт, словно повитуха, помогает им появиться, родиться.

Есть в рецензируемой книге несколько записей или маленьких исследований о творчестве конкретных писателей. Возможно, автор как бы подсказывает будущим критикам и литературоведам, как нужно прочесть и его произведения. Это и очередное обращение к наследию Янки Купалы, с которым автор чувствует кровное родство, прежде всего из-за прославленного, и тем не менее, неразгаданного *Я не паэта*. И это отнюдь не уничижение, тем более не самоуничижение, которое паче гордыни: роль песняра кардинально иная, нежели у тех, кто *творыць творы*. Ведь родословная народного поэта — песняры, гусляры, пророк и даже чародеи: он не пишет, а вызывает слова. Каждое поколение должно говорить с классикой по-своему, устанавливать свой диалог с предшественниками, со всем культурным наследием прошлого.

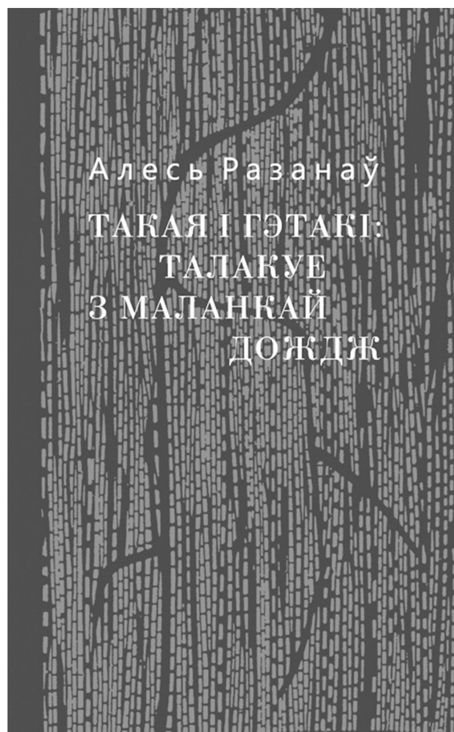
Когда-то М. Монтеня волновала странная, с его точки зрения, вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Это по существу признание, что творить ее легче, чем разбираться в ней. Философ XVI века считает: о поэзии, не превышающей известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чем сверкание молнии. *Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заряжает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передает ей способность притягивать в свою очередь другие иглы.* Вряд ли наш современник заимствовал подобный образ у Монтеня, но он приходит к сходным выводам, причем использует подобную метафорику: *Если слова концентрируются, сжимаются, тогда они приобретают новое качество: становятся более содержательными, приобретают качество магнита.* И это несмотря на то, что между этими высказываниями путь почти в полтысячи лет. Хотя поэт XX века уже знает: на поэзию нельзя возлагать большие надежды, иначе она разочарует. Ведь и так литература для многих становится убежищем от острых и необходимых вопросов времени. Тем более не надо спешить: слово обязано пройти все свои стадии воплощения. А у белорусской поэзии свои задачи: должен появиться стимул, как у возрожденской поэзии — сверхзадача, сверхвыход. Над нашей поэзией довлеет какая-то инфантильность, инерция мышления, мы не осмеливаемся осознать *отчаянность ситуации*, в которой, по выражению Сартра, и появляется гений. То, что осознал Панченко: *Я зноў гатоў к рыўку*. Тем более, что все громче раздаются стенания о снижении уровня или даже о полном уничтожении личностного начала в творчестве.

Смерть автора в концепции Барта вытекает и из самой сущности современного искусства, которое приобретает игровой характер. Писатель не может создать ничего нового, поэтому его деятельность ограничивается компиляцией, пародированием, стилизацией уже написанных ранее текстов. Автор уже не может называться автором, так как он не испытывает *муки творчества,* а является скромным составителем книг, комбинирует определенным образом фрагменты различных текстов. Поэтому Автора Барт заменяет на Скриптора, то есть на *пишущего*,

который несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а *только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки.* Можно сказать, что в этом случае язык говорит через писателя, а не писатель выражает свои мысли посредством языка. А потому автора и не существует, есть только читатель, воспринимающий случайно сгенерированный текст. Этим и объясняют многие необходимость существования электронной формы поэзии. Рязанов остается на консервативных позициях: считает необходимым все написанное вложить в книги и тем самым передать в последующее измерение. И если даже у творца не будет ни одного читателя, он все равно должен писать, ибо есть у творчества высшие законы, высшее предназначенье. В творчестве кроме самого автора, самого творца, участвует Божье начало. Как бы полемизируя с гуру структурализма, белорусский поэт допускает возможность существования совершенного произведения и без автора. Оно должно просто дойти до людей (в этом необходимо приложить усилия и сочинителю), а потом жить самостоятельно, как получится, можно и без автора. И здесь поэт опять обращается к опыту природы, создающей самосуществующие, самодостаточные, принадлежащие всем произведения (трава, дерево, река, молния). То же происходит и с совершенными произведениями человеческого гения: они всеми узнаются, сами себя объясняют, а потому всем с первого взгляда кажутся знакомыми.

Среди причин, помешавших Вертинскому-поэту раскрыться до конца, прямо не называется, но подразумевается политика. Невольно вспоминается и Стендаль, считавший политику жерновами на шее искусства. Рязанов аполитичен, во всяком случае, он никогда не подчеркивает свои взгляды на конкретную проблему. В этом он сходен с Соломоном, который мудро написал на перстне: *все проходит*. А перед ним задача поисков сущего, значимость которого не исчезает со временем, в отличие от текущего и сиюминутного. Так, все корреспонденты-интервьюеры заявляют, что он эмигрировал, убежал, оставил родину, на что поэт спокойно заявляет: *я проста пабываў у Заходняй Еўропе на творчыя запрашэнні*. Не было никакой эмиграции, не был он *уцекачом*, не просил ни у кого убежища. Рязанов подчеркивает, что в наше время все белорусское чрезмерно идеологизируется и заостряется. А остаться творцом можно в любом месте и в любых условиях. Он не поддается падким на сенсацию журналистам, провоцирующим автора на однозначность, баррикадность. А потому считает, что слишком большая роскошь перебирать пути выхода к читателю: печататся надо там, где тебя издадут без цензуры и искажений. Важно не место, где ты печатаешься, а что ты печатаешь, тем более главное не Союз писателей под той или иной аббревиатурой, а сама литература. Истина не всегда посередине. И на провоцирующий вопрос, что привлекает в известном политическом деятеле — его работа или поэзия, отвечает просто — его личность. Ведь и сами журналисты бывают разные: деликатные, стремящиеся понять тайну поэзии (Т. Лозка, О. Чайковская) или *акулы пера* (М. Скобла, В. Акудович), которым равнозначно и равновелико прикоснуться к загадке и высказать свое видение проблемы, подчеркнув при этом личностную оригинальность. Как бы там ни было, неизвестная величина, которой сущностно стихотворение, является неизвестной для той веды, которой сущностна мысль и мыслью не достигается.

Хотя мы все привыкли к Алесю Рязанову как поэту-философу, в глубине души, на самом донышке, остается он лириком. Все заглавия статей, эссе, интервью очень красивы, поэтичны. Так, анализируя особенности лирики, он сбивается на патетику: *Однообразие вредит поэзии, в этом случае она вырождается, становится одномерной, как птица в небе, у которой отобрали то, что ее вдохновляет и возносит до неба — полет*. Вспоминая Веру Полторан, он пишет, что в зале крематория, прежде чем навсегда распрощаться, он прикоснулся к ней. И теперь ее рука касается его руки из будущего. Когда разговор заходит о Владимире Колеснике, ему начинает казаться, что вместе с Учителем они едут в солнце.



Алесь Рязанов привык не доверять расхожему мнению. Скептически относится к заявлениям, что ныне мало читают художественную литературу, отдавая в основном предпочтение нонфикшен, эпистоляриям, энциклопедиям. Нельзя считать, что на Западе все пишут только свободным стихом: некоторые сочиняют классические сонеты. Словно пройдя круг, приобретя опыт в просторе верлибра, поэты возвращаются к традиционному стиху. Хотя дело совсем не в этом, графоманией можно заниматься в любой форме. Самое главное — зафиксировать мгновение, не дать ему исчезнуть, все остальное — дело времени. А это как раз задача пунктиров, из которых состоит вторая антология.

О специфике пунктиров говорится в интервью «Ісціна заўсёды надзённая й мінулаю не становіцца» (2007), а также во многих других публикациях. Рязанов утверждает, что первые пунктиры появились у него вместе с традиционными по форме и содержанию стихотворениями. Названия еще, конечно, не было, они шли без имени, но это были точно пунктиры. И появились они в результате беседы с окружающим миром. Вся действительность, реалии, природа, люди, местность — это не только потенциальные сюжеты, темы для пунктиров, но и действующие лица. *Пункціры — акупункціры: у іх свая паэтыка, свае стасункі з рэчаіснасцю. Сціслыя, як формулы, і красамоўныя, як малюнкі, яны ў звычайным распазнаюць істотнае і адрасуюцца ўсім і кожнаму*, — считает автор.

Поэзия — тоже знание, но особое знание, знание об *ином*, *инакознание,* новое видение мира, для познания которого необходимо в первую очередь сохранить детскую наивность восприятия. Процесс познания — творческий процесс, а потому А. Рязанов советует не ходить так, как ходят туристы по загодя проложеным маршрутам и с гидом, а быть свободным и сосредоточенным, входить в действительность с постоянным ожиданием, что кто-то отзовется, дернет тебя за рукав. Если зацепило — реагируй, пожалуйста, обращай внимание. Это уже пунктир подал знак, что вот здесь он спрятался, за этим деревом, в этой ситуации. Пунктир, по существу, не продукт умозаключения, силлогизм, а живое существо, равновеликое тебе.

Если книга создавалась более полувека, то возможны ли поправки, переписывание самого себя, якобы улучшение? Обычно писатель все время переписывает себя, переисправляет, ведя невидимую борьбу с коллегами, в том числе и с самим собой. Правда, не всегда в лучшую сторону. А само явление творчества подобно палимпсесту — текст стирается и пишется заново. И какой слой окажется последним — никому не известно.

В формообразующих поисках автора на первый план выходит сжатость жанровой разновидности, доминирующая над ее внутренней свободой. Клеанф, древнегреческий философ-стоик, говорил: *Подобно тому, как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой.*

Подобные находки уже давно стали формосозидающей основой произведений современного белорусского поэта, укрепив его уверенность в перспективности и правильности эксперимента. Искать необходимо в современности, ибо эволюция происходит в направлении, в котором одновременно может все больше и, наоборот, все больше не может.

Одним из первых в новом тысячелетии он выступил против доминанты количества в поэзии, которое представляется главным соперником поэта. Именно в многочисленности стихов последний перестает быть обязательным, даже слышимым. Хороших стихотворений множество, а они должны быть исключительными. И при этом краткими. Необходимо сокращаться до такой *сцісласці* и органичности, как это умеет делать капля воды. В одной отображается мир, а две — расплываются.

Современное стихотворение должно умещаться на одной страничке, дабы не перевертывать лист (*У наш імклівы, хуткі час людзі як бы развучваюцца чытаць. Пункціры і чытаць не трэба: зірнуў — і пункцір ужо ўклаўся ў свядомасць, вы ўжо знаёміцеся з ім),* прочесть и возвратиться к началу; оно должно сосредоточивать на себе подобно огню. В то же время миниатюрная форма требует значительного содержания; в будущем из них кинематограф сможет создавать фильмы (в истории искусства уже был фильм по стихотворениям Л. Арагона *Роза* и *Резеда*). Стихотворение полимерно — в нем живут, страдают, любят и ищут истину герои, смыслы, звуки, слова. Как атом неисчерпаем, так и субатомный мир слова, поэзии таит в себе загадки и откровения. А. Рязанов сознательно постигает миниформы, имеющие свою поэтику, особенности и задачи, которые не по силам объемным формам. В микромире миниатюр не меньше загадок и возможностей, чем в макромире иных жанров. В первом существенно не только отдельное слово, но и отдельная буква, даже звук, который становится электроном стихотворения. А. Рязанов считает, что пунктир предвидит поэму, как зерно колос. Нечто подобное искал Г. Аполлинер. Восхищенный успехами своего друга П. Пикассо, кубизм которого шел дорогой современных точных наук, овладевая четвертым измерением в категориях пространства, что приводит к созданию нового мира, он мечтал произвести нечто подобное в своей сфере, в чем и достиг определенных успехов, создав *новый реализм*, *надреализм*. Он же поведал о смерти классической поэзии: *Некогда я писал стихи по правилам, которые теперь позабыл. Классический стих подвергся сокрушительной атаке до меня. В области искусств я тоже ничего не разрушал, а если делал попытки помочь новым школам, то не в ущерб школам прошлого*. А также будет многократно доказывать свое созидательное, а не разрушительное начало, что объединяет с белорусским поэтом. Именно в это время Г. Аполлинер отказывается от пунктуации в стихах: *знаки препинания бесполезны, ибо подлинная пунктуация — это ритм и паузы в стихах*, хотя и отвергает упреки в разрушении норм и правил поэтики. Подобная концентрация позволяет как раз не высказывать содержание, а помочь ему проявиться. Данный эксперимент явился следствием развития техники, которая позволила по-новому зафиксировать слово и образ (кино, звукозаписывающие приборы). Остается только гадать, что ждет нас в эпоху компьютеризации и невиданной технологизации.

Нынешнее слово не в состоянии передать всю сложность бытия. Равновеликим слову может стать только молчание: *тое ж слова, але са знакам мінус. Яго страта, Яго след, Яго адсутнасць*. Молчание (*мовачанне*) — определяющая константа мира Алеся Рязанова. Филолог А. Рязанов сродни физику Ньютону, ибо утверждает, что подобно белому цвету, сочетающему в себе весь спектр радуги, молчание объединяет в себе всю гамму звуков. Мир поэта — это мир, только что созданный из хаоса, он еще не остыл, не отвердел, он мягок, подобно глине (необожженной) или пластилину. Поэтому и слово еще не застыло в значении и значимости, в силу чего представляет собой первичную материю, подобную магме. В этом мире нет еще места человеку, как и продукту его дея-

тельности. Не случайно в пунктирах А. Рязанов отвергает фонари, мешающие ему смотреть на луну. Чрезвычайно редкое появление непосредственно человека свидетельствует о его (человека) ненужности на данном этапе экзистенции. Первую книгу А. Рязанов назвал своеобразно — «Дождж: возера ў акупунктуры» (2006). С чем только не сравнивали дождь за тысячелетия существования поэзии, но с лечебными иглами — никто. Поэтому и веришь оригинальности, первичности восприятия мира поэтом А. Рязановым, словно до него никто и не пытался воспринимать его образно. Он непоколебим в этой причастности к великому таинству взаимодействия микрокосмоса индивидуальности и макрокосмоса бытия, хотя трудно проложить между ними границу, а душа и внутренний мир поэта и Вселенной иногда просто равновелики. А потому не известно ни будущее человека, ни перспективы мира, ибо сам *Господзь не ведае як след, Господзь вядзе эксперыменты.* Мы каждый день на рубеже бывших и будущих столетий. Хотя и прошлое всесильно, да и одновременно нельзя остаться, оставаясь, как и нельзя исчезнуть, не исчезая.

Подобно Соломону, А. Рязанов славит *міг, што быў і ўжо няма*, минуту, которой не хватает для счастья и жизни и в то же время достаточно, чтобы расстаться навсегда. В этом он близок К. Бальмонту, живущему мгновением, мигом, ибо человек существует только сиюминутно, но в этом и проявляется вся полнота бытия: *В каждой мимолетности вижу я миры // Полные изменчивой радужной игры.* Действие пунктиров разворачивается в метафизической стране, неразрывно связанной с живыми существами: деревьями, реками, полевыми тропами, знакомыми *изначально* людьми.

В чем-то миниатюры А. Рязанова сродни притчам мудрого Соломона, ибо они представляют собой код бытия, а саму форму можно развить до романа, как из семечка вырастает баобаб или секвойя. Близки они и *Мыслям* Б. Паскаля — афористической формой с ее парадоксальной структурой. Сами же парадоксы, в отличие от других, исходят из самой природы вещей. Мышление Б. Паскаля настолько парадоксально, что практически каждое его положение заменяется противоположным, а сами *мысли-афоризмы* вытекают из опровержения всех *за* и *против*, ибо и сама природа человеческая, и сам писатель, и его мышление парадоксальны. А потому у него, как и у А. Рязанова, человек далеко не центр мироздания, а лишь песчинка, атом на общем лоне сущего.

Парадоксальна сущность человека, парадоксальна любая истина, что и лежит в основе всех противоречий, ибо любое правильное исходное положение вполне опровергается противоположным, столь же истинным. Подобный урок развития-эволюции человеческой мысли, пришедшей к тупику, ибо все обозначенные антиномии невозможно привести к единой основе, синтезировать их, что и является чрезвычайно близким поэту-философу А. Рязанову. Его герой и умом, и сердцем чувствует невозможность объединить мир, единственной реальностью которого является *парадокс* — борьба и единство противоположных полюсов. Человек, считал Б. Паскаль, дабы остаться человеком, должен стремиться к обеим крайностям, а не к одной из них, ибо когда он касается одной, то неминуемо впадает в противоположную. У А. Рязанова лирический герой не знает даже, на кого он похож — на камень, на птицу, на дерево, на самого себя? Тем более, он не знает, что такое потеря, а что приобретение, что болезнь, а что здоровье. А потому зачем стремиться к знанию, которое умножает страдания? *Человеку от природы свойственно чувство сомнения и ущербности, ибо человеческий разум устроен так, что он постоянно не верит в себя, не удовлетворяется собой и потому склонен свое существование считать недостаточным. Отсюда возникает стремление к вере (Drang zum Glauben) в жизнь по ту сторону гроба. Очевидно, что человек является переходным существом, и его существование на земле, несомненно, — это процесс, непрерывное существование куколки, которая превращается в бабочку* (Ф. Достоевский). Ведь в конце концов можно

прийти и к выводу В. Хлебникова: *Мир — только усмешка, что теплится на устах повешенного*.

Мир непознаваем и непостижим. Д. Китс возненавидел И. Ньютона, который своей теорией света разбил хрустальную радугу на поэтическом небосклоне, ибо не существует точки отсчета всему, как нет понятия движения и самого смысла движения, если, конечно, не вернуться к извечному, что все в этом мире создано и определено единым творцом: корни, ветви, плоды, причины, следствия. А потому наше достоинство — в способности мыслить. Для человеческого ума недоступно постижение совокупности причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в котором мы — ничто. *Жизнь, природа и история абсолютно безразличны к смыслу, которым наделяет человек свои действия и страдания*, — утверждение номер 3 Ф. Ницше, помогли многим осознать ничтожество человека. — *Законы природы — слишком человеческое изобретение. Они являются результатом отношений между человеком и тем, что он познает. У людей есть необходимость в них, даже если они относительны. Поэтому можно не только отрицать существование относительной истины, но и утверждать, что человеку нужны иллюзии.* Именно этим и обусловлена необходимость мыслить достаточно, ибо в этом — основа нравственности. *Мы живем в мире Ньютона, где действует физика Эйнштейна и логика Франкенштейна (Д. Рассел)*. А. Рязанов воспринимает естественно поиски мировой мысли, он сам философ-поэт, а потому его творения отнюдь не иллюстрации к определенным мировоззренческим тезисам, а художественное восприятие мира, философия поэзии бытия. Ранее этим путем шел Ф. Тютчев. Не случайно влияние последнего можно увидеть в пунктире: *Аблокі — цемратворцы // акрыюць неба твар.*

Суждения о поэзии имеют большую ценность, чем поэзия. Они суть философия поэзии. Философия понятия таким образом охватывает поэзию. Поэзия не смогла обойтись без философии. Философия смогла обойтись без поэзии (Лотреамон). Но как соединить философское и поэтическое начала познания? Космогония и натурфилософия поэта являют собой не просто иллюстрацию определенного философского тезиса, а глубоко поэтическую реализацию выстраданного восприятия жизни в ее течении и эволюции во времени. И самое главное, что данные поиски находят отзвуки в душе читателя, способного в своем воображении дорисовать то, что только наметилось в поэтическом образе: кто создал лист на древе — садовник или внешние чуждые силы?

А. Рязанов считает необходимым найти новую форму выражения этой проблемы. Он *пакутуе* в поисках адекватности. Идеал — обойтись без слов.

Чтобы решить проблему, необходимо войти внутрь нее, и чтобы преодолеть препятствие, необходимо углубиться в его сердцевину. Там не лежат ключи от Сезама, но само это вхождение становится решением проблемы, ибо и проблема, и препятствие не что иное, как свидетельство, что жизненный путь человека из сферы синтеза переключился в сферу, где тезис противостоит тезису, и где человек имеет много *себя*.

В соответствии с этим в большинстве своем произведения А. Рязанова суть философские импрессии, в которых, словно в глазах совы, символа Софии, отражаются извечные истины. О том, что он не первым прикасается к водам мудрости, А. Рязанов говорил не однажды. Это своего рода *дежавю* не только человечества, но и конкретной личности. Нам кажется, что это все было — и ласковый взгляд, и лучик солнца, и тень крыла. Ведь следы всех, кто прошел до тебя, засыпаны песком, заросли травой — природа их стирает, словно ошибочные памятки пребывания человечества. И если ты не можешь постичь сущность бытия, то создай истину сам. Хотя что такое истина? Пилат после этого вопроса замолчал. А. Рязанов считает, что это ящерица, которая, дабы улизнуть, оставляет человеку извивающийся хвост, чтобы отвлечь его бесполезными и бессмыслен-

ными поисками. Ведь существуют задачи-открытия и задачи-ловушки, которые словно забирают твою энергию и ум и, даже решенные, ничего тебе не говорят и никуда тебя не ведут. Они напоминают темную комнату, главная особенность которой то, что она темная. И здесь, возможно, наиболее важно не принять условий этой задачи, не войти в ее стены. Да и вообще нельзя никуда войти, как и вернуться назад, особенно в детстве. А. Рязанов в пунктирах в чем-то уподобляется Прусту, который вкусом печенья и кофе пытается воскресить прошлое (что-то подобное пытался проделать А. Адамович с синим томиком стихов А. Пушкина). Поэтому силлогизмы о расстоянии; о том, что все проходит; о мысли, которая, дабы познать себя, делится надвое — на охотника и беглеца — и гибнет в процессе постижения; о стремлении, которое главнее цели; о равновесии камня и хлеба становятся основой *пунктирного* мировосприятия, ибо мерой всех вещей, существующих в том, что они существуют, и не существующих в том, что они не существуют, является человек. Вот почему именно в нем сочетаются и вопрос, и ответ.

Предтечей подобных поисков в славянской традиции был Симеон Полоцкий, писавший, что *мир сей — первая книга, в ней же написася, что либо от всемощна Господа создася*. Следом за ним Г. Сковорода, как и Ф. Тютчев, считали, что весь мир состоит из двух натур: одна — видимая, другая — невидимая. Находить им ответы гораздо проще, ведь в их системе мировоззрения отчетливо видится тень креатора, пусть и немного сдуваемая сквозняком сомнения. А. Рязанов находится в иной ситуации (прославленное ницшеанское *Бог умер* у него несколько обелорушенное — *Чалавек, ты з'еў свайго Бога*), поэтому он и отказывается и от сравнительно древних (басня, философский диалог) или сравнительно близких и более соответствующих нашему дню форм. Он ищет новое, полностью соответствующее его поискам и обретениям.

Несмотря на определенное внешнее сходство пунктиров белорусского поэта с некоторыми формами восточной, прежде всего японской поэзии, его миниатюры — исключительно оригинальная авторская находка, что проявляется в отсутствии канонических форм и свободной структуре. Наивно опровергать знакомство поэта с поэтическими восточными формами, тем более что он сам переводил Басё. Однако он утверждает, что пунктиры возникали не от знакомства с японскими хокку, персидскими бейтами или индийскими гатхами. Пунктиры с ними не совпадали, а вступали в диалог, просили поэта, чтобы он помог найти для них неповторимое место. Можно, конечно, при большом желании найти определенные созвучия, но только именно созвучия (*перагукі*). Пунктиры все же отдельное и особенное явление в поэзии Алеся Рязанова. Да и быть по-иному не могло. Настоящий поэт никогда не соглашается на подражание, ибо последнее так и останется подражанием. Любое творчество должно идти не от ориентации на что-то, а из неизъяснимого. А неизъяснимое может обнаружиться только в самом творце. Ибо если оно излагаемое, то оно — подражание, имитация. Учиться — это хорошо, но создавать необходимо все-таки от истока, от первоначала. В пунктирах от трех до восьми строчек, в последних — от одного до шести слов (вместе со служебными), нет регламента равного количества слогов, встречается в некоторых примерах, особенно в начале — рифма, отсутствует единый порядок создания художественного образа, в силу чего одни пунктиры показывают непосредственно процесс возникновения последнего прямо на глазах читателя-слушателя*: Звон зазваніў: прастора займела цэнтр*; другие — процесс зарождения и эволюции мысли: *Спякота. Хаваецца цень у дрэва.*

Доминирует явно и целенаправленно в *пунктирах* первое, зримое, импрессионистское начало, ибо, повторимся, в мире А. Рязанова практически не видно человека — он далеко, в лучшем случае на третьем плане, а потому на авансцене главенствуют и владеют миром поры года, особенно осень, лес, деревья, озеро, река, ручеек, туман, птицы, камни, лужи, которые живут по своим законам, а

потому значимость каждого из них для объективного Бытия равновелика человеческой. Путь человека — это лишь следы в поле, когда господствует ветер и снег; в силу этого необходимо не столько осмысливать эту жизнь, сколько воспринимать как праздник, увиденный глубоко своеобразно, оригинально, афористически. Это по существу третий глаз, позволяющий увидеть невидимое. Иначе жизнь пройдет мимо. Вспомним Ф. М. Достоевского с его афоризмом: *Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.* Не случайно З. Фрейд скажет, что *если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен…* Тем более, что сам Федор Михайлович утверждал*: человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самостоятельно* (последнее выделено совсем как у А. Рязанова).

Пунктиры нашего современника — это и есть приглашение на праздник жизни, который увидел и зафиксировал талантливый поэт-философ, увидевший этот мир отнюдь не из бочки или башни из бивней слона. Ведь каждый человек — это одновременно песчинка и демиург собственного восприятия окружающего. В пунктирах А. Рязанова вечность равновелика мгновению, в нем *проявляется* и *опредмечивается* и также мгновенно аннигилируется, чтобы предстать в иной форме. Это калейдоскоп света, создающий новую картину из только что разрушенной. На мгновение вспыхнет и погаснет лучик солнца, нежный взгляд, крыло птички, а следы человека мгновенно зарастут травой и засыплются песком, ибо это не реально-земной минерал, а составная часть клепсидры времени. И никто и никуда не вернется, ибо и люди, и облака, и деревья, с которыми ты расстался в прошлом, тоже иные, они также расстались с прошлым, со *своим*. Между всем сущим на земле два расстояния: уменьшится одно — увеличится другое. И если мы далеко — близко, если мы близко — далеко. Никакая машина времени не поможет найти себя в прошлом, ибо меня уже двое, и как заполнить пустоту между мною этим и тем? Если на заре бытия моторный малыш выскальзывал из рук мира, то от недвижимого старца сам мир выскальзывает. Именно поэтому тебя встретит *Всё*, а проводит *Ничего*. А потому нужно быть подобными в чем-то аистам, которые перед отлетом *обматывают* землю кругами, чтобы вобрать ее в себя всю без остатка и совсем вольными уже улетать.

Надо видеть небо и слушать траву. Среди красочных цветов только седая полынь слышит и понимает голос судьбы; глядя на полет аиста, отраженным взглядом видим себя; смерть может скосить стебель, но не зерно; как бы ни стремились деревья к небу, они его никогда не достанут (может, небо это и есть стремление?); из иного мира прилетает пчела и красная бабочка; дождик напоил землю, и раскрылись глаза у земли и увидели небо; возвращаются из райских краев птицы — земле возвращаются небеса. Фрагменты мозаики А. Рязанова объединяются в фантазии читателя-зрителя в единое полотно столь красочно и всесильно, что заставляют увидеть за всем этим новый ракурс видения и восприятия, забыв или изменив свой поток ассоциаций: *Схаваўся ў царкву ад дажджу: // знянацку // зірнулі знаўпроць святыя.* Так возвращается ли через мгновения, через века эхо слова, мысли, жеста, нас самих? Формулировка этого вечного закона выстлана осенними листьями на земле, написана птицами в облаках, а потому извечная тайна молчит. Поэтому и не звучит слово, а царит его антипод — молчание, ведь главное — импрессия, впечатление, что совсем не обязательно связано со словом. Не случайно в книге переводов белорусского поэта на польский язык *Podarunek matki chrzestnej (Bialystok, 1997)* пунктиры названы *linie przerywane,* то есть переводчик (поэт и профессор в едином лице) Ян Чиквин прочувствовал и постиг специфику данного жанра.

Поэзия нечто принципиально иное, нежели разговор; ее корни в безмолвии. Слово, рожденное молчанием и разумом, настоящее, в отличие от слова, рожденного словом: *размова — мова думак, маўчанне — мова ісціны.* Сказать истину без слов — вот идея А. Рязанова.

О значимости данной формы философии воприятия мира свидетельствует и его книга *Hannoversche punktierungen — Ганноверскія пункціры,* вышедшая в 2002 году в издательстве *Revonnah Verlag Hannover.* Тексты этой книги возникли во время пребывания автора в Ганновере с января 2000-го по декабрь 2002 года в качестве стипендиата имени Анни Аренд, философа, родившейся в этом славном городе. Хотя сам писал, что в городе мы постоянно пробегаем, проскакиваем мимо окружающих реалий: для него важно не само по себе место рождения, а его открытие. Пунктиры, особенно последних лет, иллюстрируют в определенной степени теорию автора. Так ли уж важно для писателя, чтобы его письменный стол стоял на родине? Рязанов считает, что в тот момент, когда подступает творчество, среда, в которой это происходит, была бы своей. Иначе это не произойдет: муза не будет знать, куда прийти. А вот столом может быть и поле, и тропинка, где что-нибудь отзовется и зафиксируется. «Ганноверские пунктиры» писал не за столом, а в дороге — на тропинках, на улицах, переходя мосты, попадая в различные ситуации. За столом только переписывал то, что в пути сложилось. С преданностью неофита открывает такой близкий, но все же чужой мир поэт. Он бродит по улицам Ганновера в качестве незнакомца, чужака, не случайно солнце для него появляется то с правой, то с левой руки; в снежном воздухе зацветают запахи кофе; красными лоскутами утиных лапок красится белый снег; чайки зовут к морю-океану; кирха впечатляет готическими буквами памятника, а птицы обсуждают звуки ее органа; блестит на солнце красная черепица. Однако постепенно экзотика отступает на задний план. Иного и не может быть, ведь над нашими головами один и тот же шар зимнего солнца, та же подковка месяца; та же оттепель, во время которой вода разводится со снегом; снег с травой, а день с ночью меняются своими местами; труба ведет переговоры с тучей; как и во все времена, по всей земле капают капли дождя, а вороны обсуждают погоду. Он удивил немецких коллег, которые не видели подобного. Ведь белорус с ними не конкурирует (это бессмысленно), а просто предлагает игру: взял делянку родного поля, приземлил ее в Неметчине и стал выращивать травы. Вошел на поле немецкоязычной стихии и стал не столько писать, как они, а скорее рисовать немецкими словами. И назвал этот жанр Wortdichte.

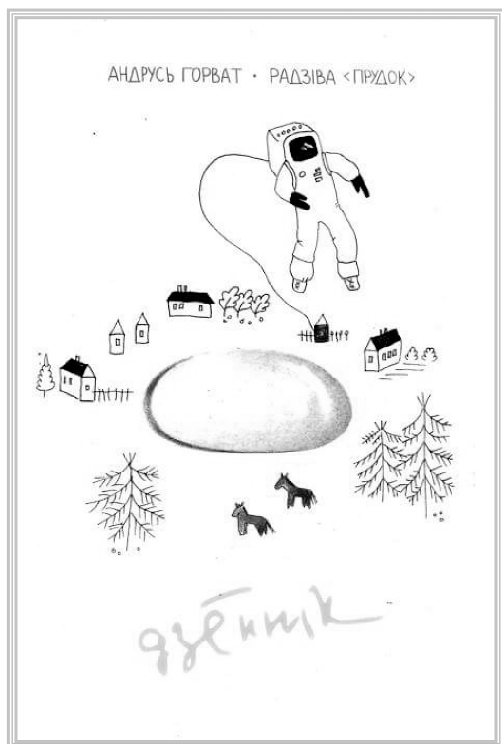
Мир без человека — доминанта пунктиров, вошедших в *Избранное* из сборника «Воплескі даланёю адной» (2010). В который раз поэт опять открывает для себя Вселенную: вновь зеленеют береза и сосна, деревья цветут песнями, звуки серебрятся — колокольню озаряет молодой месяц, собака латает лаем забор, сороки делят короткий день, яблоня разводит руками, жабы кваканьем стаскивают с неба дождь.

В свое время Андрей Белый в «Поэме о звуке Глоссалолия» (1922) и К. Бальмонт в книге «Поэзия как волшебство» (1916) мечтали вслед за А. Рембо показать процесс возникновения слов, цветовую специфику звуков, т. е. развить идею Бодлера об аналогии, связывающей цвета, звуки и запахи, что в свою очередь обусловлено влиянием точных наук, чрезвычайно популярных в эту эпоху. Но все же необходимо почувствовать в этих экспериментах попытки создания единого нового языка, а поскольку каждое слово — идея, то его время не за горами. *Этот язык будет речью души к душе, он вберет в себя все: запахи, звуки, цвета — он соединит мысль с мыслью и приведет ее в движение.* В исключительной степени это удалось Алесю Рязанову в пунктирах. В заключение согласимся с аннотацией, что *гравюры Кацярыны Дасько насычаюць кнігу ўзорамі бачання і робяць яе літаратурна-мастацкай.*



С точки зрения рецензента

Полешуцкий ген



Рассказать об этой книге трудно, а если адекватно ее содержанию, то и невозможно. И лексика, и стилистика ее очень своеобычны. Ну и главное, при всей серьезности содержания она наполнена юмором — тоже своеобычным — с первой страницы до последней. Как передать юмор? Это уважаемое и всеми любимое чувство в жанре рецензии вообразить трудно. Так что поверьте на слово. Ну, а я все же попытаюсь.

«Ноччу сасніў Ганну Чарнушку з «Людзей на балоце». У сне мы цалаваліся, і Ганна нават показала мне калена. Калена Чарнушкі — от сапраўдны беларускі эратычны сон».

Спрашивается: с чего это приснилась автору актриса? Такое впечатление произвел спектакль? Конечно, впечатление было сильным. Но дело еще и в том, что автор устраивался на работу в театр. Думаете, актером? Отнюдь. Дворником. Конечно, все профессии, как известно, почетны, и все же дворник в академическом театре — не то, что дворник, например, в ЖЭС.

А все же было бы интересно узнать, что за прекрасная актриса играла в тот театральный вечер… Живет она и не знает, что ее колено послужило завязкой книги.

Начались, как говорится, рабочие будни. На первых порах самое трудное в жизни дворника — просыпаться тогда, когда люди иных профессий сладко спят.

Понятно, что в новой роли хочется посмотреть на себя со стороны. Как выгляжу? Неплохо. «В малиновых штанах и с зеленой метлой в руке я — самый модный дворник!»

В новой социальной роли меняется не только режим дня. Меняются и ладони. «Такими руками уже неприлично прикасаться к женщине — только к лопате!»

А вот и семейная сенсация: оказалось, что Мележ образ Чернушки списал с сестры прабабки автора Ёвги. «Вот тебе, прабабка, и Юрьев день! А я целовался с ней во сне. Это же психологическая травма!»

Дворникам, как известно, платят немного. А денежки очень нужны! Может быть, даже больше нужны, чем,

например, какому-нибудь олигарху. Как дожить до первой зарплаты?.. Но, наконец, пришел этот день. 773 200 рублей! (То был 2013 год.) Богатство! Как распорядиться такой суммой? Можно, конечно, опохмелиться, если вчера по неосторожности принял больше меры с другими дворниками, а если поправлять здоровье не надо, можно пойти и в книжный магазин. Да и накупить книг на все деньги. Вот как! Только в Купаловском театре есть такой дворник! А вот в театре Горького такого нет, и в театре Белорусской драматургии нет, и, думаю, в Оперном тоже нет. Да и нигде нет, только здесь. Можете опросить знакомых.

Нет, если покупать книги, заработка дворника не хватит. И автор устраивается на работу в монастырь. Тут и появится опять тема эротического колена. «…Падчас малебну я разглядаў ногі каляжанкі Евы. Цудоўна, што ў манастыр дзяўчынам забараняецца надзяваць порткі. Прасці, Госпадзі».

Тема дворника в театре может развиваться и дальше. Но постепенно осложняются отношения с руководством театра. «Задзёўб ты нас, Андруша!»

И монастырская директорка говорит: «Задзёўб!»

Да и сам автор понимает: всех «задзёўб».

А раз так, надо ехать в деревню, на Полесье. Не работать же всю жизнь с зеленой метлой.

Думаю, задзёўб автор даже родную мать. Послушайте-ка разговор.

— *Алё, прывет. Мама, дай што скажу.*

— *Грошы скончыліся?*

— *Не. А хто жыве ў дзедавай хаце?*

— *У якой хаце? У Прудку?*

— *Ага.*

— *Нашто табе?*

— *Ай, проста скажы.*

— *Табе ўжо тая хата трэба!*

— *Ну, проста скажы, жыве хто ці не.*

— *Што ты ўжо прыдумаў. А? Сядзі ў Мінску і не дуры галаву!*

Но автор, видимо, человек такой: что задумал, то и будет.

Появляется исподволь другая тема — родины. Вот прабабка Ёвга с бабой Ганной. Вот мать и отец. (Поссорились, и отец уехал в город. Тоска — и в городе, и в деревне. Как помириться? Оказывается, просто: прислать с оказией отцу горшок борща!)

Жилье в деревне имеется: старая дедова хатка. Правда, окна забиты досками, труба упала на потолок, балка треснула и рухнула на пол вместе с потолком… Но все же можно жить!

Появились и первые друзья. Вот один сел рядом, закурил. Молчит. Докурил и, наконец, сказал: «Дай тридцать тысяч».

Видимо, дал, потому что на другой день опять явился:

— *Ну ты маладзец.*

— *А што такое?*

— *Дай пацісну руку.*

— *Ну, што?*

— *От я думаў, што ты от тэты во. А ты не от тэты во.*

— *Што?*

— *Андруха, от ты маладзец, гляджу на цябе і думаю: дай сто тысяч, а?*

Сразу же побывал автор и в деревне Боруск, где жил когда-то двоюродный дед. Здесь вышивали, ткали, пели народные песни, работали, любили, заговаривали. И речь в этой деревне была особенной: ётака, чагойліся, кажны, лісянкі, роскідуўся, куплеюць…

Но вот и первая ночь в дедовой хате. Какое, оказывается, небо! И — бесплатно. Тут я вполне согласен с автором. Сам, когда приезжаю в Мстиславль, не могу по вечерам отвести глаз от Млечного Пути.

С чего автор начал свою жизнь в деревне? А с шишки на лбу: не поклонился, входя в дедову хату, — получил шишку. Надо уважать старших. Хоть они и ушли.

Есть и запись о сублимации сексуальной энергии. Что ж, человек молодой, как обойти этот момент? «Сублимирую сексуальную энергию в посев овощей. И будет у меня осенью

сексуальный урожай. Очень богатый урожай!» Ну, помогай, как говорится, Бог.

А знаете ли вы, что такое полешуцкий ген? У автора он выразился в том, что он посеял триста тридцать три подсолнечника. Для стартапа вполне подходяще. Но гену этого мало. Ген требует чего-то еще. Что бы и еще такое посадить, посеять? Купить корову, козу, а может, и две-три. А может, и трактор. И еще одну козу. И еще добавить кусок земли… Так, становится ясно, почему работал одновременно и в театре, и в монастыре. Полешуцкий ген: все мало!

Между прочим, имеются свои особые поверья в этих краях. К примеру, если женщина не хотела иметь детей, она замыкала замок и ключ бросала в колодец…

Есть и местные поговорки: попался, как цыган в колхоз. Тут и сочувствие, и насмешка.

Есть, конечно, и старинные предрассудки: нельзя хвалить урожай, нельзя хвалить домашнюю скотину. Надо жаловаться на все на свете.

А что делать, если попалась змея-гадюка? Надо проткнуть суковатой палкой. Иначе другие гадюки вытянут ее с того света назад.

Многие, наверно, слышали в разговорах — для убедительности: «…як той казаў… Той казаў…» Кто этот Той? Никто не знает, но — авторитет. Если сказал Той — значит, так и было. Или вот в разговоре о хорошей земле: «Тут палку кінь — і Тая папаўзе». Может, Тая — супруга Тоя? А бросить в огород палку — способ выпросить у Тоя дождя.

Однако вот беда — сухо. Давно нет дождей. Не желает Той помочь людям.

Только и разговоров у сельчан — горят огороды, пропадает урожай…

Но, кажется, дождались. Наползла туча. Только бы не свернула к другой деревне! К нам, к нам! В испуганном ожидании замерли все деревни. А вот и первые капли… «То не дождь был, — говорили позже люди, — то хлеб был».

Есть в книге среди шуток-прибауток и глава про большую любовь. Чаще всего под большой подразумевается некая романтическая история с трагической развязкой. Но здесь любовь, которая сломала хорошему человеку жизнь, и — не ушла, не исчезла, как чаще всего бывает, а продолжает терзать и уничтожать его… Уже давно миновало время, когда он подъезжал на тракторе под окно той красавицы и горько плакал, уже и ее самой нет в деревне — уехала, а душа продолжает гореть и пылать. «У Шуры есть только собака Полкан» — так называется эта глава. Ну и оказалось, что есть бутылка паршивого самогона и где-то валяется огурец… Такая вот теперь у него жизнь.

Есть и матримониальная главка. Автору, кажется, тридцать с небольшим, так что самое время. По слухам, подходящие невесты имеются в Автюках. Но… Автючки невесты капризные, выбирают себе мужа, как цыгане коня: чтобы был здоров, крепок и терпелив. Потому что муж — это такая скотина. Несколько более статусная, чем конь…» И на строгом автюковском жениховском рынке, считает автор, его выбрали бы в последнюю очередь, и то — под вечер, в потемках. Зато жены автючки хорошие: и покормят, и приголубят. «Счастливый конь вдвое быстрей работает…»

Вот и осень пришла. Кабачки сильно уродили. Кому отдать? А никому не надо, никто не берет. Что ж делать. «А карову завядзі. Ці жонку».

Одна из самых пронзительных глав — «Матка». Монолог матери, жизнь которой — жизнь Беларуси. Заполненная трудом, горем и любовью.

О «простых» людях Беларуси можно писать и говорить много и долго. А можно так:

— Цукар е?

— Няма.

На следующий день:

— Цукар е?

— На, я табе з дому прынесла.

Это в магазине деревни Прудок.

Кстати, во второй части книги уже нет тонких намеков на эротические темы, типа колена Ганны Чернушки. Правда, герои ее еще могут послать друг друга в... но общая тональность меняется.

Появляются даже сентиментальные строки: «Паглядзіце ў вочу свайму дзіцёнку і скажыце чатыры простыя словы: «Я цябе люблю, сынок. Я цябе люблю, доня»…

Небольшая, но очень важная глава о том, как принял решение говорить по-белорусски и как непрост этот переход. «Мы пераможам, калі прызнаем сябе тут, а не калі прызнаюць нас там». Это о приоритетах культурных.

Нет, не уверен, что стоит так часто употреблять слова, связанные с естественными отправлениями. Недаром соседка тетка Дуня сказала: «…Я, етае во, пачала чытаць, дык спачатку плюнула, бо што ні слова, то срака…» Я, как читатель, тоже удивился, как тетка Дуня. Вряд ли лексика такого рода будет способствовать признанию и самопризнанию белорусов. «Уся душа і фантазія беларуса ў гэтых словах». Значит, мало у белорусов фантазии. Ну а душа здесь совсем ни при чем. Конечно, абсцентная лексика тоже факт культуры. Но — устной. И не зря в русском языке она зовется срамословием. В языке подпитого мужика деревни Прудок эта лексика, может быть, и воспринимается более-менее натуральной, но в устах известного дворника Купаловского театра не прокатывает… На удивлении долго не продержишься.

Собственно, когда случаются размышления о том, есть ли жизнь после смерти, что есть жизненная энергия и душа, — лексика героев меняется. «Каб пасля сыходу маім дзецям не сорамна было людзям глядзець у вочы», — отвечает автор на собственный вопрос — как надо жить.

«Бацька памёр, але яго стала нібы болей. Цяпер ён паўсюду: у небе, у паветры, у зямлі».

Хорошие размышления и слова.

Странная история приключилась с неким Егором: вышел из магазина и упал на дороге. Заметили его не сразу. А когда заметили и опознали, взволновались: что случилось? Начал собираться народ. Пьян? Но Егор не пьет. Побили по щекам — напрасно. Приехал председатель сельсовета. Но что он может? Уехал. Приехал участковый, попытался приподнять Егора — не смог. Как врос в землю. Привезли шептуху — уж как она ни старалась, и плевалась, и кричала, о землю билась, крутилась-вертелась, — пустое. Батюшку привезли — помолился. А тут ночь близится. Принесли одеяла, много одеял. Вся деревня собралась вокруг Егора. Пробовали все вместе его поднять и занести куда-нибудь — тоже не получилось. Что же делать? Принесли выпить и закусить. Музыка появилась. Костры зажгли… Песни стали петь. Дети прибежали. А потом и уснули на одеялах. Праздник! Под утро проснулись — Егор сидит, курит. «Пойду домой», — говорит. И пошел.

Такая вот сюрреалистическая история.

Порой кажется, что автор посмеивается над своими героями. «Знаеш, дзе Казахстан, Іван? У Карагандзе!» Но посмеивается он и над самим собой… «У мяне ёсць мухі. Самую надакучлівую завуць Наташа. Я люблю ўвечары легчы, выключыць святло і сказаць уголас:

— Наташа, адчапіся. Не сёння».

Есть в книге размышления сомнительные, но интересные. «Расійская душа існуе ў гарызанталі. Яе наканаванне — распаўсюдзіцца ад гарызонта да гарызонта. Беларус жа мае вертыкальную душу. Ён сілкуецца сваёй глыбінёй — над лясамі і балотамі, на Прыпяццю, Дняпром і Дзвіной. Нашай нацыянальнай гульнёй я б вызначыў не хакей, а хованкі. Перамагае той, хто схаваў і сам не ведае, дзе і навошта…» Ну а я национальным способом мышления и самопознания назвал бы самоиронию. Только самоирония может спасти такие размышления.

Всему ли я поверил? Нет, конечно. Поверил, например, что Минск значительно чище Самары, куда автор с компанией приехал добывать деньги у россиян, кстати, не самым благородным образом, но не поверил, что самарцы выбрасывают мусор из многоэтажек на улицу.

Не поверил, что мошек в Беларуси называют «москалями». Похоже на глупость. И не забудем, что у «москалей» обидных кличек для белорусов нет.

Вот так, с шутками-прибаутками рисует автор жизнь своей деревни. Однако не стоит заблуждаться: это рисунок утопии… Реальность, как всегда, иная. Вот деревенский плотник зимой сжег в печи хлев, баню, дровяной сарай. Теперь по утрам выходит на крыльцо, курит и думает: а так ли уж необходимо крыльцо для хаты? Другой мастер деревянных дел сжег в печи полы… Как такое может случиться? Вот тетка, которая зимой живет вместе с собакой под полом среди невообразимого хлама. Но что за несчастье свело старуху в подполье? А вот две бабули досматривают своих сорокалетних сынков. Хорошие дядьки, но могут и убить, если не дать опохмелиться с утра… И так далее.

Мнение рецензента: много замечательных страниц в книге, однако есть и необязательные.

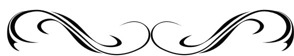
Убрал бы я, как редактор, страницы сомнительного характера. Например, о том, что в Брусках и Автюках белорусы такие ленивые и дурные, что и уборные не строят. Бегают в лесок, под «хвоинку». И это в XXI веке? И что тогда скажут о них прочитавшие эту книгу? Это и есть белорусы? Я не был ни в Брусках с Автюками, ни в Самаре, но думаю, что это сказано для «красного словца». Правильнее — наоборот: впечатлить читателя неожиданной ситуацией.

Жаль, что в книге нет сквозного сюжета: еще много можно было бы рассказать о жителях этих деревень.

Но и хорошо, что нет сюжета: получился вольный, никакими рамками не связанный рассказ…

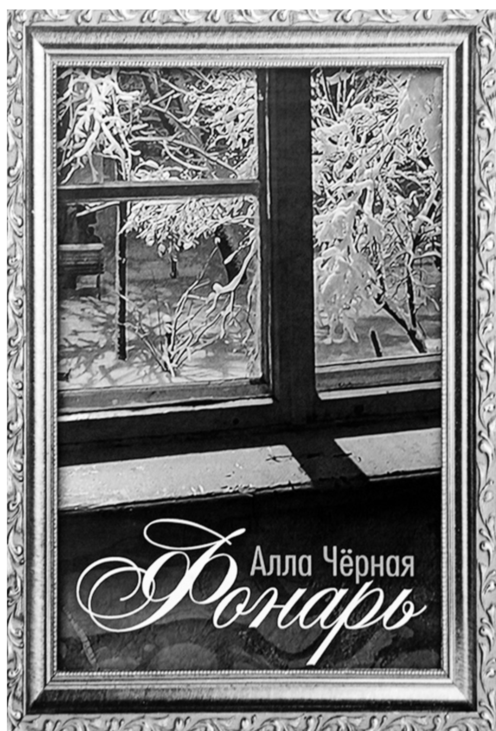
Впрочем, если эта книга не случайный продукт, в будущем автору без сюжетов не обойтись.

Олег ПУШКИН



С точки зрения рецензента

Не допуская упрощенности смысла



Новый стихотворный сборник Аллы Чёрной «Фонарь» (Чёрная, А. Фонарь: книга поэзии / Алла Чёрная. — Минск: Четыре четверти, 2017. — 240 с.), несомненно, вызовет большой интерес у почитателей высокой поэзии. Состоящий из четырех разделов, в которых представлены стихи разных лет, этот сборник является яркой иллюстрацией авторской поэтической реальности, вобравшей в себя дыхание эпох русской поэзии золотого века и рубежа XIX—XX веков, когда многообразное соцветие поэтических систем представителей серебряного века потрясло литературный мир. Этот сложный эстетический синтез проявлен, в первую очередь, на формально-стилистическом уровне, воплощен в поэтической семантике, темпоритме, архитектонике стиха. И это не является проявлением авторской стилизации, и не подражанием великим, это естественная реализация эстетического самовыражения поэта, его индивидуального мироощущения. Специфичность такого формального воплощения стихотворных конструкций А. Чёрной вызвало некое недоверие со стороны редакторских умов, что, в свою очередь, натолкнуло автора на создание поэтического ответа-оправдания, проясняющего суть этико-эстетического кредо и индивидуальной манеры:

Разговор с редактором

(*попытка возражать*)

— Какого века ваше сочиненье?
— Любовь во мне
печалью всех веков…
Я не приемлю ваших осуждений.
Моя душа — не календарь,
а кров…
— Но надо отражать и жизнь, и время!
— Коварство — зло
в любые времена.
Во все века
и осуждались всеми
предательство
и алчная рука…
. . . .
Под кров души моей
пусть долетает эхом
извечных истин тяжкая судьба.

Борьба добра и зла
любого века
побед и поражений чередой
настойчиво растила Человека,
а не статиста
для судьбы людской.
Принуждена ответить в этой теме,
внимая исторической молве,
во все века
и осуждалась всеми
духовная пустыня в голове.

Сквозной, основополагающей темой, охватывающей весь спектр мотивов, отраженных в поэзии А. Чёрной, является религиозная метафизика, этика христианства и библейские мифы. Значительная часть стихотворений сборника посвящена осмыслению внеличностных ценностей — веры в Бога, мученичества и святости Христа, теоцентричной подчиненности земного существования. Даже в стихотворении «На юбилейной встрече ленинградских блокадников» явственно звучит богоданность и религиозная оправданность победы советского народа над фашистскими захватчиками:

Когда защитники Отеческой Земли
Геройски гибли, но держали оборону,
Священники вкруг город обнесли
Казанской Богоматери иконой.

И город выстоял. Снята была осада.
Кто смог и выжил,
тот свидетель дней
С названьем «Ленинградская блокада»,
С сердечной болью памяти о ней…

Тема военного лихолетья особенно близка и понятна А. Чёрной, поскольку совсем маленькой девочкой она узнала трагическую реальность тех тяжелых времен. Алла Дмитриевна Кириллова (таково настоящее имя поэта) родилась в Ленинграде. Ей не исполнилось и четырех лет, когда началась война и пришлось пережить ужасы блокады. Когда кольцо блокады было прорвано, вернулась из эвакуации в Ленинград. По авторскому признанию, даже в страшные годы голода и разрухи много читала, в школе стала писать стихи. Смерти, страдания — экзистенциальная обреченность человека в эти суровые дни навсегда осталась в памяти, поэтому хатынская трагедия, эмпатически преломляясь в авторском сознании, вечным печальным укором пронзительно запечатлена в этих строках:

В день поминовения

Памяти детей Хатыни

. . . .

Я ли той девочкой
с криком бежала
К лесу,
от рук палача?
Не надо мною ли крыша пылала —
Факелом ветер качал?

Вижу,
в глазах матерей
и доныне
Ужасом блещет война.
И на обугленных трубах Хатыни
Стынут
детей
имена.

Постоянно экспериментируя с поэтической формой, А. Чёрная не ущемляет содержательный уровень стиха, явно ощутимо авторское стремление к эстетическому соответствию формы и содержания. При этом зачастую сохраняется многоплановость смысловой структуры, представленная, например, в удивительном стихотворении «Следы», в котором объект размышления автора может вызывать у проницательного читателя вполне естественно и закономерно иные субъективные ассоциации и смыслы:

Следы остались на вокзале —
На плитах, на перроне, у вагона —
Как будто бы решились ждать обратно
Уехавшего в дальнюю дорогу.

По ним прошли бесчисленные ноги.
Их подмели и полили водою.
И все ж они сумели сохраниться
Незримыми на том же самом месте.

И если тот, кого так долго ждали,
Вернется вдруг, в душе тая надежду,
Закрыв глаза до головокруженья,
Он не услышит тех, кто будет рядом,
Он выйдет
и не сможет не заметить
Так долго ожидавшие следы.

Автор демонстрирует высокое поэтическое мастерство в создании лирической миниатюры, в которой, как известно, обычно «сжатость», «сгущенность» эмоционального смысла заключена в емком лирическом слове, почти интуитивно-метафизически оформленном поэтом:

* * *

Всего-то слов,
А как похолодало!
Все упростилось
И сошло на нет.
Береза золотиться продолжала,
Но был
не золотым, а желтым
цвет.

* * *

Я люблю лишь грустные стихи,
Потому что вижу в них людей,
Потому что с плесками реки
В них мешались запахи полей,
Потому что город мой красив
В грусти догорающего дня…
Я люблю лишь грустные стихи
С затаенной искрою огня.

Поэтическая реальность Аллы Чёрной отражает как вечные темы и мотивы мировой поэзии, так и лирико-философское осмысление современного состояния мироздания, несовершенства мира и человека, свидетельствующее о достаточно обостренном восприятии негативной эмпирики. Экспрессивная субъективность авторской оценки обретает статус социально-нравственной объективности:

* * *

Нет мира внешнего —
Он просто мне не нужен.
Нет современности —
Есть только сеть времен.
Закон убожества
еще не обнаружен.
Закон могущества
на гибель обречен.
За стенами гремит существование
Безумных отроков, больных отроковиц.
И визгом засоряют мироздание
Их полчища
без имени, без лиц.

Обращает на себя внимание ярко выраженная поэтическая демонстрация чувства собственного достоинства автора, стремление не уронить себя ни в проявлении любовных переживаний, ни в осмыслении собственного места в пространстве бытия. Демонстративная женская гордость, идущая вразрез с декларируемыми христианскими принципами смирения, как ни странно, не вызывает внутренних эмоционально-психологических противоречий у поэта, вызывая чувство безграничного восхищения цельностью личности:

* * *

По беспамятству, безродности
Как пришла, так и уйду…
Заслонюсь от горя гордостью
И оставлю на виду
Книгу —
на земле —
раскрытую
(оступившись — наклонись),
Чашку чая недопитую,
Недопрожитую жизнь…

Ни един, кто в жизни встретится,
Пусть не знает, где лежу…

Ни креста, ни полумесяца
Над собой
не закажу.

* * *

Для светильника масла
Взаймы попрошу.
В подземелье войду,
Теплый день покидая.

Обернусь
И у входа
Негромко скажу,
Что вернусь,
Оставаться в долгу
Не желая.

. . . .

Должница я миру сему:
Кем любима была —
Ожидаема теми.

Необходимо также напомнить читателям, что Алла Чёрная является членом Союза писателей Беларуси и Союза российских писателей, с 2012 года Почетный член Союза писателей Беларуси. За возрождение темы духовности в русской литературе была награждена в 2006 году грамотой Ассоциации писателей союзного государства России и Беларуси. Удостоена медали М. Ю. Лермонтова, является обладателем дипломов различных конкурсов и автором поэтических сборников «Зеркало», «Изнанка серебристая листа», «Ветер над городом». Новая же книга «Фонарь» свидетельствует о том, что поэзия Аллы Чёрной содержит в себе, с одной стороны, избирательную элитарность, отражающую реализацию высокой степени интеллектуального и экспрессивного начал, а с другой стороны, эстетику доступной простоты, но не упрощенности смысла. Невзирая на широко представленные в лирике исповедальность и автобиографизм, следует иметь в виду, что автор не тождествен лирическому герою: актуализируя в нем некоторые черты своей личности, поэт практически всегда эстетически стремится к типизации и обобщению лирического переживания.

Инесса МОРОЗОВА



Литературное содружество

«Произведением, над которым я работаю ныне, является Центр перевода»

Белорусско-азербайджанские литературные связи в последние десять лет приобрели широкое развитие. В Баку выходят книги белорусских писателей в переводе на азербайджанский. С городом на берегу Каспия познакомились белорусские литераторы Татьяна Сивец (она написала поэму «Баку») и Юлия Алейченко (в газете «Літаратура і мастацтва» опубликовано ее замечательное эссе о поездке в Азербайджан). В Азербайджане изданы книги Георгия Марчука, Анатолия Матвиенко, Алеся Карлюкевича. В Минске на белорусском увидели свет сборники поэзии Чингиза Али оглу, Лейлы Алиевой, детская книга Севиндж Нурукызы. На одной из минских книжных выставок-ярмарок была презентована книга стихотворений Чингиза Али оглу «Рама», вышедшая в Баку. Кстати, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко поэт Чингиз Али оглу награжден медалью Франциска Скорины. Со статьями, рецензиями, интервью о белорусской литературе в минских медийных ресурсах — в журналах и в Интернет-портале «Созвучие: литература и публицистика стран Содружества» — выступает азербайджанский литературовед, культуролог Ирада Мусаева. Издана антология современной азербайджанской поэзии на белорусском языке. Над переводами работала Татьяна Сивец. А реализован проект при поддержке Переводческого Центра при Кабинете Министров Азербайджанской Республики и Издательского дома «Звязда». Кстати, и книга стихотворений Лейлы Алиевой на белорусском языке — плод такого сотрудничества. О том, что представляет собой Центр перевода, какие у него задачи — наш разговор с его руководителем, известной азербайджанской писательницей Афаг Масуд.



— Афаг ханум, в первом интервью после Вашего назначения на пост директора Переводческого Центра при Кабинете Министров Азербайджана Вы сравнили работу в этой области с возведением города посреди пустыни. Выражаясь Вашими словами, как обстоят дела с проектированием города?

— На данном этапе мы заняты налаживанием инфраструктуры этого «города». Одна из основных задач Центра — создание в стране критериев профессиональной компетентности переводческой деятельности, иными словами, правовое регулирование данной сферы. Это длительный и поэтапный процесс, охватывающий организацию переводческой деятельности — от стадии обучения будущих переводчиков до контроля переводческих процессов в целом, и международной документации в частности. В Положении о Центре одной из основных мер совершенствования перевода и переводческой деятельности отмече-

но централизованное ведение работ в этой сфере, то есть установление соответствующих механизмов оценивания компетентности переводчика, создание реестра профессиональных переводчиков. Предпринимаемые в этом направлении шаги, наряду с обеспечением контроля за переводческой деятельностью, должны стать своеобразным фильтром, отсеивающим дилетантов. Мы предпринимаем и другие меры для усовершенствования области перевода в стране.

— Вы работали в Республиканском Центре Художественного Перевода и Литературных Связей со дня его основания, сперва в должности заместителя, а затем — руководителя Центра. С какими сложностями пришлось столкнуться и какие успехи были достигнуты на этом 25-летнем пути, какие были потери?

— Полагаю, одно из важных достижений Центра — наше доказательство возможности выполнения серьезных работ без какого-либо внешнего финансирования. Глядя на проделанную за эти 25 лет работу в области художественного перевода и увесистый список изданной нами литературы, становится очевидным, на что способны Литература и Любовь к ней. К сожалению, были и потери — этот мир покинули талантливейший тюрколог Айдын Мамедов и замечательный мастер художественного перевода Натик Сафаров. Были потери и иного рода. Увы, азербайджанская литература оставалась в стороне от мировых литературных процессов. За эти годы мы могли бы проделать очень важную работу в области языка, литературы и перевода, способствующую, кроме всего прочего, выходу азербайджанской литературы на международную арену.

— Ныне Азербайджан активно вовлечен в мировые процессы, расширяется международное сотрудничество страны. Распоряжением Президента Ильхама Алиева предусмотрено реформирование в области художественного перевода в Азербайджане. С точки зрения пропаганды азербайджанской литературы, возглавляемому Вами Центру предстоит огромная, кропотливая работа. Как Вы планируете вести ее?

— Да, нам предстоит огромная работа. Многое уже сделано. Центр реализует широкомасштабный международный проект по пропаганде азербайджанской литературы во всем мире — в различных уголках мира издается Антология азербайджанской прозы и поэзии, состоялись презентации такого рода изданий с участием видных литературных деятелей. Мы знакомим мирового читателя с достоянием азербайджанской литературы, а азербайджанский читатель получает возможность ознакомиться с лучшими образцами мировой литературы на своем родном языке. Происходит уникальный взаимообмен, духовное взаимообогащение. Читатели различных стран открывают сокровищницу азербайджанской литературы — Антология уже издана и широко презентована на русском, белорусском, английском, арабском, турецком, украинском, грузинском, болгарском, немецком языках. Введется работа по переводу Антологии на чешский, испанский, французский, сербский и другие языки. Таким образом, распоряжение Главы государства господина Ильхама Алиева открыло широкие возможности для налаживания межлитературных связей и сотрудничества.

Чтобы достойно представить азербайджанскую литературу в мире, очень важно правильно подобрать авторские произведения и перевести их на высоком уровне. Для этого мы налаживаем переводческо-редакторское сотрудничество с поэтами и писателями, носителями требуемого языка, профессионалами художественного перевода. Важно также взрастить поколение молодых профессиональных переводчиков, поэтому в будущем нами планируется открытие Академии перевода, выпускниками которой станут профессионалы в специфических сферах перевода.

— Хотелось бы услышать Ваше мнение о переводе через язык-посредник.

— Конечно, мы стараемся отдавать предпочтение переводам с оригинала. Но сегодня в переводах латиноамериканской литературы, являющейся

основоположницей магического реализма в мировой литературе, или же китайской, испанской, японской, итальянской, и литературы других народов мира, имеются проблемы в связи с отсутствием специалистов по вышеназванным языкам. В нашей системе образования не предусмотрено преподавание португальского языка, который мог бы обеспечить перевод с оригинала бразильской и португальской литературы и многих других языков. На сегодняшний день положение дел таково, что сначала выполняется подстрочный перевод произведения, переводимого на азербайджанский язык. Следующие этапы — это выполнение художественного перевода и редактирование текста. Но и тут есть свои сложности. Так, попытка максимально точно передать текст на этапе подстрочного перевода часто приводит к потере художественной мысли, подстрочного смысла, а это, в свою очередь, наносит ощутимый ущерб художественному содержанию переводимого произведения. Единственным выходом в этой ситуации, наряду с филологическим переводом с оригинала, является перевод произведения посредством языка-посредника, т. е. посредством русского языка, который мы освоили в недалеком прошлом, или языка, наиболее близкого к нашему — турецкого, что уже практикуется в течение многих лет. Конечно, это тоже нельзя считать окончательным решением вопроса. Организация этой сферы, без обращения к языкам-посредникам, в первую очередь охватывает создание дополнительного этапа образования для специализирующихся в области художественного перевода.

— Афаг ханум, Вами переведены на азербайджанский язык произведения Мопассана, Вулфа, Маркеса, Кортасара, Борхеса, а также глубокое по своей духовности и философии наследие суфийских авторов, тонко передавших общение человека с Богом.

— Да, это так. Знаете, мир суфиев — это чудесный Информационный Поток, который, как тайная келья, накапливает и хранит в себе всю написанную и ненаписанную литературу. Меня всегда влекло очарование этого Потока. Впереди нас ждет много важной и интересной работы. Сегодня произведением, над которым я работаю, является Переводческий Центр — столь же интересный мне, как и мир суфиев.

P. S. Подобного рода творческие, организационные проекты, объединяющие мастеров художественного перевода, концентрирующие усилия по созданию условий, чтобы книги зарубежных писателей выходили внутри страны, чтобы национальные литературы рассказывали о своих странах в широком открытом мире, существуют в России, Китае, Испании, Италии, Франции, других больших и не таких уж и больших государствах. В Беларуси такая работа хотя и представлена прежде всего общественными инициативами, также поддерживается государством. Переводные книги выходят в государственных издательствах. Ежегодно проводится Международный симпозиум белорусских и зарубежных писателей «Писатель и время». Зарубежные писатели регулярно, начиная с 2007 года, приезжают в Беларусь для участия в международном «круглом столе» в рамках Дня белорусской письменности — под общей идеей «Художественная литература как путь друг к другу». За десятилетие в нашу страну приезжали писатели России, Украины, Литвы, Эстонии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Черногории, Сербии, Болгарии, Польши, Пакистана, Китая, Италии, Турции, Израиля, Англии, Кыргызстана… И буквально каждая встреча, каждое знакомство порождали новые публикации, новые контакты, новые идеи. Так родилась библиотека из 11 книг «Созвучие сердец». Так были изданы три альманаха «Созвучие»… Список дел можно продолжать. Но важно не оставить эти начинания, а продолжить и систематизировать их, придать им новый виток развития. И опыт Переводческого Центра при Кабинете Министров Азербайджана в этом плане, несомненно, достаточно ценен.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.
Баку—Минск

КОЖЕДУБ Алесь (Александр Константинович). Родился в 1952 г. в г. Ганцевичи Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг прозы «Гарадок», «Размова», «Лесавік», «Дарога на замчышча» и других. С 1990 г. живет в Москве.

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Николай Михайлович). Родился в 1954 г. в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси, Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Живет в Минске.

СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы «Вежа», «Сам-насам» и др. Живет в Минске.

ФРОЛОВА Инна Николаевна. Родилась в 1972 г. в Минске. Окончила Минский государственный университет имени М. Танка. Публиковалась в журналах «Новая Немига литературная», «Славянин», «Белая Вежа», коллективных сборниках. Автор нескольких книг поэзии. Лауреат международного литературного конкурса «Семья — Единение — Отечество». Живет в Минске.

БЫКОВА Светлана Анатольевна. Родилась в 1962 г. в г. Заславль. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства. Автор восьми поэтических сборников, а также четырех книг стихов и сказок для детей и взрослых. Лауреат Республиканского литературного конкурса «Лепшы твор 2013 года» и литературной премии Минского облисполкома в номинации «поэзия», награждена медалью ОО «СПБ» «За вялікі ўклад у літаратуру». Живет в Минске.

ТИХОНОВА Анна Александровна. Родилась в 1956 г. в д. Носовичи Добрушского района Гомельской области. Окончила историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Автор шести поэтических сборников. Живет в Минске.

ГОРБАЧЕВА Наталья Серафимовна. Родилась в 1964 г. в г. Североморск Мурманской области (Россия). Окончила Минский радиотехнический институт, Белорусский государственный университет культуры и искусств. Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

СОВЕТНАЯ Наталья Викторовна. Родилась в п. Янтарный Приморского района Калининградской области (Россия). Окончила Ленинградский государственный университет. Психолог. Автор нескольких книг поэзии и прозы, а также многих научных статей. Живет в г. Городок Витебской области.

МАРШ Эдит Найо. Родилась в 1895 г. в г. Крайстчерч (Новая Зеландия). Окончила колледж Святой Маргариты в Крайстчерче, изучала живопись в школе искусств Кентерберийского колледжа. Писатель, театральный деятель, одна из «королев британского детектива». Автор более тридцати романов. Умерла в 1982 г. в Крайстчерче.

ГЕРМАН-НАЙСЕ Макс. Родился в 1886 г. в г. Найсе в Силезии (ныне Польша). Изучал литературу в университетах Мюнхена и Бреслау. Немецкий поэт, прозаик, драматург. Автор более 20 книг. Лауреат Премии Айхендорфа и Премии Герхарта Гауптмана. Умер в 1941 г. в Лондоне (Великобритания).